

Т. КУРТАД КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

ПЬЕР
КУРТАД

КРАС-
НАЯ
ПЛОЩАДЬ

95 vol.





PIERRE
COURTADÉ

LA PLACE ROUGE

ROMAN

PARIS · 1961

ПЬЕР
КУРТАД
КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ

РОМАН

П Е Р Е В О Д
С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА • 1963

Перевод

О. ГРАЕВСКОЙ, Н. ЖАРКОВОЙ
и Т. КУДРЯВЦЕВОЙ

Предисловие Е. ТРУЩЕНКО

Редактор П. ВИШНЯКОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Название этой книги символично. Красная площадь. Сердце Москвы, столицы первого в мире социалистического государства. Эти два слова близки, дороги прогрессивным людям во всех уголках земного шара. Красная площадь — символ революционных побед пролетариата. Символ надежд всего трудового человечества, угнетенных народов, поднимающихся на борьбу за свои права.

Содержание книги непосредственно связано с жизнью нашей страны. С ее революционной поступью. С героическими усилиями советских людей, направленными на преодоление вековой отсталости, унаследованной от прошлого. С мужественной борьбой против заклятого врага — фашизма, за свободу, независимость и счастье народов. Но также и с драматическими страницами ее истории, событиями, оставившими мрачную тень в памяти людей.

По времени роман охватывает последнюю четверть века — от середины 30-х годов до наших дней. Кульминация же в развитии сюжета связана с памятным нам событиями прошлого десятилетия, вызвавшими острую реакцию во всем мире, потрясшими сознание многих миллионов людей.

Наша действительность воспроизводится в этой книге французским писателем через призму сознания его соотечественников со всеми особенностями восприятия иностранным художником явлений и фактов, которые он видел, узнавал, наблюдал как гость и друг нашей страны.

Пьер Куртад (родился в 1915 году) — французский прогрессивный писатель, журналист и публицист, человек, который не только в силу своих взглядов и убеждений, но и в силу избранной им профессии находится на передовой линии идеологической борьбы, ведущейся в его стране и во всем современном мире. Сотрудник газеты трудовой Фран-

ции «Юманите», в послевоенные годы корреспондент этой газеты в Соединенных Штатах Америки, в настоящее время корреспондент «Юманите» в Москве — вот штрихи его биографии. Имя Пьера Куртада вошло в литературу в послевоенные годы. Его перу принадлежат два сборника рассказов — «Обстоятельства» (1946), «Высшие животные» (1956), очерковая книга об Албании, романы «Эльсенёр» (1949), «Джимми» (1951) и «Черная река» (1953). Начав творческий путь в усложненной философической импрессионистской манере, Куртад затем освобождается от импрессионизма и «гамлетизма» и приходит к простому, реалистическому стилю социального романа. От проблем ответственности, достоинства, счастья и бессилия человека в современном обществе в рассказах сборника «Высшие животные» писатель приходит к постановке в своих романах острых проблем современности в широком социальном плане.

В небольшой оккупированной стране происходит действие романа «Эльсенёр». Здесь властвует местный диктатор типа Квислинга. Герой романа, современный «датский принц», из чувства мести стремится свести счеты с диктатором, присоединяется к силам Сопротивления. Но он, разьедаемый рефлексией, колеблется, проявляет нерешительность и гибнет сам.

Роман «Джимми», родившийся из журналистских впечатлений времен пребывания в Америке, посвящен разоблачению империалистической реакции в ее наиболее крайних формах: маккартизма, антикоммунистической истерии, военного психоза. Вместе с тем это роман о пробуждении у простых американцев сознания ответственности за все то, что происходит в стране. Сюжет романа охватывает события всемирного движения за предотвращение атомной войны, эпизоды мужественной борьбы прогрессивных людей против империализма и милитаризма.

«Черная река» — новый шаг на пути совершенствования писателем реалистического мастерства. Это волнующий роман о разбойничьей войне французских колонналистов во Вьетнаме, о героической освободительной борьбе вьетнамских патриотов. Идейный пафос произведения — крушение колониализма, пробуждение ранее угнетенных народов, берущих в свои руки судьбы своей страны. Проследившая участь героев романа, французских солдат и офицеров (Жакийо, Ларильер), читатель еще раз убеждается в бес-

смысленности обреченной на провал и несправедливой колониальной войны. Роман «Черная река» был признан одной из наиболее сильных, психологически глубоких книг своего времени. Композиционная и идейная ясность и простота сочетаются в романе с напряженным драматизмом сюжета, рельефным психологическим рисунком образов.

К созданию романа «Красная площадь» Куртад подошел как зрелый художник, остро чувствующий современность, с идейно ясным взглядом на явления общественной жизни и истории.

В основе содержания романа — решительный исторический поворот, определенный XX съездом КПСС, разоблачение культа личности Сталина в Советском Союзе и преодоление его тяжелых последствий, реакция на эти события в коммунистическом движении Франции. Большие события истории, этапы идеологической борьбы показаны здесь в живом преломлении, через призму человеческих судеб, индивидуального сознания героев книги.

Коммунизм — не узконациональное явление. Это перспектива всего человечества, движение, захватившее широчайшие слои современного общества. Пьер Куртад избрал международный аспект великого фронта борьбы за торжество социалистической и коммунистической идеологии, аспект взаимной нерасторжимой связи его национальных звеньев.

При всей невозможности замкнуть действие романа Куртада в национальные рамки «Красная площадь» — французский роман. Пьер Куртад обогащает опыт и традиции прогрессивной французской литературы — Барбюса, Роллана, Вайяна-Кутюрье, Жан-Ришар Блока, Арагона, связывая судьбы своих героев и сюжет произведения с событиями широкого международного плана, страницами истории Советского Союза, с поступью коммунизма.

Французские прогрессивные критики называют роман «Красная площадь» романом дружбы. Его можно также назвать романом взаимопонимания. Куртад отображает французский взгляд и французское понимание событий в Советском Союзе, реакцию французов на происходящее в нашей стране. Развязывая сложные и тугие узлы мысли и чувств, вынося оценку, писатель своей книгой помогает соотечественникам разобраться в сложных явлениях жизни общества. Советским же читателям этот французский роман поможет увидеть и понять французов, проникнуть в их

сложный духовный мир. В этом художественное и познавательное значение книги Пьера Куртада.

Перед нами проходят представители различных слоев французского общества с их страстями, делами, судьбами. Интеллигенты, рабочие, служащие. На первом плане мы видим активных участников революционного коммунистического движения. Это наши единомышленники, собраты, друзья в походе. Их думы, переживания нас особенно волнуют. Вот образ негибаемого рабочего парня от станка Поля Гранжа, человека цельных взглядов, смелых и ясных устремлений. Многогранна фигура лицейского учителя Симона Борда. Сперва это восторженный юноша, затем мы видим его зрелым человеком, прослеживаем его напряженные искания путей к верному пониманию истории, сложной, часто жестокой и противоречивой. Прево — рабочий, коммунист, помогающий Симону поставить понятия на свое место. И, наконец, Казо. Политический активист, энтузиаст массовых политических мероприятий, рисующийся и выставляющий себя при всяком удобном случае.

Мы знакомимся с этими героями романа в клубе парижского предместья, где демонстрируется советский фильм «Броненосец «Потемкин», и расстается в разное время и по-разному. Прево становится жертвой нелепого случая. Поль Гранж, боец Сопротивления, совершает геройский подвиг в оккупированном Париже. Схваченный эсэсовцами, он гибнет во имя того, чтобы была свободной и независимой Франция. Симон Бورد проходит испытания войны, подпольной борьбы в рядах Сопротивления. Он со спокойствием и мужеством встречает потрясения, осознанно и последовательно идет по пути, избранном в период подъема единого народного фронта, становится убежденным коммунистом. Мы расстаемся с ним на Красной площади в праздничной Москве как с нашим искренним другом. Казо, оторвавшийся от жизни, зачерствевший в догматических абстрактных представлениях, приходит к глубокому кризису сознания и в конечном счете сходит на обочину истории, к обывательской «спокойной» жизни. Его фигура утрачивает для нас интерес.

Формирование и закалка коммунистического мировоззрения в атмосфере сложной и напряженной идеологической борьбы, крушение догматизма и начетничества, торжество мысли творческой, созидательной — главный идейный мотив романа «Красная площадь». Здесь сталки-

ваются два взгляда на события истории, два образа мышления: пытливый, гибкий, диалектический и скованный застывшими представлениями, школярский. Сталкиваются романтические иллюзии и суровая реальность, вера слепая, схоластическая и вера осознанная, открытая. Торжествует жизнь. Религия политических верований терпит крах, оказывается несостоятельной перед объяснением сложности и противоречий исторического развития.

Роман Пьера Куртада — произведение глубоко психологическое, пронизанное лирическим чувством. Перед нами яркие картины жизни, размышления, чувства, сомнения и надежды людей, образы которых взяты из гущи современного общества, наших современников. В умении изобразить борение чувств и мыслей в зримых, осязаемых, эмоционально воспринимаемых картинах проявляется художественное мастерство романиста.

Мы с волнением прослеживаем жизненный путь Симона Борда. С этим образом связана главная сюжетная линия романа. Он захватывает нас с первых страниц книги. Пытливый юноша с душой, открытой революционным веяниям эпохи, — таким предстает Симон Борд перед читателем в то время, когда он присутствует на просмотре фильма «Броненосец «Потемкин». Вспыхивающие на экране слова, зовущие к солидарности людей труда, западают глубоко ему в душу. Рожденный в огне революции новый мир воплощает и его надежды. Симона охватывает чувство восторженной любви к этому еще неведомому для него миру. Эта вера вначале романтическая, наивная. Мы видим затем, как она становится реальной, проверенной жизнью, пройдя через горечь разочарований и испытаний.

Симон Борд приезжает в Москву, плененный романтической мечтой. Но его идиллические, «ребяческие», как он сам позже говорит, представления столкнулись с суровой реальностью. Он увидел образ жизни советских людей не таким, как это рисовалось ему в воображении, узнал о трудностях, лишениях.

Пьер Куртад, заглядывая в наши тридцатые годы, связанные с бурным ритмом первых пятилеток, издержками социалистической перестройки и привносимыми культом личности, необъяснимыми тогда гонениями против честных советских людей, не сгущает красок. Картины жизни Советского Союза он воспроизводит через лирическую призму восприятия Симона Борда. Поэтому естественна субъектив-

ная окраска. На каждой странице, при каждой острой ситуации за взглядом и переживаниями Симона Борда мы чувствуем ясную позицию автора романа, стремление понять в верном историческом свете и объяснить с позиций коммуниста происходившее. Поездка в Москву стоит Симону Борду горьких размышлений. Однако они не становятся непреодолимой трагедией. Это лишь драма столкновения желаемого и реального. Симон Борд ожидал увидеть «стальной поезд, летящий со скоростью сто километров в час мимо залитых светом деревень двухтысячного года», но ему пришлось увидеть и свет керосиновых ламп в деревенских избах, и неблагоустроенные углы старой Москвы.

Одной из реплик автор романа подчеркивает условность огорчений и сопоставлений Симона. В своих оценках советской действительности он исходит из парижских представлений о «счастье и справедливости», которые для многих сводятся к уюту квартиры с ванной комнатой.

В откровенных беседах Симона с коммунистом Прево четыре года спустя ставятся точки над «и». Симон приходит к убеждению, что огорчающие частности не могут помешать «принять революцию в целом». Позже, уже при коммунистическом обществе, люди будут воспринимать их как «эпизоды битвы, отошедшей в прошлое», — думает он.

Словам Прево романист придает лиризм и иронию. В лиризме — сочувствие, в иронии — критическая оценка искренних, но несколько наивных огорчений собеседника.

Симон сам осознает, отчего «его «Потемкин» пошел ко дну», как дружески замечает Прево. Действительность вторглась туда, где до сих пор у него была чистая мечта. Реальный мир сложнее, чем абстракция. «Мало-помалу, за последние годы Советская Россия стала для меня реальным миром, населенным живыми людьми», — резюмирует Симон пережитое. Мысль Прево — «проецировать будущее в настоящем», через настоящее видеть черты будущего — становится и его убеждением. Он относится теперь к жизни по-другому, смотрит на нее не глазами чистого рассудка, а «глазами сердца». Симон в реальном свете начинает понимать историческую миссию Советского Союза, суровые условия его борьбы. Реальное видение мира отнюдь не лишило его надежды, веры в прекрасную мечту. Сквозь мечту он теперь осязает реальность. Мечта укрепляет его веру в будущее.

Эволюция закономерно завершается вступлением Симона Борда в коммунистическую партию. Он делает этот шаг, к которому подводит вся его жизнь, в политически сложный момент, когда события повергают в растерянность и смятение некоторых ортодоксов и людей, примкнувших к коммунистам из конъюнктурных соображений.

В этой обстановке Куртад сталкивает лицом к лицу своих героев — Борда и Казо. Сталкиваются два типа мышления, два взгляда на жизнь и политическую борьбу. В противоположность Симону Борду, человеку живой реакции и критического склада мышления, Казо обрисован как резонер, любитель громкой фразы, готовый всегда выпячивать «принципиальную позицию». Казо — человек мужественный, стойкий. Но натура прямолинейная, ум начетнический. Он витает в мире ортодоксальных формул и оказывается неспособным понять сложность жизни.

В критический момент Казо не выдерживает «линию». Этот человек, который долгие годы был активным борцом, рисковал жизнью, участвуя в Сопротивлении, в период разоблачения культа личности Сталина уходит от борьбы, ищет позиций «вне идеологии», перерождается в обывателя. Так, в конечном счете оказавшись несостоятельным активистом и идейным вожаком, Казо «сводит счеты с историей».

Почему же человек, который казался воплощением стойкости революционных убеждений, «Сен-Жюстом», «скалой», как его именовал преклонявшийся перед ним Симон Борд, неожиданно вдруг капитулирует, заявляет о выходе из игры? Симона Борда (и читателя тоже) эта неожиданность немало удивляет. Кризис сознания Казо и подобный выход из него кажется нелогичным. И все же автор романа дает объяснение. Глубокая причина капитуляции Казо — в потере почвы под ногами, в утрате чувства реальности. Казо «жил в мире слов», его не трогали живые судьбы людей — в этом Симон находит ключ к пониманию ломки его убеждений. Вызванный на откровенность Симоном, Казо признается, что его никогда не занимали интересы человека.

Во время последней встречи с Казо Симон стремится оказать трезвое влияние на переживающего кризис товарища. Беседа служит проверкой собственных взглядов и позиций для Симона Борда и уроком для Казо. «Научиться мыслить трезво», «уметь распознавать главное» —

в этом ключ к пониманию сложных ситуаций. Симон хочет, чтобы такая простая истина дошла до Казо. «Казо не отдавал себе отчета в своих действиях. Он считал себя коммунистом, вел себя как коммунист, особенно в мелочах, но ему не хватало главного: он не верил в историческую неизбежность коммунизма» — вот главное открытие, сделанное Симоном, которое объясняет весь путь и все поведение его товарища.

Симон Борд не довольствуется признанием факта. Он видит свой долг в другом: вернуть Казо на правильную дорогу.

Пример Симона Борда (и роман Пьера Куртада в целом) помогает многим Казо прийти к истине.

Симон Борд выверяет по жизни и опыту истории свои взгляды, устремления, его не может сбить с избранного пути или лишить веры отказ от поклонения возведенному культу. Он не сводит счеты с историей, подобно Казо, узнав омрачающие факты. Великое дело коммунизма, которому отданы лучшие порывы души, торжествует. Сквозь все личные огорчения Симон видит победы, открывающие путь в будущее. Жизнь идет вперед.

Оптимистические акценты последних глав книги примечательны. Четверть века спустя Симон снова в Москве, снова на Красной площади. Здоровая и чистая атмосфера праздника, ясные горизонты! Преодолев трудности, отбросив так мешавшие шоры, советский народ идет к новым победам в мире, изменившемся благодаря его историческому примеру и подвигу.

Таков итог, подведенный историей, героем и автором романа «Красная площадь».

Книга Пьера Куртада, вышедшая накануне XXII съезда КПСС, участвует в сложной и острой идеологической битве нашего времени.

Прежде всего поэтому роман был активно встречен французской критикой, прогрессивной — с поддержкой, и реакционной — в штыки. Выход его был отмечен почти всеми литературными еженедельниками и ежемесячниками, одними — как большое художественное явление, другими — как политическая сенсация. Книгой, проясняющей взор, показывающей торжество разума, справедливо называют роман многие авторы.

Не всё мы видим в нашей жизни и нашей истории так, как видит Куртад. Не всегда с ходом мысли романиста мы

можем согласиться. Не всё в романе нам кажется в равной мере логичным и художественно мотивированным. В частности, излом Казо. Образно он сравнивается с изломом стального лезвия. Предшествующее раскрытие его натуры революционера «с твердым взглядом» не подводит к этому логически. Историю Казо можно принимать лишь как нетипичный, частный случай. Хотя замысел автора — развенчать догматический образ мышления — понятен.

Роман «Красная площадь» — политическая и художественная хроника нашего времени. Писатель прослеживает развитие взглядов, идей. Этой главной задаче подчинен строй произведения, художественная манера. Писатель часто называет и оценивает явления, не разворачивая зрительной картины. Отсюда лаконизм, экономный и строгий отбор мотивировок. Обрисовка жизненных эпизодов сочетается с рассуждением, публицистическим репортажем. Стремление к тематической строгости приводит порой, как нам кажется, к обеднению художественной ткани повествования. В главах, касающихся, например, периода оккупации Франции, мы так и не узнаем, какую по существу подпольную деятельность ведут Казо, Борд. Мы лишь узнаем, что они участвуют в ней. Куртад показывает француза, испытывающего огорчения при посещении нашей страны, рисует облик Андре Жида в том свете, как он нам известен. Но история знает и пример других французов, контакт которых с советской действительностью вызывал у них прилив сил для борьбы и творчества. Вспомним Барбюса, Роллана, Вайяна-Кутюрье, Арагона!

Жизненные наблюдения и литературный опыт принесли Куртаду творческую удачу. При нашем критическом отношении к отдельным сторонам романа «Красная площадь» мы видим в нем большое произведение прогрессивной французской литературы. Воспринимаем как книгу нашего друга, которая служит делу прогресса и взаимопонимания.

Е. Трущенко

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1935

В БЕЛЬВИЛЕ

Двумя рядами впереди, слева, Симон сразу же увидел голову, вернее, лысину Андре Жида. Это было нечто кубическое, гладкое, лощеное, несокрушимо здоровое. Как-то трудно было представить себе, что Андре Жиду суждено когда-нибудь умереть. Да и принадлежит ли он вообще к человеческой породе? О знаменитом писателе Симон знал лишь то, что не исчезнет вместе с ним: напечатанные типографским способом строки и фотографии. Потому-то он и имел право считать его бессмертным. То, что находилось перед ним, возвышаясь над спинкой стула, было, пожалуй, не черепом, обтянутым кожей, а скорее скорлупой, внешней оболочкой пишущей и мыслящей машины, которая выдала много тысяч страниц, и сотни из них будут по-прежнему будоражить умы, сеять зло, сеять добро, когда сам Андре Жид уже перестанет существовать. Пока что машина функционировала безупречно. Разве два года назад, в тридцать третьем году, в ответ на анкету, проведенную инициативным комитетом Всемирного антифашистского конгресса молодежи, он не выступил с безоговорочным прославлением Октябрьской революции! Симон отлично помнил фразу о «великом призыве», брошенном СССР, и о том,

какой отголосок нашел этот призыв в стольких сердцах... Тогда Симону еще только исполнилось восемнадцать лет. Шествие штурмовиков Гитлера перед зданием имперской канцелярии в Берлине как-то сразу положило конец детству. Вместе с газетными иллюстрациями, вместе с кадрами кинохроники — белесое пламя факелов, иступленные белесые лица, черный силуэт диктатора в высокой амбразуре окна — в жизнь Симона вторглась политика. Значит, прав был Наполеон: в наше время политика — это рок. «Можете не соглашаться, если угодно; история все равно до вас доберется!» С тех пор Симон жадно читал газеты. События проносились, как листья, подхваченные ветром, предвещавшим грозу. На собраниях, на страницах газет и книг, в нескончаемых разговорах он искал ответа на вопрос: «Что станется с тобой через два года? А через три?» Иной раз ответ давал номер «Иллюстрасьон» четырнадцатого-восемнадцатого годов: на фотографии — истлевший труп в стальной каске.

И он, Андре Жид, тоже считал сейчас, что политика — это рок. Лишь поистине чрезвычайные обстоятельства могли побудить его выйти из своей скорлупы. Его присутствие буквально гипнотизировало Симона. Андре Жид набросил на плечи накидку из великолепного сукна. Это сразу чувствовалось: ткань грубая, однако превосходного качества. Экстравагантно, но просто, небрежно и продумано до последней складки. Английское сукно, наверняка английское. Симон не имел ни малейшего представления о том, как должно выглядеть английское сукно. Андре Жид читал литературный фельетон в «Тан». Вдруг он нагнулся вправо, к своей соседке, даме в сером, весьма тусклой наружности, шепнул ей несколько слов и поправил очки. Руки у него оказались как раз такие, какими представлял их себе Симон: пальцы длинные... сильные... словно изваянные.

Зал был желтый, голый. Аскетически холодный, настоящий приютский зал где-нибудь в бедном приходе. Для полноты сходства недоставало лишь черного распятия на стене да священнослужителя в короткой сутане, из-под которой торчат грубые башмаки военного образца. Но запах тот же — холодный, сырой. И та же озабоченность, тот же пыл. Щелкали откидные сиденья. Зрители, завидев знакомого, подымались с места, здоровались, пожимали руки. Сеанс был закрытый, и публика собиралась все своя, шел

«Броненосец «Потемкин» Эйзенштейна, как извещала у входа, похожего на вход в деревенский амбар, самодельная, словно писали ее где-нибудь в подполье, афишка. Андре Жид поглощал все мысли Симона. Не то чтобы он так уж восхищался писателем, — говоря откровенно, Андре Жид казался ему несколько старомодным, — а просто-напросто потому, что впервые видел так близко знаменитую личность. Очевидно, мало кто из публики узнал писателя. Его не окружал рой поклонников. Вокруг не слышалось почтительного шепота, не было ни восторгающихся, ни любопытных. Симона поразило то, что писатель был здесь так одинок. «Андре Жид! — думал он. — Среди рабочих в прозодежде — многие даже кепок не сняли, — среди кургузых пиджачков и свитеров с глухим воротом... Андре Жид... Человек со скандальной репутацией! Как могут коммунисты закрывать глаза на скандальную репутацию Андре Жида, гомосексуалиста? Уж не надеются ли они, что он станет на путь истинный, и этот зал, так похожий на приютский, быть может, возрадуется раскаянию одного грешника больше, чем сиянию добродетели десятка праведников? Впрочем, нечего глупить... Андре Жид неоднократно разоблачал колониализм, национализм. Вот что важно. И потом, ведь это же имя».

Слева от писателя сидел какой-то молодой рабочий, полюбив темноволосую девушку. Зеленое кашне, которым он замотал шею, было все в дырках, и, очевидно, чинить его уже не имело смысла. Правая рука, лежавшая на плече подружки, была в несмываемых пятнах машинного масла. Странная мысль промелькнула в голове Симона: наверно, когда-нибудь его так и похоронят, и ржавчина пятен будет все та же, только вот руки станут узловатыми, старческими. А у Андре Жида уже сейчас руки мраморные, нетленные, как и лицо, запечатленное на фотографиях во все периоды его жизни. От его соседа в зеленом кашне ничего не останется — в лучшем случае с десяток фотографий, и в числе их ярмарочный снимок на вершине картонной Эйфелевой башни. Чей-то голос с южной оттяжкой крикнул:

— Эй, Гранж!

Молодой рабочий в зеленом кашне живо обернулся, показав Симону в профиль худое грубоватое лицо. Он улыбнулся, обнажив испорченные зубы. Голос, окликнувший его, принадлежал Казо, школьному товарищу Симона. Фамилия Гранж поразила Симона лишь потому, что на ланг-

дуальском наречии она значила то же самое, что на лангедокском значит фамилия Симона Борд — «гумно».

Казо перегнулся через Андре Жида, чтобы поздороваться с Гранжем, и, протягивая ему руку, навалился на писателя всей тяжестью своего длинного костлявого тела. Андре Жиду пришлось волей-неволей оторваться от газеты. Он попытался выпрямиться.

— Извините! — громко бросил Казо. Слово «извините» он произнес: «звинните».

Симону показалось, будто Андре Жид пробормотал:

— Ничего... ничего...

«Экий увалень», — обругал про себя Симон товарища, но тут же раскаялся в своей резкости. В конце концов, Казо приехал в столицу только в октябре, где же ему за полгода набраться светских манер, да еще если вспомнить, что эти полгода он провел в лицее на окраине Парижа — в Сен-Реми, где целая орава провинциальных стипендиатов готовилась на курсах к экзаменам в Высшую нормальную школу. Крестьянские повадки были в Сен-Реми своего рода традицией. Кое-кто из учеников этих курсов, куда поступали исключительно выходцы из народа, уверял, что и в Нормальной школе будет щеголять в тех же сабо, в которых зимой являлся на занятия. В четыре часа на ломоть хлеба, выдаваемый экономом, намазывали паштет, который присылали им из провинции в засаленных картонках. Казо неторопливо жевал хлеб, углубившись в чтение Ленина. И все-таки как это он даже не вздрогнул при звуке голоса Андре Жида? Неужели ни разу не слышал его на митингах? Взгляд Симона снова упал на руки писателя, и ему вспомнилось одно место из «Имморалиста», где Андре Жид рассказывал о том, как летним днем, мучимый лихорадкой, он лежал в постели, а по обе стороны ее стояли чашки с водой и камешками, и, чтобы освежиться, он перекадывал камешки из левой руки в правую и из правой в левую... Неужели этот самый человек сидит сейчас здесь в ожидании советского фильма и никто его не знает?

Еще не прозвучал дребезжащий звонок, обычно оповещающий в маленьких окраинных кинематографах о начале сеанса, а вернее, о начале того, что можно назвать «грезой субботнего вечера», «раем субботнего вечера». Впрочем, фильм Эйзенштейна не принадлежит к этой категории: слишком много в нем взрывчатой силы. И что значило для

Андре Жид выражение «субботнее кино»? Правда, он делает трогательные усилия, чтобы понять. В поисках общения с живыми существами, как он любил говорить, он побывал на алжирских рынках, добирался даже до Конго. Но что знает он о жизни обитателей Бельвиля? Что знает он о жизни тех, кого называет теперь «товарищами»? Как представляет себе жизнь рабочего человека? Единственное, пожалуй, что он может понять, это как раз то, что должно быть особенно невыносимо для самого Андре Жид: необходимость выполнять одну и ту же работу в одни и те же часы, каждый божий день, изнурять себя, изнашиваться, и так годы и годы, проданные ради куска хлеба. «Ну,— решил про себя Симон,— если он хоть это себе представляет, и то хорошо!»

Для самого Симона быт рабочего — это воспоминания уже десятилетней давности: квартира мелкого служащего в Париже, 1925 год, дрожащий свет газа, глубокие тарелки, так называемые лохани, на клеенке, вытертой до того, что видны нитки основы. На лестничной клетке застарелая вонь помоек, смешанная с чисто деревенским запахом жженого копыта: во дворе помещалась кузница. А потом, когда семья в поисках «свежего воздуха» переехала в предместье Сен-Реми, где был лицей, декорация переменилась — главной ее приметой стали пригородные поезда, которые дважды в день, из года в год, мчат к старости, мчат к смерти полусонную толпу тружеников, встающих на час раньше и ложащихся на час позже, чем парижане. Это-то и подразумевается, когда говорят: «Такова жизнь».

Андре Жид никогда не ездил в пригородном поезде. В этом-то все дело. Перед его мысленным взором никогда не встанет черный силуэт газового завода над мерзлыми садами, где гниют капустные кочерыжки...

Но что же тогда у него на сердце? Симон вынужден признать, что может составить себе представление о мире Андре Жид лишь по литературным, довольно пестрым и ничем не связанным между собою штампам: замок в Нормандии, огромные белые отели, мраморные лестницы, повестессы, томно раскинувшиеся на софе (уж не графиня ли де Ноайль?), сигары... Почему именно сигары? Словом, слегка модернизированный вариант роскошного существования, каким представляется оно юноше в двадцать лет, ни разу не побывавшему ни в огромных отелях, ни в замках

(обитаемых) и знакомому с великосветской жизнью лишь по Бальзаку, Прусту, а с нынешнего года и по Арагону. Великосветская жизнь! Да на что она им? Они презирают не только богатство, но даже обыкновенный комфорт. Что требуется для жизни? Библиотека, письменный стол, немножко свободного времени. Это началось не сегодня; в пятнадцатилетнем возрасте Симон повесил над кроватью гравюру, изображавшую святого Иеронима в келье... Аскетизм Казо — это посерьезнее. Он уже принял как должное скудость существования революционера. По примеру прочих он мог бы давать уроки. Но не дает. Все его свободное время посвящено политической работе. Пиджак вытерся на локтях. Фуфайка в таком же состоянии, как кашне Гранжа. Об Андре Жиде он думает так: очень хорошо (читай: полезно), что писатель встал на сторону коммунизма; но когда при нем говорят о духовном «риске», которому якобы подвергает себя Андре Жид, следуя формуле Ницше: «Надо жить опасной жизнью», Казо пожимает плечами.

«Не смешите меня», — говорит он, и непонятно, что тут смешного, если в душе писателя и впрямь происходит разлад. Должно быть, он считает это несерьезным. Андре Жид прожил слишком легкую жизнь в слишком легком мире.

«Так или иначе, — заявил как-то Казо, — его внутренний мир ничем не похож на наш и никогда не станет таким, но то, что он делает, это, конечно, хорошо...»

Интересно, что думает об Андре Жиде Гранж. Безусловно, то же самое, что Казо, только в иных выражениях.

Гранж не читал Андре Жида, хотя вообще прочел немало книг, и знает писателя только по его декларациям в защиту СССР и против фашизма. Он испытывает благодарность к этому известному деятелю культуры, который в тяжелое время перешел на сторону рабочих. «Ведь никто его, в конце концов, не тянул, верно?» В глазах Гранжа этот шаг очищает писателя от нечисти его класса. «Само собой разумеется, он человек другого мира! Мир Андре Жида — это мир богачей». Представление его, Гранжа, о мире богачей основано главным образом на кинофильмах. Богатство — это огромные, как храмы, апартаменты, меха, сигары, автомобили с капотом неестественной длины, крахмальные пластроны и цилиндры, в которых щеголяют прожигатели жизни. Каждый день у них воскресенье и каж-

дый день они спят до полудня. Самое любопытное, что этот кинематографический и, если угодно, простонародный штамп более соответствует истине, нежели представление о роскоши, сложившееся по романам у наших неимущих полупровинциалов — интеллигентов лицея Сен-Реми. Они-то, увы, не верят, что богатые еще и теперь, в 1935 году, носят цилиндры. Они ни разу не бывали ни в ложах, отведенных для привилегированной публики на бегах, ни на премьере в нью-йоркской «Метрополитен-опера». А кроме того, нечто вроде умиления или скрытой снисходительности застилает им взор. Богатство — это, конечно, несправедливость, это эксплуатация человека человеком. Но богатство — оно также и досуг, и роскошь, без которых — как они порой убеждают себя — не могли бы существовать персонажи Пруста, несравненные героини Бальзака...

Гранж таких поблажек не признает. Ни один литературный герой не может в его глазах оправдать гнусное ограбление трудового люда. Он ненавидит богачей. Даже не может представить себя в их шкуре. Как, скажем, в шкуре шпика. Все то соблазнительное, чем изобилует их жизнь в фильмах, ничуть его не прельщает.

Андре Жид сейчас не так уж далек от того, чтобы, подобно Гранжу, сурово осудить богачей. Только его осуждение капитализма носит скорее моральный, почти религиозный характер, и он относится к своим новым друзьям-единоверцам с какой-то кротостью новообращенного. Поэтому-то он и сказал «ничего, ничего» с такой настороженной любезностью, когда Казо навалился на него.

Близорукий Казо отправился на поиски места поближе к экрану. Симону вдруг подумалось: почему он не остановил приятеля, не пожал ему руку? И он вынужден был признать, что причина не только в развязном обращении Казо с Андре Жидом, которое вызвало у Симона раздражение, но и в том, что здесь, в этом зале, Казо производил впечатление человека, принадлежащего к какой-то касте посвященных. Он расхаживал по залу, пожимал чьи-то руки, кому-то кричал «привет!», по-приятельски окликал кого-то, как за минуту до того окликнул Гранжа. В ответ слышалось: «Привет, Казо! Ну как, будешь в воскресенье?» Очевидно, это был намек на какое-то собрание, а может быть, речь шла о воскресной продаже газет. Почти у всех, к кому обращался Казо, был, как и у него, значок

Союза коммунистической молодежи — красное знамя с тремя буквами КИМ. К досаде Симона примешивались горечь и восхищение: «Ну куда мне до него! Этот тип всего полгода в Париже, и нате вам! Со всеми знаком!» В двадцать лет Симон ни разу не говорил с рабочими, если не считать чисто соседских бесед о тле, напавшей на фасоль, или о куриной чуме. В Сен-Реми не принято ходить к знакомым на чашку кофе. Кирпич, песчаник, железнодорожная насыпь, глухие, утыканные острыми бутылочными осколками стены — все дробило на одинокие ячейки благо-разумное, монотонное, скрытое от других людское существование.

Все там происходит в наглухо огороженных садиках, в наглухо замкнутых сердцах. Крохотные надель, тысячи «своих» домиков отдаляли друг от друга пригородных жителей. Каждый хотел иметь свой угол. И каждый имел. У каждого свой газовый счет, у каждого своя выгребная яма, у каждого своя ограда. И ни одна ограда не похожа на соседнюю.

Симон не совсем справедлив. Он забывает об аромате сирени и горьком дыме костров, когда вечерами жгут вырванную днем с огорода повилуку.

Казо переходит от ряда к ряду, продолжая пожимать руки. В чем его секрет? Он знает, какими словами надо говорить с людьми, подобными Гранжу. И, однако, он не один из них или, во всяком случае, уже не один из них. Как-то он признался Симону, что, приехав к своим родителям на их ферму где-то в Верхней Гаронне, он уже через полчаса не знал, о чем с ними говорить. «Собственно, отец мой теперь и читать-то не умеет. Разучился. Так что, понимаешь... Нелегко!»

Мы сами знаем, что это нелегко. В Сен-Реми левые еженедельно устраивают собрания, которые именуются «заседаниями совета курсов». Название шутовское, но дискуссии серьезные. В среду в четыре часа «совет» подводит итоги. Все рассаживаются в просторной классной комнате, где тридцать лет назад бородатые юноши в пенсне — наши «предки» — составляли адрес Золя. Передают друг другу газеты, уписывают хлеб с паштетом, полученным из провинции, а Казо тем временем всходит на кафедру преподавателя Лебра и открывает дискуссию. Казо ловкач. Он умеет в нужной для данной аудитории пропорции подать цитаты из газет коммунистических, социалистических и

даже радикальных. Он не упустит из виду ни влияния церкви, ни требований студентов. Он взвешивает свои слова. Уж он-то никогда не допустит такой ошибки, какую совершил в прошлом году один из его предшественников во время дебатов, последовавших за событиями тридцать четвертого года. Было это десятого февраля; накануне полиция стреляла в рабочую демонстрацию на площади Республики, демонстрацию против фашизма. Были убитые. Ни Симон Борд, ни его товарищи не принимали участия в этой демонстрации, и в глубине души они корили себя за то, что упустили единственный случай подвергнуться риску, который в глазах каждого придавал бы его убеждениям непревзойденную ценность. Если говорить откровенно, ими вдруг овладело чувство удивления и страха, как то случается с очень молодыми людьми, когда они обнаруживают, что верность идее, бывшей до того дня лишь предметом споров, ну, в крайнем случае поводом для стычек, может потребовать себе в жертву человеческие жизни. Фотографии убитых были помещены в газетах. Юноши не могли оторвать от них глаз. И им чудилось: мертвые осуждают их. Тогда-то Симон и спросил: «А стоило ли это того, чтобы...» На что председательствовавший ответил, что приходится «дозировать лозунги».

«Черт возьми! — крикнул Симон. — Если вы посылаете людей на смерть, чтобы «дозировать лозунги», сволочи вы!»

Эти два слова — «дозировать лозунги» — нанесли ему рану, которая, как ему казалось, никогда не заживет. Полгода он сидел по средам на собраниях, не открывая рта. И только с началом занятий в октябре, когда Казо взял дела в свои руки, Симон нарушил упорное молчание. Казо сказал ему:

«Ответ тебе, конечно, дали глупый. — Потом после минутного колебания добавил: — Но, между нами, это действительно так... Ведь это война, понимаешь? Разве на войне не стараются обнаружить слабые стороны противника? Иной раз это дорого обходится... Но скажи, как иначе поступить?»

Это объяснение удовлетворило Симона лишь наполовину. «Должно быть, Казо прав, — думал он. — Во время всех революций — не говоря уже о войнах — известному количеству людей суждено погибнуть бесцельно. Или, во всяком случае, та польза, которую принесла их гибель,

скажется лишь много времени спустя. Возможно, придет день, когда убитые в феврале тридцать четвертого года будут считаться первыми героями длительной кровавой борьбы против фашизма во Франции, и как знать, может быть, и во всей Европе... Но так или иначе, это «дозировать»... Как можно говорить о человеческой смерти теми же словами, что и о научном эксперименте? Нет!»

Симон нередко размышлял: уж не из-за этой ли коротенькой фразы он до сих пор не вступил в партию? И упрекал себя за то, что не вступает. Надо следовать до конца своим убеждениям. Слишком удобно воздерживаться от решения... «Надо выбирать. Ты обязан выбрать... Ну а... «дозировать лозунги»? Нет!»

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ



чем ты думаешь, почему, дорогой, ты молчишь? Ой, посмотри!.. Впереди нас... ведь это Андре Жид! Вот здорово...

— Почему здорово? Нет ничего удивительного, что он сегодня здесь...

— И все же,— говорит Камила,— и все же...

Симон берет руку Камиллы и не выпускает плененные пальцы. Он любит в ней все, но больше всего любит ее руки — он сразу их полюбил. Все началось с ее рук — так по крайней мере он сам считал. Руки Камиллы решили все не потому только, что они действительно были красивые, округлые и тонкие, совсем как на картинах мастеров итальянского Возрождения, где такие вот руки лежат на бархате платья или перебирают струны арфы, а потому, что Камила была его первой любовью. Иными словами, не просто девушкой, которую он любил, а самой любовью. Ни один ее жест, ни одна улыбка, ни одна интонация не могли принадлежать никому другому, кроме нее, и были несравнимы с жестами любой другой женщины, с другой улыбкой, с интонациями другого голоса. Она была первая и единственная, и ничто на свете не будет никогда даже отдаленно походить на то мгновение ночи четырнадцатого июля, когда он впервые обнял ее, коснулся губами ее пухлых губ, вдохнул еще незнакомый ему запах, смешанный с ароматом роз и травы, подымавшимся над лужайкой муниципального парка в Сен-Реми при неверном свете последних вспы-

шек дешевенького фейерверка, под иронические возгласы: «Вот это красота, вот где шик-то!» Музыка, доносившаяся с танцевальной площадки, куда она отказалась пойти из-за него — он признался, что не умеет танцевать, — стала для него чем-то незабываемым. Всякий раз, когда он глядит на Камиллу и особенно когда она неожиданно напоминает ему о себе (как вот только что, прервав ход его мыслей не о ней, а о совсем другом), ее голос, улыбка ее затуманенных глаз, поворот ее головы — все это точно такое же, как четырнадцатого июля тридцать четвертого года. Она по-прежнему такая же, какой была в тот вечер, и лица всех его участников — танцевавших тогда незнакомых парочек — врезались в память Симона, будто обведенные одной линией, рельефной, как свинцовый ободок, что выделяет в витражах фигуры из общего фона, давая каждой ее долю немеркнувшего света. Ему нравится кожа Камиллы, матовая, гладкая. Чуть бледная. Но лицо это живет — нежная улыбка сменяется нескончаемой чередой милых гримасок, вечно для Симона новых: слегка полуоткрытый для поцелуя рот, капелька слюны в уголке губ, запах красного дерева, исходящий от ее темных, гладко причесанных волос.

Он вдохнул этот запах, когда она нагнулась к нему и сказала: «Ведь это Андре Жид». И так как он по-прежнему машинально следил взглядом за Казо, который все еще пожимал протянутые ему руки, запах красного дерева напомнил ему стихи Бодлера: «Так мускус, и бензой, и нард, и фимиам...»

Они часто, шутки ради, просят Казо продекламировать их, и он произносит: «Так ммускус, и беннзой, и наррд, и фиммнам...» — превращая эту колдовскую строчку в комически пышный французско-александрийский стих.

— От тебя бензоем пахнет.

— Бензоем? Почему бензоем?

Ни он, ни она понятия не имеют, как на самом деле пахнет бензой.

— Не знаю. Я тебя люблю. Я... ну и вот... — добавил он со вздохом.

Сердце его сжалось. Запах бензоа внезапно сменился совсем иным запахом — запахом хлора, которым несло от жестких, сыроватых простынь в той гостинице, где они встретились в прошлый раз. Перед его глазами проплыли выцветшие обои с жалкими цветочками, беспощадный свет единственной лампочки. Ох! Надо действительно любить

друг друга, чтобы вынести такое! Вынести голос, который кричит неповоротливому слуге из-за гостиничной конторки: «Альбер, проводи в девятнадцатый!» А затем расстаться с ней и возвращаться домой одному, когда на ладонях еще держится аромат ее духов и единственное, что остается, — это платочек, хранящий запах губной помады, который на-завтра уже выдохнется — знак того, что время проходит, что в один прекрасный день платок ее станет просто лоскутком, поблекшим, как воспоминание, и кто-нибудь скажет: «Откуда эта грязная тряпка?!» С той ночи четырнадцатого июля в муниципальном парке Сен-Реми они десятки воскресений бродили без цели по улицам, заходили в бistro выпить кружку тепловатого пива, а затем пришла осень и загнала их на террасы кафе, где можно погреться возле жаровни. Если бы в их распоряжении были хоть воскресные утра, позлащенные надеждой, просто мыслью, что, выйдя в полдень за покупками, можно встретить приятелей и выпить стаканчик... Но Симон освобождался только после полудня: семейные завтраки были нерушимой традицией. А для Камиллы послеобеденные часы воскресенья уже омрачала тень близкого понедельника, и каждый понедельник вновь убеждал обоих, что счастье скоротечно и что так — от воскресенья к воскресенью, от недели к неделе, от лета к лету, от года к году — уходит жизнь... И эти разлуки, эти прощанья раз от разу становятся все более мучительными, эти непрерывно накапливающиеся воспоминания расширяют брешь, в которую входит и примешивается к любви сама смерть.

К этим будничным горестям надо добавить еще и то обстоятельство, что Камилла работает в конторе. Значит, ей введомо грусть воскресных вечеров, как и всем, кому приходится в понедельник вставать рано утром и вновь шагать по длинному подземелью недели к брезжущему вдали свету — субботе. Время ей отмерено скупо. Она считает часы. Не смеет заснуть, когда разжимаются объятия. Если они встречаются где-нибудь в отеле у вокзала Монпарнас или у Лионского, она, чтобы не заснуть, прислушивается к грохоту поездов. Вот это скорый из Бреста, а этот поезд идет к Лазурному берегу и увозит множество счастливых, у которых впереди целая неделя, если не целая жизнь... Она говорит: «Господи, который час? Пора уходить».

Оба знают, что так долго продолжаться не может. Знают они и то, что пришли сюда в кино сегодня вечером

не только за тем, чтобы посмотреть «Броненосец «Потемкин», но и потому, что уже не могут больше видеть улыбки коридорного.

Он сказал:

— Я тебя люблю.

Она говорит:

— Что ты сказал?

Он говорит:

— Ничего! — и сильнее сжимает в ладонях ее плененную руку.

Он начинает говорить об Андре Жиде. Говорит, что нет ничего удивительного в том, что писатель сегодня здесь. Ведь он всегда обличал несправедливость, дух собственничества! И не вообще, а по вполне конкретным поводам. Например, колониализм в своем «Путешествии в Конго».

Она сказала:

— Я тебя не слышу.

Он извинился:

— Я тебе надоел?

— Да нет, но ты слишком тихо говоришь!

Он поворачивается и касается губами виска Камиллы. Он глядит на нее в упор, добываясь ответного взгляда; она улыбается, и перед ним предстает лесная дорога, он видит отчетливо и ярко, как наяву, высокие деревья — лиственницы, черные и синие ели. В улыбке Камиллы он уже не раз видел эту дорогу, но впервые она освещена вся целиком. Тогда дорога терялась в затуманенном взгляде, во вдруг промелькнувшей улыбке, которая то освещает ее лицо, то гаснет, как бы говоря, что все еще под вопросом, все неверно... Но сегодня все по-иному: дорога идет до конца жизни... «Что это значит? Просто я с ума сошел. Не знаю сам, что говорю!» Жилка на горячем виске пульсирует у самых его губ. Губы скользят ниже, к маленькому свежему ушку, полуприкрытому гладкими прядями волос, и шепчут:

— Я люблю тебя.

Камилла закрывает глаза. Она твердит про себя, что закрыла глаза, желая уберечь свое счастье. Это тайна ее жизни. Каждая жизнь должна иметь свою тайну. Тайна ее жизни в том, что любовь к Симону никогда не кончится. Так она и состарится с этой любовью. Она верит в это. Симон тоже верит. Все, что сказано поэтами о любви, — правда. Правда и любовь неотделимы друг от друга.

ВОЛОСЫ ПОЛЕТТЫ



Поль Гранж шутливо прижимается своей костистой щекой к виску девушки, которая зовется Полеттой. Если бы им было куда пойти, они тоже не сидели бы здесь сегодня. Но сейчас зима, а практически они могут любить друг друга только в теплое время года. Поль Гранж (или Гранж Поль, как пишется в документах и как сам он называет себя, когда его представляют незнакомым), Поль Гранж отнюдь не испытывает такого отвращения к привокзальным гостиницам, как Симон и Камилла. Подумаешь, что тут такого? Не в том дело. А дело в том, что у них нет денег. Или, вернее, у них не остается денег после того, как они израсходуют положенную сумму на то, чтобы провести вечерок повеселее, другими словами: выпьют, скажем, аперитив или сходят в кино или на гулянье и помечтают, глядя на лотерейное колесо, из которого выскакивают пачки сахара. Вот почему лето (правда, у них было всего только одно общее лето) для них подлинная пора счастья. Самые прекрасные мгновения их любви — это субботние вечера в июле и августе, когда, потолкавшись на случайных танцульках, они идут теплой ночью, нежно обнявшись, как поется в песенках, по лунной дорожке к Верьерскому лесу. Тогда волосы Полетты не пахли, как зимой, химикалиями, с которыми она возится в течение всей недели, или духами «Грезы вальса», купленными в лавочке (перед тем как выйти из дому, она непременно подушит виски); тогда ее волосы пахли сухой или свежей травой, опавшими или зелеными листьями, мхом, где ползают жучки, — всеми запахами, напоминающими Полю две недели, проведенные в летнем лагере, в самой настоящей деревне, — последние каникулы в год окончания училища пред началом жизни без каникул. Потому-то так быстро и прошли весна и лето и будущее настолько перемешалось с настоящим, что не стоит об этом и думать. Но в субботние и воскресные дни дождливой осенней поры, но зимой, когда приходится встречаться в метро, а целоваться в подворотнях, они начали мечтать о собственной квартире, о кухне, о кухне со всеми удобствами. Особенно Полетта, потому что Поль не строил себе особых иллюзий насчет возможности приобрести квартиру. Ему хотелось растолко-

вать это Полетте, но хотелось также дать ей и помечтать. Надо бы, но...

— Но,— говорил он,— ты сама понимаешь: не стоит воображать бог знает что. При нынешнем положении...

И Полетта спрашивала, что это за «положение», которое играет в их жизни такую огромную роль. Поль говорил ей лишь половину правды. Говорил ей лишь то, что можно прочесть в газетах, и то, что понимали все без исключения, кроме самых безнадежных тупиц: «положение» означает, что дело неизбежно идет к войне, поэтому... Поэтому от таких разговоров у Полетты начинались кошмары. Ее отца убили в восемнадцатом году. «В самом конце! Подумай только! Вот не повезло... Я его не знала. Говорят, я на него похожа!» Мать ее вторично вышла замуж. Она подарила Полетте фотографию, наклеенную на толстый картон. На карточке был изображен молодой человек в солдатской форме, без кепи, с мечтательным взглядом. «Это он снялся, когда в последний раз приезжал в отпуск. Ох, вот уж не скажешь, что ему повезло в жизни...» Полетта смотрела на карточку, для нее война была прежде всего вот этим юным новобранцем. Загадкой, которая принесла смерть молодому человеку, ее отцу.

«Да разве возможно, чтобы война снова началась?»

«Конечно,— отвечал Поль.— При капитализме это неизбежно».

Слова эти он произносил невозмутимо спокойным тоном.

Иногда он добавлял: «Не унывай, Пули! Жизнь — она длинная!»

Она не понимала, почему он говорит, что жизнь длинная, именно когда речь заходит о войне. Жизнь ее отца — какая же она была длинная? Поль не объяснял. А мог бы объяснить. Говоря, что жизнь длинная, он подразумевал, что может произойти множество вещей, не имеющих никакого отношения к их планам о мирном счастье. Никакого отношения к их квартирке. Он хотел сказать, например, что произойдет революция. Революция войдет в жизнь Поля, и поэтому не к чему расшибаться в лепешку из-за всяких нестоящих пустяков. А когда? Может быть, через несколько лет. Революционный кризис близится. Будет ли революция через десять или через пять лет — неважно. В сущности, именно это и подразумевал Поль Гранж, когда говорил, что жизнь — она длинная: он не отдался срокам

своей жизни от сроков Истории. Он любил ощущать свою жизнь как часть Истории и любил поэтому современную историю, ту, что делается и происходит на наших глазах, ту, что живет.

Понравился бы ему фильм из времен Парижской коммуны так, как понравился «Броненосец «Потемкин», который он уже видел? Он не уверен в этом. Ведь Парижская коммуна, что бы там ни говорили, не имела продолжения, по крайней мере у нас, тогда как восстание русских матросов на «Потемкине», происшедшее тридцать лет назад в тысячах километров от Франции, продолжает будоражить весь мир. Незабываемые образы этого фильма имеют прямое отношение к нему, Полю Гранжу,— ведь именно так все и произойдет. Он сам станет действующим лицом великих событий, которые непременно будут похожи на те, давнишние. Герои этого фильма, участники и участницы русской революции пятого года, не выдуманы Эйзенштейном. Многие из них еще живы. Большинство из них, без сомнения, принимало участие в Октябрьской революции семнадцатого года, а ведь только благодаря Октябрьской революции могла быть создана коммунистическая партия во Франции, да и в других странах тоже. Все взаимосвязано. Как в эстафете. Начавшись восстанием русских матросов, водрузивших на борту «Потемкина» красное знамя, революция докатилась до Поля Гранжа, который носит в петлице такое же знамя с тремя буквами «КИМ», выгравированными на эмали. Этот фильм вселяет веру. Первая русская революция и восстание матросов на «Потемкине» были подавлены, но вторая революция восторжествовала. Первая тоже сделала свое дело. Приливы и отливы — это закономерно. Чем скорее пойдет дело, тем, конечно, лучше, но в сущности не так уж важен срок. Уверенность в том, что революция победит, настолько сильна, она окружена таким ярким сиянием, что Полю Гранжу уже видится шествие огромных толп, огромная демонстрация, над которой поднимается гул голосов и реют тысячи красных знамен. Если бы Поля спросили: «Так вот, значит, как это, по-твоему, произойдет?» — он бы ответил: «Нет», чтобы не сойти за фразера или мечтателя. А между тем именно так он себе это и представлял. Иначе почему же у него всякий раз подступают к горлу слезы, когда к концу митинга все подымаются и запевают «Интернационал»? И почему ему чудится, что песнь эта,

даже умолкнув, продолжает звучать, доносясь откуда-то издалека, пролетая над неоглядными просторами, над гигантскими городами, ошестинившимися вышками заводских труб?

Все это встает неясной громадой, могучей, как сама жизнь. И почему он, противник громких фраз, такой сдержанный в разговорах, приходит в трепет, когда слышит слова: «Вставай, проклятьем заклеянный», хотя сам, вероятно, подшучивал бы над ними, не будь они строкой «Интернационала»? Почему? Как все это объяснить? Поль никогда не пытался ответить прямо на этот вопрос, но твердо знает: с тех пор как он осознал и понял все это, он уже не один. Он не шагает в одиночку меж серых стен к какому-то обрыву, к черной яме, он движется вперед по широкой дороге вместе с толпой, которая, как и он, тоже хочет изменить лицо мира. Что и сказано в «Интернационале»: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...»

Он вдыхает запах «Грез вальса», смешанный с запахом химикалий, который никак не вытравишь из волос Полетты, разве что ей пришлось бы ходить два раза в месяц к парикмахеру... Только вот... Он приближает губы к уху подружки и шепчет, желая ее рассмешить: «Цып-цып-цып!», словно швыряет воробьям хлебные крошки. Она хохочет и отодвигается.

— А фильм хороший? — спрашивает она.

— Фильм, как тебе известно, довольно старый. Словом, поначалу он тебе покажется, пожалуй, странным. Вначале все немножко суматошно, понимаешь? Но вообще это потрясающе!

— Действие происходит во время войны?

— Нет, до войны. До революции в России. Во время первой революции.

— Ах, так!

Поль спрашивает себя, знает ли Полетта, что в России было две революции? В политическом отношении она молодец, но большими познаниями не отличается.

— Я имею в виду не Октябрьскую революцию. А революцию предыдущую, пятого года. В тот раз их разбили, но та революция подготовила эту... В фильме показаны события, которые действительно имели место. Это восстание матросов на броненосце «Потемкин». Их кормили гнилым мясом. Они взяли и побросали офицеров в воду.

Сразу видно, что это правда. В мясе будут настоящие черви, вот увидишь...

Полетта делает брезгливую гримаску.

— Не знаю, понравится ли мне такой фильм. Странная все-таки мысль — показывать червей.

— Но раз это правда! — возражает Польша. — Правдой-то он и берет.

Польша досадно. Иногда Полетта все-таки рассуждает, как дурочка.

РЕНВИЗИТ



Андре Жид сложил газету и не без интереса, доброжелательным взглядом окинул зал. Приятно было убедиться, что он без труда освоился с обстановкой, сидит в толпе, которая явно не обращает на него внимания, хотя вначале это его и раздражало. Но он подавил неприятное чувство и постарался превратить поражение в победу, наслаждаясь своим умением играть роль человека «как все». Ему вспомнились слова Лебра, который упрекнул его в том, что он ищет различий, а не старается обнаружить то, что свойственно всем людям вообще. Но позвольте, каких различий ищет он здесь, нынче вечером? Разве не стремится он — и стремится уже давно — к братству? Он обернулся и сразу повеселел: сзади сидели юноша и девушка, очевидно студенты, и, как ему показалось, смотрели на него с любопытством и восхищением. Как раз в эту минуту Камилла сказала Симону: «Ведь это Андре Жид!» В зале говорили о реализме фильма, громко топали ногами, топча киномеханику. Говорили об экспрессионизме. Называли фильм просто «Потемкин», как Девятую симфонию Бетховена называют просто «Девятая». Восхищались мастерством, с каким Эйзенштейн сумел найти и выпятить наиболее выразительные детали, к примеру, этих самых червей в мясе, которые послужили поводом для восстания моряков, а Полетте показались мало уместными на экране. Но восхищение большинства зрителей вызывало политическое звучание картины. Почти у всех, включая и тех, кто еще не видел фильма, но представлял его себе по ореолу, какой обычно окружает великие произведения искусства, разговоры о «Потемкине» давали толчок мечте, заставляли

сильнее биться сердце. Казо, несомненно, усмотрел бы в этом проявление «революционной романтики», тогда как в действительности в этом был один из скрытых источников их веры. События, разыгравшиеся на «Потемкине», были как бы прологом к их собственной жизни. Именно в эти дни девятьсот пятого года начался XX век. Занавес поднимался в России, и начался первый акт величайшей драмы, которой предстояло заполнить собою все наше столетие, подобно тому как Французская революция заполнила предыдущее. Второй акт разыгрался тоже в России, в семнадцатом году. А в последующих актах на сцену выйдут сотни миллионов людей на неоглядных просторах Азии, Африки и Америки и, как предсказал еще в начале века Ленин, народные массы России, Китая и Индии решительно перетянут чашу весов на сторону революции.

Зрители знали это ленинское предсказание; источник уверенности, неоспоримую истину века, в котором они жили. Они охотно цитировали эти слова Ленина как пророчество, уже претворявшееся в жизнь, но подобно тому, как любовь узнается по каким-то совсем второстепенным симптомам, по тем чертам, которыми наделяют любимую, а их, как потом выясняется, у нее и в помине нет, что отнюдь не мешает любви, рожденной такой иллюзией, жить и даже стать настоящей любовью,— так и убеждения большинства этих молодых людей, пришедших смотреть «Потемкина», переменялись не столько под влиянием ленинского научного анализа, сколько в результате чтения одного романа, имевшего в то время шумный успех. В основу романа Андре Мальро «Условия человеческого существования» был положен один из наиболее кровавых и наиболее сложных эпизодов революционной истории Китая: Кантонское восстание 1927 года и подавление его правительственными войсками Чан Кай-ши. Хотя коммунистическая критика высказывалась весьма сдержанно по поводу некоторых политических положений романа, достоверность образов, вообще-то говоря, не ставилась под сомнение. В глазах Симона главной заслугой Мальро было то, что он сумел придать революционной деятельности наших дней, фигуре профессионального революционера величие героя античной трагедии. Правда, нелегко было отделить в его книге экзотику от явлений, имеющих общечеловеческий непреходящий смысл. Кое-кто из критиков утверждал, что книга эта просто неплохо сколоченный

приключенческий роман, не имеющий особого значения и, уж во всяком случае, значения революционного. Их близорукость раздражала Симона. В отношении Мальро он задавал себе лишь один-единственный вопрос — не тот, что в отношении Андре Жида: его не интересовало, будут ли читать Мальро через двадцать лет, а вот способен ли Мальро описать когда-нибудь драму, которая произойдет, скажем, в департаменте Луар-э-Шер!.. Когда читаешь Мальро, кажется, что герой-революционер может полноценно проявить себя лишь в особо насыщенной атмосфере, на фоне декораций, которыми не располагает и никогда располагать не будет французская действительность. Можно ли вообразить себе где-нибудь на улицах Тулузы или Парижа эти пулеметы, это напряженное ожидание с гранатой в руке? Рядом с бистро, которое называлось бы «У Жежена» или «Неуловимый пескарь»? Совершенно ясно, что эти встречи заговорщиков могли происходить только в лабиринте тесных, кишаших людьми улочек какого-нибудь азиатского города. Во всяком случае — «где-то там». Противомоскитные сетки, фены, опиум, бронепоезда, шарики цианистого калия — все это было реквизитом в игре со смертью, игре, невыносимой на берегах Сены. «Но, — говорил Симон, — будем справедливы, пренебрежем экзотикой. Суть не в ней. Суть книги в ее накале и в манере автора ежеминутно видеть свою жизнь со стороны. Жить так, как будто твоя жизнь уже биография...» Эти рубленые, бьющие на эффект афоризмы, эти фразы, настолько вымученные, что трудно сказать, встанут ли они на ноги (многие так и не становились), усилия мысли, прокладывающей себе путь даже ценою бессвязицы, — все это делало речи Мальро похожими на дымящиеся после боя развалины. Некоторые фразы из «Условий человеческого существования» стали для юношей образчиком того, что могут и должны говорить люди в драматические минуты своей жизни. Минуты «многозначительные», которые, разумеется, одни только и идут в счет. Они находили эту велеречивость «восхитительной»: «Ни один человек не живет ради отрицания жизни...», «Достоинство завоевывается...», «Гипнотические чары смерти...», «Великий индивидуализм может взрасти лишь на навозе лицемерия...», «Человеку требуется пятьдесят лет, чтобы стать человеком, а затем он умирает...» или что-то в этом роде... Умирает.

Казо не трогали все эти изыски. Он пытался бороться против увлечения Симона и большинства его товарищей, противопоставляя Андре Мальро другому писателю — Жюлю Валлесу, пятидесятилетнюю годовщину со дня смерти которого как раз отмечали коммунистические газеты и журналы.

«Не смешите меня с вашим Мальро,— говорил он.— Я не отрицаю литературных достоинств его книжонки, заметьте, не отрицаю, но признайтесь, все-таки странно учиться по этой книжонке, посвященной Кантонскому восстанию, когда у нас самих есть литературное свидетельство событий Парижской коммуны, оставленное ее участником».

Симон не мог не согласиться с этим доводом. Ну и что же! Времена валлесовского богемного сентиментализма прошли. Кроме того, Мальро удалось внушить своим читателям идею, будто в революционном действии люди, и притом наиболее энергичные и наиболее сознательные, ищут решения не только социальной проблемы, но и своих индивидуальных проблем: уйти от гипноза смерти, утвердить себя как личность путем осознания общности людей, братства сильных духом и т. д. и т. п.

Личность автора «Условий человеческого существования» весьма подходила для той роли, в какой вы хотели его видеть. Симона завораживали не только причудливые фразы оратора, но и его изможденное лицо, отсутствующий взгляд, нервные тики. Вы только вообразите! Наконец-то и у нас появилось дитя века! Мальро ввел в литературу новый революционный образ некоего нервического персонажа, сочетание будничного и возвышенного. После него невыносимо стало читать в книгах фразы вроде: «Он запер дверь». Если только...

Если только этот обыкновенный жест не обретал силой обстоятельств рокового значения. Например, вы запираете дверь, а за ней остается человек, которого вы никогда больше не увидите, причем в глубине души вы сознаете, что тем самым отказались от какой-то важнейшей, еще живой, но уже обреченной части себя; примерно как если бы в шахте произошел несчастный случай и пришлось бы завалить вход, хотя, быть может, под обвалом еще бьются сердца, еще дышат люди, но помочь им уже невозможно...

Что касается Андре Жида... Это совсем другой случай, хотя с некоторых пор он появляется на тех же трибунах,

что и Мальро. Но не в том суть. Симон и его товарищи вовсе не стремятся углублять этот анализ, предчувствуя, что результаты его могут принести разочарование. Они достаточно хорошо знают политическую историю и литературу XVIII и XIX веков и вполне закономерно опасаются, как бы история их времени, если копнуть хорошенько, не показала, какую непропорционально огромную и чудовищную роль играют всякие мелочные, а подчас просто гнусные дрязги, и тут уж ничего не остается от идеальных фигур великих писателей. А ведь молодежи необходимо верить в их идеальность. В то, что такие писатели существуют.

«И потом, никто ведь не знает, что сейчас происходит. В нашей обители, на курсах в Сен-Реми, мы лучше знаем закулисную жизнь парижского общества тысяча семьсот тридцать пятого или тысяча восемьсот тридцать пятого года, чем нынешнего тысяча девятьсот тридцать пятого. О тысяча семьсот тридцать пятом или тысяча восемьсот тридцать пятом все уже написано. А вот о тысяча девятьсот тридцать пятом — ничего. Психология Виктора Гюго — пара Франции — изучена лучше, чем психология Мальро. В конце концов, биографии живых писателей еще не завершены. Надо брать их сегодня такими, каковы они сегодня... Умри Виктор Гюго в двадцатипятилетнем возрасте, он остался бы для потомков поэтом-монархистом».

„ПОТЕМКИН“

Камилла тихонько высвободила руку, зажатую ладонями Симона. Ласково переплела пальцы с его пальцами, а он коснулся губами ее шеи. Она смотрит прямо перед собой, куда-то сквозь белый экран. Симон заметил, что она улыбнулась. «Она любит жизнь. Может быть, она все-таки счастлива?» Он старался прочесть ее мысли. Но Камилла постоянно куда-то ускользала, далеко-далеко...

— Знаешь, что я только что видел? — спросил он.

— Андре Жида?

— Да плевать мне на него. Нет, я видел нашу с тобой жизнь.

— Видел нашу жизнь?

— Да, нашу жизнь. Это как аллея между высоких деревьев. Я видел ее в красках, выпукло, точно наяву. И она уходит в бесконечность.

— Ты уверен, что в бесконечность?

— Да... в бесконечность. Ну... во всяком случае я говорю это применительно к себе.

— А! — сказала она. — Конечно.

Чей-то громкий голос потребовал тишины. Другой голос, принадлежавший рыжеволосому парню, который вышел на авансцену перед экраном, пояснил, что нет необходимости представлять фильм зрителям, поскольку большинство уже смотрело его и вообще картина по праву широко известна. Симону видны были только его рыжие волосы.

— Однако, — продолжал голос, — мне хотелось бы напомнить вам о тех событиях, которые Эйзенштейн положил в основу своей картины «Броненосец «Потемкин». Это прежде всего хроника действительных событий, воссозданных режиссером. Драма, главный герой которой не тот или иной персонаж, а масса. Русский народ...»

Подобно тому как свет, проходя через линзу, дробится на бесчисленное множество лучей, так и вполне конкретные объяснения рыжеволосого докладчика преобразались в сознании слушателей, рождая у каждого свой, неповторимый отклик: тут действовали не только слова, которые, конечно, звучали для всех одинаково, но не имевшие прямого отношения к этим словам воспоминания, чаяния, картины жизни, составлявшие особое достояние каждого, а слова служили лишь толчком, вызывавшим к жизни всю эту работу мысли. Можно было, пожалуй, представить себе только то, что думает такой человек, как Андре Жид, поскольку он общественный деятель, писатель, передающий другим свои мысли, по крайней мере те из них, что способны, по его мнению, создать определенную версию его собственной жизни, которую он счел возможным обнародовать и на основе которой будет создана впоследствии его биография.

В конце июня пятого года, когда на «Потемкине» вспыхнул мятеж и началось восстание в Одессе, Андре Жид жил в своем фамильном поместье Кювервиль в Нормандии. Там он работал над книгой, которая будет называться «Узкие врата», но называлась пока «Узкая дорога». Забившись в жаркую оранжерею, чтобы не видеть нагоняв-

шего на него уныние нормандского дождливого лета, он каждый день с трудом писал несколько строк и зачитывался Гете. А пока он сознательно лепил свой образ на потребу ограниченного круга утонченных современников, уже знакомых с его творчеством, а бессознательно — на потребу широкой публики, которую он завоеует совсем иными путями четверть века спустя, русский броненосец «Князь Потемкин Таврический», мощностью в 12 680 лошадиных сил, недавно сошедший со стапелей, иными словами ровесник века, вышел из Севастополя в Одессу, имея на борту шестьсот тридцать восемь человек экипажа.

Известия из России, русско-японская война уже в течение нескольких месяцев приковывали внимание небольшой группки писателей, к которым в ту пору примыкал Андре Жид и которые опасались, что военное поражение России может усилить то, что тогда именовалось «желтой опасностью». Но, откровенно говоря, их представление о России, по крайней мере представление большинства из них, не способствовало правильному пониманию событий. Их Россия — Россия Толстого и Достоевского — представляла в их глазах то в образе простодушного жалостливого мужика, то в образе мятущегося юноши, а чаще всего в образе молодой женщины, бледной, веселой, безрассудной, отгораживающейся от всех житейских шквалов хрупким зонтиком с кружевной бахромкой. А Черное море... Для многих оно было таким, каким пятьдесят лет назад увидел его граф Толстой, прибывший в Крым для участия в военной кампании, — увидел в тот час, когда за горой Сапун зажигается заря и розовеет небо, а море — синее и холодное, незабываемое зимнее море «Севастопольских рассказов». Для других Черное море было лишь отдаленным придатком Средиземного, с которым оно сообщалось, как не ведомая никому лагуна, как водослив, куда не заглядывают туристы, сообщается с залитым солнцем озером, усеянным празднично разукрашенными лодками... Та Россия, которую они знали, обитала в Париже или в Ницце. Это был господин М. П. — петербургский банкир, это был граф Л., «очаровательнейший» человек, это была графиня Н., скончавшаяся в прошлом году в Ментоне. И позади этих вполне реальных персонажей — лубочный силуэт русского матроса, этакое курносого парня с ленточками на бескозырке, совсем такого, какие появились на французской земле во время визита императорской эскадры

в Тулон, каким рукоплескала вся Франция, за исключением социалистов, поскольку социалисты уже давно предсказывали падение русского самодержавия и установление в России республики, с которой можно и нужно будет заключить прочный союз. Но и французские социалисты, за исключением, пожалуй, тех, кто поддерживал отношения с русскими социал-демократами, не могли знать, какие настроения господствовали в начале лета тысяча девятьсот пятого года на кораблях императорского флота.

Они считали, что русские матросы, как и большинство русского народа, конечно, враждебны самодержавию, но не могли даже вообразить, что революционная агитация на некоторых кораблях в царском флоте достигла такого размаха и что бунт, поднятый из-за гнилого мяса, которым хотели накормить матросов «Потемкина», может превратиться в настоящее восстание и впервые со времен Парижской коммуны красный флаг взвевается не просто над головами демонстрантов как символ гневной вспышки, а как флаг вооруженной силы, флаг государственный. Понадобятся две революции и война, чтобы трагедия «Потемкина» приняла свои настоящие масштабы и чтобы мятеж русских матросов, воссозданный двадцать лет спустя волшебством киноискусства, вновь осветил своим заревом землю и заставил биться тысячи тысяч сердец.

В те же далекие дни пятого года, вопреки аршинным заголовкам и пространным корреспонденциям в новой газете Жореса «Юманите», даже такой человек, как отец Симона, который держался скорее левых взглядов, не придавал событиям в России особого значения. Ему было двадцать лет, и он только что приехал в Париж, получив по курсу место в почтовом ведомстве и с радостью сменив свой гасконский берет на соломенное канотье, которое он надевал летом на воскресные прогулки по Марне. На пожелтевшей фотографии, которую Симон видел сотни раз, отец был запечатлен на террасе ресторанчика, помещавшегося неподалеку от вокзала Монпарнас, где он работал на разборке корреспонденции. Рядом с ним стоит гарсон, с непостижимой ловкостью держащий одной рукой огромную стопку блюдец. Снимок сделан в жаркий день, посетители пили пиво. «Было это в тысяча девятьсот пятом году. Я только что перебрался в Париж. Как сейчас помню, в том году бастовали служащие нашего почтового отделения, протестуя против грязи. Нас тогда крысы одолели.

А вот этот гарсон, видишь, со стопкой блюдец, он впоследствии стал летчиком, ассом, и погиб на войне. Я потом заходил в ресторан в семнадцатом году, когда приезжал в отпуск с фронта. Тебе тогда было два года. Мне сказали, что он погиб». — «Ну а революция пятого года, какое впечатление произвела она на вас всех?» — спросил Симон. «Видишь ли, я был слишком молод... А Россия — это так далеко...»

Словом, отец Симона «заметил» революцию тысяча девятьсот пятого года только много позже, в семнадцатом году, когда его потрясло известие об Октябрьской революции и когда Россия перестала быть далекой землей: события, происходившие там, затрагивали всех, кто бы они ни были, как бы ни относились к Октябрьской революции.

А вот отец Поля Гранжа — тот очень хорошо помнил восстание на «Потемкине», о котором день за днем рассказывала «Юманите»: Жорес сам комментировал события в России. И Полю, когда он впервые увидел фильм Эйзенштейна, показалось, будто он не открывает для себя, а узнает события, о которых отец говорил так много и так часто, что со временем как бы сам превратился в очевидца восстания. Так иной престарелый обитатель Бельвиля, перебирая в уме уже смутные воспоминания о рассказах, которые он слышал в юности, способен, выдавая желаемое за действительное, в конце концов убедить себя, что он и впрямь дрался на баррикадах в дни Парижской коммуны.

Подобные иллюзии более чем простительны, особенно если вспомнить, что такие события, как восстание на «Потемкине», оставались долгое время для многих неясными, по-разному истолковывались и претерпели множество изменений, прежде чем стала известна вся правда.

— Современники, — говорил рыжий парень перед экраном, — не очень хорошо понимали, что происходит. Даже «Юманите», регулярно получавшая корреспонденции из самой Одессы, упрекала матросов «Потемкина» за то, что они капитулировали, не зная, что броненосец вынужден был зайти в один из румынских портов, так как у него иссякли запасы угля и воды.

Точно установить, что происходило в Одессе в тысяча девятьсот пятом году, стало практически возможно только через пятнадцать лет, когда после победы Октябрьской революции историки получили доступ к архивам императорского морского ведомства и к архивам царской полиции

и смогли расспросить многочисленных свидетелей и участников события. Руководствуясь исторической правдой и правдой искусства, зная дальнейшее развитие событий, Эйзенштейн и его сотрудники гораздо лучше, чем современники восстания, могли уловить и показать весь пафос отдельных эпизодов борьбы. Фильм воссоздал бурный ритм восстания, ритм взрыва, пламя пожара... В нем показано то,— говорил рыжеволосый комментатор,— чего еще никогда не показывал кинематограф: «Взрывчатая смесь, именуемая политикой».

Эта взрывчатая смесь состояла из бесчисленного множества компонентов, среди которых были и тухлое мясо, предназначавшееся для матросов, и заносчивость той касты, к которой принадлежало большинство флотских офицеров, и положение Российской империи, ослабленной войной с Японией, и рост политического сознания русского народа, и успех социал-демократии, особенно ее организаций во флоте, поскольку революционные матросы в отличие от солдат вербовались, как правило, среди горожан и были связаны с революционно настроенными рабочими арсеналов и крупных портов... Симон пытается представить себе, что бы произошло, если бы из этой взрывчатой смеси выпал хоть один компонент... Если, скажем, день случайно не выдался бы таким жарким и в мясе не завелись бы черви? Если бы командир не оказался таким болваном?... Значит, не было бы и «Потемкина»? Нет! Был бы другой «Потемкин», какой-нибудь другой день, и окончилось бы все это приблизительно так же... Но мне нравится мысль о «взрывчатой смеси», нравится, когда жизнь предстает перед нами непрерывной чередой вспышек, бурных разрывов, смелых решений, чуть ли не ежеминутно отбрасывающих прочь другие решения, которые, возможно, принесли бы удачу. Кто знает, может быть, в этом и состоит трагедия жизни? Ну что ж, встретим ее лицом к лицу. Рыжий правильно объяснил обстоятельства, при которых произошло восстание на «Потемкине». Мы уже не воспринимаем окружающий мир как хаос, каким он был до Маркса, до Ленина. Подумать только, что Бальзак шел ощупью, в потемках! Бальзак, как никто, умел описывать социальные явления, но объяснение их он сводил к разным мистическим пустячкам, к аналогиям, которые теперь вызывают усмешку не только у марксистов... Пусть этот рыжий ничем не примечателен, все равно он в тысячу раз

выше тех лекторов, которые не слышали даже имени Маркса, имени Ленина, а если и слышали, то никогда не упоминали. Они, видимо, и не подозревают, что лет через десять нельзя будет всерьез коснуться ни одной темы, не прибегая к марксизму, которому сегодня в курсе философии отводится меньше часов, чем перепалкам средневековых схоластов. Но подобные занятия составляют усадлу для всяких замшелых дураков. Не по нутру им наша эпоха.

Симон положил руку на колено Камиллы. Потом тихонько скользнул ладонью по скрипучему шелку чулка. Чуть откинул подол юбки и коснулся теплой гладкой кожи. И замер. Рука его лежала спокойно, будто лапа нестрашного зверя.

— Ты с ума сошел! — говорит Камилла.

— Сошел.

В то же мгновение он подумал, что более точного ответа не мог бы дать. «Да, да, я сошел с ума, и у меня есть на то все основания». Рыжий под аплодисменты публики скрылся, свет погасили. Зажужжал киноаппарат. От музыкального сопровождения решили отказаться. И сразу же экраном, а потом и всем залом завладели первые кадры.

«Потемкин» отправляется в плавание. Борозды, которые он проложит в умах, в сердцах, в том, что проще всего было бы именовать душой, продержатся годы, а в иных случаях и всю жизнь. Вот он, огромный и грузный, на глади блестящих под солнцем вод, выплывающий в белесое летнее небо густые клубы черного дыма. Вот море, до того настоящее, что чувствуешь на губах соленый вкус брызг. Вот она, эта тяжелая махина, несущая на своем борту не только экипаж «Потемкина», но и сотни миллионов, миллиарды людей. Два часа дня четырнадцатого июня пятого года по старому стилю, принятому тогда в России. Броненосец «Потемкин» два дня назад прибыл из Севастополя в Одессу для учебной стрельбы и теперь стоит в открытом море. Накануне из города на борт доставили мясо, и идущее от него зловоние вскоре привлекло внимание экипажа. Маленькими группками матросы подходят посмотреть на эту кишашую червями пададь, сваленную у бизань-мачты. Они отворачиваются, с трудом подавляя отвращение и бормоча проклятия. Ненависть подымается вместе с волной воспоминаний и горьких раздумий. Мало-помалу эта гниль, из которой собираются варить суп, приобретает циклопические масштабы. Она становится симво-

лом всего, что прогнило в царской России. Это смрад самодержавия, тлетворное дыхание императорского двора, трупный запах сословия, разлагающегося заживо под парадным мундиром, усеянным звездами и орденами.

Матросы решают не прикасаться к супу, сваренному из этого мяса. Когда весть об их коллективном отказе достигла Парижа, Жорес, по словам рыжего, сразу понял значение случившегося. Симона поразила одна фраза Жореса. Ему нравится ясность этой фразы, которую мог бы написать Ленин. «Это не просто бунт солдат, недовольных плохим качеством пищи,— писал Жорес.— Эти люди начали героическую борьбу против царского строя в целом».

Царский строй — он как это мясо, над которым сгибается судовой врач и заявляет, поправив дрожащей рукой пенсне: «Но мясо превосходное, надо только промыть его в морской воде!» и тем наносит матросам «Потемкина» неслыханное оскорбление: значит, их не только хотят накормить супом из тухлого мяса, но еще и требуют, чтобы они признали его превосходным. А надо всем этим, конечно, безоблачное небо. Но час восстания близится, скоро оно охватит весь Черноморский флот, флот Балтийский, рабочих в арсеналах, заводы, портовые города, Петербург, Москву, все села, крестьян в солдатских шинелях, которые откажутся стрелять в своих братьев. Восстание на «Потемкине» будет первой искрой.

Предупрежденное унтер-офицерами начальство убеждается, что матросы молча отказываются от супа и вместо обеда съедают кусок хлеба, запивая его водой. Экипажу дан приказ собраться на кормовой палубе. Вызван вооруженный конвой. Командир и его помощник пристально, нарочито долго вглядываются в лица матросов — так смотрят на ребенка, желая заставить его повиниться. Хотя в адмиралтействе экипаж «Потемкина» все еще считается одним из наиболее надежных на Черноморском флоте, командир отлично знает, что на корабле распространился крамольный дух, что по рукам давно ходят листовки. Но не выдумал ли это рыжий, решив предостеречь тех, кто слишком рассчитывает на «стихийное возмущение масс»? Старший помощник как раз думает об этих листовках, и одна фраза из полицейского рапорта сама собой приходит ему на ум. «На корабле явно началось разложение», — говорится в рапорте. «На корабле разложение», — говорит помощник. Командир и помощник стоят перед матросами,

как свинцовые фигурки на фоне слепящего солнца. Фраза «на корабле разложение», всплывшая в памяти старшего помощника, приобретает грозный смысл — матросы, стоящие подальше от начальства и унтер-офицеров, кричат: «Вы же знаете, что здесь разлагается». В этот миг, как ныне рассказывает немой фильм, слышно лишь глухое пыхтение машин, удары волн, разбивающихся о стальной корпус броненосца, и жалобные крики чаек. «Ну?» — спрашивает старший помощник с улыбкой, которая означает: «Бросьте валять дурака, нам все известно!» Он намеренно делает эффектную паузу, которая должна показаться матросам бесконечно долгой, словно само быстротечное время превратилось в густую, удушающую жидкость. «Хорошо, — наконец произносит он, — очень хорошо».

Он скидывает глаза на командира, тот почти незаметно кивает головой в знак согласия, потом нагибается к молодому офицеру, бледному как полотно, и что-то ему шепчет. Молодой офицер козыряет и делает налево кругом. Прочие офицеры и унтер-офицеры тоже козыряют, уходят, возвращаются и вновь козыряют. Матросы внимательно глядят на эти балетные пируэты, сопровождаемые трелью свистка. Пока вооруженный конвой беглым шагом приближается к матросам, многие из них вспоминают свою жизнь. Или хотя бы стараются остановиться мыслью на самом главном в своей жизни, на том, что было самым значительным. Но вместо лица матери или невесты перед их взором возникает лишь угол улицы, угол стола, цветок в горшке. Когда конвой выстраивается перед экипажем, старший помощник произносит громким, очень спокойным голосом, в котором звучат ободряющие, нарочито ободряющие нотки: «Те, кто согласен есть суп, выходи из рядов! Верные долгу матросы, выходи из рядов!» Вопрос поставлен умело. Другое дело, если бы офицер потребовал, чтобы из рядов вышли те, которые отказались есть суп и таким образом признали себя бунтовщиками. Несколько человек выходят вперед, однако ноги им не повинуются, руки дрожат. Но по лицам оставшихся видно, что они не сделают ни шагу. В эту минуту родился тот собирательный образ, который навсегда войдет в историю: «моряки с «Потемкина».

Наступает легкое замешательство — унтер-офицеры разбивают матросов на маленькие группки. Их незаметно теснят, они уже повинуются, и, возможно, никогда бы не

вспыхнуло на «Потемкине» восстание, если бы не командир — он спас положение, сыграв именно ту роль, какую ему предназначила история, ту роль, к которой его годами подготавливало воспитание, образ жизни, положение в русском обществе, а также и личный темперамент. Без всякого видимого повода он, озверев, приказывает конвою целиться в одну из групп. Старший помощник получает этот приказ и без малейшего раздумья передает его дальше, движимый тем автоматизмом, который ему привили в морском училище. Затем приказ передается одному из офицеров, и тот по всем правилам дает конвою команду. Но тут происходит нечто непредвиденное — и у офицеров и у матросов в первую минуту появляется такое чувство, которое должен испытывать человек, когда курок нажат, а выстрела по неизвестной причине не последовало. Не слышно почему-то стука башмаков по стальной палубе, не слышно щелканья затворов, зато подымается ропот, и ропот этот переходит в крик, повторяемый множеством открытых ртов: «Братья! Братья! Не стреляйте!» Обезумев, ослепнув от ярости, офицер, механически передавший приказ целиться в одну из групп, выхватывает винтовку у конвоира и в упор стреляет в ближайшего к нему матроса. Кто был этот офицер, которого ярость побудила стать орудием судьбы? Некоторые газеты писали, что до этой минуты он слыл мягким, справедливым человеком и матросы даже надеялись, что в один прекрасный день он станет командовать кораблем! Так или иначе, теперь это уже не имело значения. История не оставила ему ни минуты на размышления о своем поступке и о своей судьбе. Среди наступившей суматохи товарищи убитого тут же разоружили офицера. Его ведут на расстрел. Искры восстания разлетаются по всему судну, как фейерверк, управляемый искусным пиротехником. Люди кидаются к складам оружия, выламывают двери. Другие бегут в машинное отделение. Офицеры прыгают в воду, надеясь вплавь достичь эскортирующего их миноносца. Оставшиеся на борту офицеры растерялись и вели себя настолько непонятно, сказал рыжий, что в тогдашних газетах на этот счет появлялись самые противоречивые сообщения.

Правда ли, например, что судовой врач, тот, что нашел мясо превосходным, покончил с собой? Такой поступок мог бы хоть в какой-то мере обелить его. Но Эйзенштейн избрал другой вариант. Самоубийство это доказывало бы,

что, будучи представителем науки, врач осознал совершенную им непростительную ошибку, покорившись безрассудным требованиям, уступив блажи начальства, тогда как по характеру своих занятий он в глазах матросов был человеком, на которого военная дисциплина не распространяется. Прошел слух, что в свое время он придерживался передовых взглядов. Возможно, из-за этого слуха во Франции и приняли версию о самоубийстве. Было как-то соблазнительно представить себе человека, который, хотя давно вырвал из сердца революционные идеи, все еще способен судить себя, свои поступки в свете идеалов молодости. Такие случаи не столь уж редки. Итак, в представлении французов, врач бросился в свою каюту, повернул в двери ключ, схватил пистолет, зарядил его, в последний раз взглянул на фотографическую карточку молодой женщины, стоявшую в круглой рамке на письменном столе, и т. д. и т. п. Такова была версия, подсказанная чувством. Версия, подсказанная требованиями морали. Версия абсурдная, поскольку она приписывала врачу добродетели, которые превратили бы его в нашего союзника, если бы только он ими обладал. Эту версию предпочел бы и Симон. Он был еще в том возрасте, когда от врага чего-то ждут. «Сообщали также,— говорил рыжий,— что корабельный священник перешел на сторону матросов, то ли желая быть заодно с будущими победителями, то ли повинувшись чувству милосердия». Эйзенштейн отбросил и эту версию, но на сей раз Симон одобряет его решение. Не надо случайной правды. Ведь священники не были по эту сторону баррикады, даже если один из них и выбрал бы такой путь. Нам важна, нас волнует главная правда. А главная правда в том, что на борту «Потемкина» в итоге произошло расслоение, и притом вполне закономерное. То расслоение, какое бывает всегда. С одной стороны — матросы, включая колеблющихся, с другой — офицеры. Говорили, впрочем, что были и исключения. К примеру, тот офицер-механик, который перешел на сторону восставших и удостоился того, что Жорес упомянул о нем в «Юманите». Упомянул не только потому, что в результате «Потемкин» мог благополучно продолжать курс, важнее другое. Его переход означал, что сама Россия, если представить ее себе в образе гигантского корабля, прекрасно обходилась без офицеров и командира. Народ, объединившись с интеллигенцией, мог управлять всеми делами нации. В ту эпоху,

при тогдашнем состоянии промышленности броненосец был одним из наиболее сложных и наиболее тонких сооружений. И то, что этот плавучий завод мог несколько дней обходиться без офицеров, идти заданным курсом, вести огонь, поддерживать связь с другими кораблями, координировать свои действия с сухопутными силами, войти в порт и выйти оттуда, в огромной мере способствовало развенчанию во всей Европе мифа, будто известные социальные прослойки имеют право на непомерно большие привилегии под тем предлогом, что они, мол, незаменимы...

Слушая объяснения рыжего, Симон все больше восхищался предвидением Жореса. Тело убитого матроса выставили в Одессе на молу. Жорес сказал об этой церемонии всего лишь одну фразу, которая теперь, благодаря фильму Эйзенштейна, звучала особенно убедительно. Он сказал: «Замечательная мизансцена Революции». Именно так и было. Тело убитого Григория Вакулинчука и впрямь стало главным действующим лицом трагедии, фоном для которой служил амфитеатр одесского порта, море, корабль, стоящий на якоре, и огромная толпа, воодушевленная едиными чувствами, как хор в античной трагедии. Мертвый герой становится как бы катализатором гнева этой толпы, собравшейся вокруг него. Мертвец призывал к оружию громче, чем любой живой. Вот оно, трагедийное искусство нашей эпохи! Вот наш Софокл, наш Еврипид. На груди героя нашего времени лежит записка со словами: «Погиб из-за тарелки супа».

На экране сцена, где казаки стреляют по обезумевшей от страха толпе. В зале не было ни одного зрителя, не знавшего этой сцены еще до того, как он увидел фильм. Ни одного, для которого образ царской России не связывался бы с бессмертным образом детской колясочки, катящейся под пулями по ступеням монументальной лестницы, что ведет от бульвара к морю. И когда солдатские сапоги отбивают такт, как на параде, все понимают, за что погиб матрос Григорий Вакулинчук, почему вспыхнуло пламя, охватившее весь город, и почему, наконец, когда «Потемкин» проходит перед флотом, нацелившим на него дула своих пушек, к нему вместо белого зловещего дыма залпов несется безмолвное «ура» матросов и видны улыбки и руки, посылающие привет,— это они творят историю... Слово «Братья!» появляется на экране. «История нашего века и нашей жизни — вот она, вся здесь,— думает Симон

Борд.— Это форштевень победоносного «Потемкина» глубоко рассекает волны, подобно тому как плуг взрыхляет перед севом землю».

СМЕЮЩЕЕСЯ МОРЕ



После аплодисментов, взорвавшихся в конце фильма, и шелканья откидных сидений воцарилась тишина. Седая дама помогла Андре Жиду надеть плащ. А сам он быстрым движением прикрыл свою лысину шляпой так называемого спортивного фасона, похожей на тирольскую и очень подходившей к плащу. Симон, основываясь на литературных описаниях, так как личных наблюдений у него не было, нашел, что писатель похож на землевладельца, хотя, конечно, зябкость и простуженный вид не очень-то вязались с представлением о жизни на вольном воздухе.

Теперь его узнали многие присутствующие, в том числе и Казо, который, должно быть, упрекнул себя за то, что не заметил такого важного (политически) гостя, и, в качестве лица ответственного, решил исправить свой промах, проводив писателя до выхода. Может быть, Андре Жиду понадобится такси? Во всяком случае, было бы ошибкой отпустить его просто так. И еще один вопрос занимал Казо: следует ли называть Андре Жид «товарищ»? Сам Андре Жид нередко употреблял это слово, но ведь он все же не член партии. И потом, удобно ли адресовать это боевое слово пролетарского братства человеку, пришедшему из такого далека?.. Казо решил обратиться к писателю в безличной форме, но вдруг кисть его руки охватили железные пальцы Гранжа:

— Мы еще увидимся сегодня?

— Да, если хочешь, в кафе «Будущее», только подожди, ты же видишь...

— А кто это?

— Андре Жид. Ты его знаешь? Нет?

— Знаю, конечно,— ответил Гранж.— Только я его не узнал.

— Кто это? — поинтересовалась Полетта.

— Это Андре Жид, писатель,— пояснил Поль.

— Ой! Он в партии?

— Нет,— сказал Поль.— Он сочувствующий. Пони-

маешь, когда такие типы выступают с правильными заявлениями, это очень важно. Это нам помощь.

— Понимаю,— сказала Полетта.— А он не притворяется?

— Что за вопрос! — возмутился Поль.— Какая ему выгода быть с нами? А ты что, не доверяешь ему, Пули?

Он шуточно ткнулся носом в шею подружки. Обнял ее за талию.

— Надо бы нам с тобой как-нибудь к морю съездить,— сказал он.

— Почему ты об этом вдруг заговорил?

— Да так... Посмотрел фильм, ну и подумал.

— Странно,— сказала она, и голос ее дрогнул,— я тоже об этом подумала.

Они никогда не видели моря. Никогда не видели чаек, разве что в холода, когда, гонимые стужей, морские беглянки долетали, случалось, до моста Берси.

Полетта сама не знает, действительно ли ее тянет к морю или просто ей хочется провести с Полем отпуск в одном из тех отелей, где вас еще с вечера спрашивают, подать ли вам утром шоколад или кофе. Она и представить не может себе, какой твердый бывает песок на пляже после отлива, где, едва успеет схлынуть вода, уже появляются курортники, вышедшие спозаранку на поиски мидий и морских ракушек, какой соленый бывает воздух — он, конечно, выветрил бы запах химикалий из ее волос, хотя его не могут отбить даже «Грезы вальса». Ни просто счастья недельного отдыха...

— Море...— говорит Поль.— Все-таки удивительно ни разу не побывать на море. В школе тебя учат, что Франция омывается четырьмя морями, а ты ни одного из них не видел!

Наконец-то Казо удалось представиться Андре Жиду.

— Может быть... проводить вас?

Фразу он закончил невнятным бормотаньем.

— Нет, нет,— ответил писатель.— Спасибо, не надо.— И добавил: — Великолепно.

Андре Жид имел в виду сцену, когда он аплодировал вместе со всем залом, ту сцену, где пенсне судового врача, которого матросы сбрасывают в море, с минуту раскачивается на цепочке в воздухе.

— Сцена с пенсне поистине изумительна.

— Да,— говорит Казо,— но...

— Вам не понравилось? — кротко спрашивает Андре Жид.

— Нет, конечно, понравилось, — торопливо отвечает Казо. — Конечно...

И трудно понять, что означает это «конечно» — то ли, что сцена с пенсне бесспорно великолепна, то ли, что он не хочет противоречить писателю.

На самом же деле Казо вовсе не убежден в том, что сцену с пенсне следует награждать аплодисментами. Правда, он хлопал вместе с другими, но сам не подал бы сигнала к таким овациям. Он подозревает, что зрители наградили аплодисментами эффектный кадр, прельстившись символикой, независимо от политического смысла... если таковой вообще в этой сцене есть. Ведь это пенсне, повисшее над бездной, может также означать: «Видите, как нелепа жизнь — человек умер, а то, что было частью его лица, его взгляда, еще существует, еще наделено жизнью». Нет ли тут формализма? Вот этот-то формализм, должно быть, и прельстил писателя.

— ...А этот свет над морем... — шепчет Андре Жид, следуя за Казо, который прокладывает ему путь к выходу.

Теперь публика узнала писателя. Его окружают. Он широко улыбается. Он думает: «Это море похоже на наше нормандское, с его туманами, с его чайками!» Волна воспоминаний уносит его в Этрета начала нынешнего века. К причудливым виллам Кабура, похожим на надгробные памятники любимым собакам. К семейным склепам, прославившимся своим покоем. Ему нравилось это серенькое море, хотя именно на его берегах он привык кутаться в кашне, с которым не расставался даже на пляжах Средиземноморья, когда открыл для себя всю прелесть теплых морей и ласкового прикосновения солнца к коже. Черное море? Внезапно он вспомнил свое путешествие в Турцию еще до войны и воды Босфора. Ведь это те же самые воды. Но откуда же тогда туманы? Почему это море зовут «Черным»? Должно быть, в штормовые дни у горизонта оно блестящее и черное, как агат. На память ему приходят строчки из собственного «Турецкого марша»: «Смеющееся море, где ликут дельфины». Но это же стихи, а разве стихи не следует изгонять из прозы? «У меня это произошло случайно. И самое смешное, что это чистейший Валери... Значит, независимо от...» Он слышит голос Казо:

— Да ну же, товарищи, дайте пройти.

Он думает: «Прекрасное это слово: товарищи».

Они уже пробрались к выходу, когда Казо заметил в поредевшей толпе Симона и крикнул, чтобы тот приходил в «Будущее». Трудно было догадаться, действительно ли он этого хочет или просто считает, что так надо, что это такая же его обязанность, как и все прочие — как, скажем, провожать Андре Жида до машины, поскольку в его глазах Симон сочувствующий, который нуждается в помощи, которому надо вовремя протянуть руку.

— Пойдем? — спрашивает Симон Камиллу.

Он держит руку Камиллы в своей, но так, чтобы никто не видел. Никогда он не сделает при посторонних ни одного жеста, который подчеркивал бы их близость.

Она нерешительно бросает «да» и улыбается. Симон любит свет ее улыбки, но иной раз ему начинает казаться — именно в такие минуты, — что Камилла ужасно далека от него, что она в каком-то своем мире, куда ему ни за что не проникнуть. Поэтому-то он и нашел к этой улыбке единственный эпитет — загадочная. Чему она улыбается? Какому представлению о жизни, которая принадлежит одной только ей?

— А тебе не будет скучно?

— Конечно, нет. Но я там никого не знаю.

— Там же будут все наши ребята.

Камилла думает, что до последнего поезда в Сен-Реми, на который должен поспеть Симон, осталось меньше часа и что она гораздо охотнее посидела бы с ним в задней комнате кафе. На сердце у нее тяжелым грузом лежит вся их трудная жизнь.

— Если тебе скучно, скажи откровенно, я не обижусь...

— Но ты же сам знаешь, — шепчет она, прижимая к себе его руку, — с тобой мне везде хорошо.

— И у нас еще хватит времени...

Он знает, что это ложь. Время слишком часто берет его за горло. Он стал жертвой времени, потому что считает дни, часы, минуты, разлучающие его с Камиллой, и потому что видит, как бегут, несутся часы, минуты, которые он проводит с ней.

Они смешиваются с группой людей, следующих за Андре Жидом, впереди которого маячит длинная фигура Казо, — он доводит писателя до поджидающей его машины. Автомобиль показался Симону старомодным, но зато роскошным — наверно, тоже английский, как и сукно плаща.

«Интересно, эта великолепная машина — его собственная или нет?» — думает Симон. Громко хлопает дверца.

А тем временем Андре Жид, забившись в угол машины, сложив руки на коленях, укрытых пледом, чувствует, как в душе его нарастает спокойствие. «Очевидно, — думает он, — это вызвано уверенностью в правильном выборе пути, рожденной фильмом Эйзенштейна». И он перенесся мыслью к началу века. Вспомнил, как их всех, его самого и ближайших его друзей, интересовала русско-японская война и как он, единственный в этой маленькой группке, предсказывал разгром царской армии. Друг не поверил, когда в подтверждение он сослался на некомпетентность командования и продажность прогнившей правительственной верхушки в Санкт-Петербурге. Он даже писал об этом Другу и употребил именно это слово «прогнившей». Самое странное, что нынешние молодые люди, очевидно, воображают, будто в те времена он был каким-то равнодушным к политическим проблемам эстетом!.. Видно, таков его удел — сеять недоразумения... Он вздохнул и повернулся к седой даме.

— Боюсь, — сказал он, — что мне не удастся заснуть.

„БУДУЩЕЕ“



А тем временем нынешние молодые люди, собравшись у цинковой стойки кафе «Будущее», продолжали плыть вместе с «Потемкиным». Наступила та минута, которой Эйзенштейн, по его словам, особенно добивался: когда образы, вызвав к жизни эмоции, начинают превращаться сначала в идеи, а затем в политические тезисы. И превращение свершится без особого труда, поскольку юноши эти еще не обременены грузом мертвящих традиций, не придавлены тяготами жизни, которые потом, позднее, станут своего рода фильтром, замедляющим все процессы.

Сначала пришли Казо, Симон и Камилла. Потом явились Поль с Полеттой, которых Казо кратко представил присутствующим.

— Товарищи из Союза молодежи. Гранж работает наладчиком у Фокара. Я уверен, — добавил он, протирая очки и близоруко щурясь, — что Андре Жид ни черта не понял.

Имя писателя, произнесенное с южным акцентом, прозвучало как-то особенно тепло, по-домашнему, словно Андре Жид держит где-нибудь в Верхней Гаронне бакалейную лавочку и мать, посылая дочку за покупками, говорит: «Сбегай-ка к Андре Жиду за сахаром».

— Почему он ни черта не понял? — удивленно спросил Симон. — Почему?

Казо нацепил очки.

— Он просто поддался на формалистические трюки. Послушай, что я имею в виду: кадр с червивым мясом, кадр с пенсне, кадр с монументальной лестницей...

— Но в этом же и заключается фильм! — говорит Симон.

— Нет, фильм не в этом. Главное в другом. Боюсь даже, что это и отвлекает внимание зрителей от главного.

— А что же тогда главное? — спрашивает Гранж.

— Связь с массами, — отвечает Казо.

— Согласен, — говорит Поль.

— Именно это и показано в фильме очень хорошо — проблема связи с массами, — горячо продолжает Казо. — Городские революционные организации, обеспечивающие снабжение корабля... убитый моряк, перенесенный в порт... Это уже кое-что, но этого еще недостаточно... И ты, надеюсь, уловил также неопытность политического руководства восстанием.

— Возможно, — замечает Симон, — но ведь, в конце концов, фильм — это прежде всего призыв к действию, разве нет? Не столько урок революционной тактики, сколько призыв к действию. Это революционная поэма, разве нет?

— Это одно и то же, — говорит Казо.

Все согласны, что это одно и то же. Их язык весьма напоминает те труды, из которых они узнали о революциях пятого и семнадцатого годов. Это в сущности еще и язык Коммунистического Интернационала. Хотя в последнее время — особенно с момента возникновения Народного фронта — этот язык начал преобразоваться, стал ближе к революционным традициям Франции, однако он до сих пор не освободился окончательно от выражений, заимствованных из военной терминологии, что, впрочем, не только не отталкивает всех этих молодых людей, а, наоборот, восхищает их. Такие выражения, как «подрывная деятельность», «лобовая атака», «недостаточная связь с массами» или «тактические ошибки недостаточно опытного руководства», ни в коей мере не

разрушают очарования «Потемкина», очарования морских просторов, под властью которых они еще находятся. Больше того, эти слова лишь усиливают впечатление, позволяют думать, что и сами они тоже участники огромного дела преобразования мира в строгом соответствии с наукой и исторической закономерностью. Им по душе эта закономерность. Им по душе строгое соответствие. Но почему же, в таком случае, Симон взбунтовался в феврале тридцать четвертого года против выражения «дозировать лозунги», когда речь зашла о демонстрации, стоившей человеческих жизней, а сейчас соглашается считать «Потемкина» просто фигурой на шахматной доске Истории? Должно быть потому, что с русскими матросами, жившими в начале века, у него нет живой, ощутимой связи, они мало-помалу превратились для него в носителей идеологии, в некое знамя, в символ... Казо, несмотря на упорное стремление не отрываться от масс, не замечает, что ни Камилла, ни Полетта почти не слушают спора и Гранж упорно молчит. Полетта утомлена. Она стала еще бледнее, лицо ее приобрело какой-то пергаментный оттенок. Раза два она смотрелась в зеркало, поправляла машинным жестом волосы и вздыхала: «Ну и вид у меня!» Она вдруг почувствовала такую усталость, что даже о завтрашнем воскресенье думает без всякого удовольствия. И к тому же в воскресное утро у них дома всегда такой шум и гам: брат, маленькие сестры, грохот молотка, вгоняющего в стену гвозди или приколачивающего доску! Поль должен решить еще до военной службы. А там видно будет. Как-нибудь они устроятся. Кто же спорит, вначале всегда приходится трудно.

Камилла то и дело поглядывает на свои ручные часики. Она почти не слушает. Конечно, спорят интересно, но она-то что может сказать? Время уходит, то есть, конечно, не сама жизнь: жизнь — она длинная, — но вот из этого коротенького часа осталось всего сорок пять минут, по истечении которых два поезда метро уйдут каждый в свою сторону и скроется лицо Симона. До каких же пор, господи боже мой, до каких пор будут повторяться эти минуты, когда в глазах мутится и в голове стоит грохот разлуки!

— Во всяком случае, — говорит Поль Гранж, — одно я знаю точно: фильм берет за живое. Как будто ты сам с ними...

— Верно, — подхватывает Казо, — тебя берет за живое потому, что это фильм о русской революции. Тебя захватыв-

вает содержание фильма, его идеи. Представь себе, что существовал бы фильм о государственном перевороте в Мексике, и пусть там будут прекраснейшие, изумительные кадры, тебе до него мало дела. Понимаешь?

Казо спрашивает себя, не перегнул ли он палку, не портит ли он всем удовольствие от картины, стремясь во что бы то ни стало превратить фильм в трактат. Он должен признать, что фильм был для него не занимательным зрелищем, а наглядным уроком. И он не столько смотрел, сколько старался осмыслить «политически». Методы, какими Эйзенштейн сумел или не сумел решить стоявшие перед ним политические задачи, интересовали Казо так, как интересует любителя-шахматиста особо выдающаяся партия турнира. Казо был взволнован, но он не любит такого волнения. Не любит слез, которые невольно выступили на глазах, когда он впервые видел фильм, в той сцене, где матросы стоят под брезентом в ожидании смерти. А море, кадры моря и туманов, которые, в сущности говоря, ни к чему, — разве это не формализм? Самый настоящий формализм!

— А лев? — продолжает Симон. — Что вы скажете о льве?

— Какой лев? — удивляется Гранж.

— А как же! Броненосец стреляет из пушки и снарядом разбивает каменного льва у подъезда какого-то богатого особняка.

— Да, это здорово, — соглашается Гранж.

— А я, если хотите знать, — говорит Казо, — очень сожалею, но я и тут с вами не согласен. Буржуазия — это не каменный лев... Мы боремся не со статуями, не с символами...

— Это уж ты придираешься, — возражает Гранж. — По моему, каждому вполне понятно, почему снаряд попадает в каменного льва... Лев — это... это царское правительство. Верно?

— Ты совершенно прав, — говорит Симон, — конечно, царское правительство.

Ему приятно, что Гранж понял смысл гибели каменного незрячего льва, равнодушного к судьбам людей, застывшего в неподвижности среди окружающего его мира, где все меняется.

Казо, закрыв глаза, аккуратно протирает очки.

— А вот я, — говорит он вполголоса, — а вот я, когда смотрю какой-нибудь фильм или пьесу или когда читаю

книгу, я первым делом спрашиваю себя: а поймут ли ее мои родители?

— Но ведь ты сам мне как-то говорил,— замечает Симон,— что когда ты приехал к своим, тебе уже через час не о чем было с ними говорить!.. Как хочешь, но это еще не критерий... Если так рассуждать, то Ленин не должен был писать «Материализм и эмпириокритицизм».

Он чуть было не добавил: «Это демагогия, ты разводишь демагогию». Но на лице Казо написано такое отчаяние, что Симон не договаривает и берет его за локоть:

— Ну ладно, не сердись. Я понимаю, что ты хотел сказать.

— Нет,— мрачно говорит Казо,— ты думаешь, что понимаешь, а ты ровно ничего не понимаешь. Чтобы понять, надо видеть, как у нас жнут рожь. Серпом жнут по крутым склонам, человека веревкой привязывают. Всего пять центнеров с гектара...

— А твои старики — коммунисты? — спрашивает Гранж.

— Да ты смеешься!

— Смотри-ка, вот еще гостей принесло — говорит Гранж, радуясь, что можно прекратить неприятный разговор.

Два шпики, ведя велосипеды, появляются в темном проеме стеклянной двери. Они вглядываются, ничего не видя, и лица у них такие же невыразительные, замкнутые, как морда каменного одесского льва.

— Не надо сегодня засиживаться,— говорит хозяин кафе.— Они уже несколько дней нервничают. Из-за дождя, должно быть.

— Не любят кино,— замечает Симон.

— Пять лет назад,— доносится чей-то голос оттуда, где стоят мраморные столики,— когда Эйзенштейн приезжал в Париж показывать свою «Генеральную линию», была мобилизована целая армия шпииков, и командовал ими сам префект полиции Кьяпп, собственной персоной. Такое было впечатление, что вот-вот революция начнется... Пока Эйзенштейн выступал с докладом в Сорбонне, на улице Сен-Жак стояли грузовики с жандармами. Один из слушателей спросил Эйзенштейна, правда ли, что большевики убили смех! Есть еще болваны на белом свете...— Говорящий делает паузу, потом добавляет: — Молодые этого понять не могут. В те времена за лишнее слово по морде били...

— Чего он хочет, этот тип? — сухо замечает Казо.— Просто бредит.

«Возможно, он и в самом деле бредит,— думает Симон,— и, вне всякого сомнения, смотрит на нынешнюю политическую ситуацию со своей колокольни. В прежние времена он, наверно, принимал участие в стычках — вроде тех, что вспыхивали в связи с приездом в Париж Эйзенштейна, но сейчас, то ли потому, что постарел, то ли по другим причинам, не хочет самому себе признаться, что держится в стороне от борьбы. Не участвуя больше в происходящих событиях — по своей или не по своей воле,— он объясняет собственную бездеятельность довольно-таки банальным образом: нынче, мол, и событий важных нет, хотя при желании мог бы прочесть в газетах о яростных схватках сторонников Народного фронта с членами боевых отрядов правых».

— Да,— говорит Симон вслух,— есть люди, неспособные видеть то, что происходит рядом с ними. Вот этот, например, очевидно, был в самой гуще борьбы лет десять назад, а сейчас у него, небось, ревматизм, и из-за этого самого ревматизма он стал иначе смотреть на исторические события. В связи с этим я подумал, что замечание Паскаля о длине носа Клеопатры совершенно справедливо...

Казо бросает на него удивленный взгляд сквозь толстые стекла очков.

— Что это на тебя вдруг нашло? Ты это всерьез?

— Но...— мнется Симон, потому что в нем внезапно просыпается изумившее его самого желание найти для старика смягчающие обстоятельства, может быть просто потому, что в голосе незнакомца прозвучала печаль.— Конечно, конечно же... я говорю вполне серьезно. Если бы у Клеопатры был нос картошкой, это не изменило бы соотношения сил в Средиземноморском бассейне, согласен, но она никогда не стала бы возлюбленной Цезаря, а значит, смотрела бы на историю по-другому. Вот и все, что я хочу сказать. Марк Твен пишет, что во время войны в Америке между Северными и Южными штатами произошла битва, в которой убили всего одного человека, это была самая маленькая битва во время той войны, говорит Марк Твен, но ведь для погибшего она оказалась самой большой.

Казо решает, что можно снисходительно посмеяться. Сочувствующих надо щадить.

— Софист проклятый — говорит он. И, обращаясь к Гранжу, добавляет: — Видишь, чему нас учат... Вот она буржуазная культура...

Но Гранж не подхватывает брошенного ему мяча:

— Если фильм вас только на такие мысли навел, то...

В голосе его слышится легкое раздражение, и Симону кажется даже, что он незаметно пожал плечом. «Вот,— думает он,— вот он занавес, который отделяет его от меня. Ведь я пошутил, но Гранж таких шуток не понимает, не может понять. Мы и шутим-то по-разному. Не способны понимать друг друга с полуслова. Вот она драма». Он пытается представить себе, сколько всего пришлось бы объяснить Гранжу, чтобы до него дошла эта безобидная шутка. Пришлось бы ему объяснить не только кто такая Клеопатра, но и кто такие Цезарь, Помпей, Антоний, Паскаль... Да и этого оказалось бы недостаточно. Подобные остроты могут быть должным образом восприняты лишь посвященными, для которых такие шутки привычны, как и намеки на определенные персонажи, на исторические события, почти или вовсе неизвестные широкой публике,— намеки, ставшие общим местом, надоедливым дурачеством, совсем так, как для Гранжа остроты насчет сборки машин и завода Фокара, которых не понял бы в свою очередь Симон. «А ведь живи Гранж в Советской России, он бы, конечно, читал труды по истории,— думает Симон.— И, вероятно, даже видел бы в театре шекспировского «Юлия Цезаря». А здесь у нас два разных языка, два разных мира. Вот она драма».

Камилла рассмеялась, слушая Казо, который, пригнувшись, шепчет ей что-то. Симону показалось даже, что он положил ей руку на плечо. Почему Камилла сейчас смеется, а раньше слушала их разговор с таким равнодушным видом? Ему стало не по себе. Чувство досады приходило всякий раз, когда он замечал, что существует другая Камилла, отличная от его Камиллы: эта другая работает в конторе, а он не смеет даже ждать ее у выхода; этой другой Камилле мужчины, не подозревающие о его существовании, говорят глупые комплименты. Другая. Незнакомка. Он не раз винил себя за эти собственнические настроения, но что поделаешь? Есть один-единственный способ избавиться от тревоги — не притворяться, будто ему все безразлично, а, наоборот, полностью завладеть Камиллой. Пусть люди знают: «Это жена Симона Борда».

— Вы тоже с юга? — спрашивает Гранж.

«Вот он барьер: ведь Гранж прекрасно видит, что я друг Казо, но не решается обратиться ко мне на «ты». Если бы у меня на лацкане был такой же значок, как у Казо, я мог бы сколько угодно шутить, говорить самые непонятные вещи

о носе Клеопатры, забираться в любые дебри интеллектуализма в самом мерзком значении этого слова, и все равно я был бы для него товарищем».

— Да, но в наших краях холоднее, чем у Казо, мы, так сказать, горцы. Однако это тоже юг.

— А пальмы там есть? — осведомляется Полетта.

— Есть, конечно, во дворе каждой фермы непременно есть хоть одна большая пальма. А почему вы спрашиваете?

— Да так,— говорит Полетта.— Мне бы очень хотелось видеть пальмы, которые растут сами по себе, как каштаны в Париже.

— Когда-нибудь увидишь,— говорит Поль.

Он обнимает ее за шею. Она замечталась о пальмах. Замечталась о солнце.

Вдруг Казо, разблагодуществовавшись, заказывает по второй рюмке сомюра.

— Нет, спасибо,— говорит Камилла,— я не хочу!

— Может быть, вам заказать что-нибудь другое?

— Нет,— отвечает она,— ничего не надо...

— Не хочешь ли выпить чего-нибудь горячего? — спрашивает Симон.

— Нет,— отказывается она,— нет.

Он понижает голос до шепота:

— Что с тобой?

— Ничего, ровно ничего.

— Но все-таки...

— Да нет, уверяю тебя.

— Хочешь, уйдем?

— Нет, напротив.

— Почему напротив?

— Не приставай ко мне, дорогой.

Он поднимает брови. Он ничего не понимает. И говорит:

— Ничего не понимаю.

Она молча трясет головой.

Он не понимает, что ей хочется брести об руку с ним в темноте под холодным дождем, потому что уже начался дождь.



а дальним столиком, где сидит незнакомец — тот самый, который утверждает, будто нынешние не знают, что такое мордобой,— вдруг кто-то крикнул:

— Саша!

В эту минуту в распахнутых дверях на фоне дождливой ночи возникло улыбающееся лицо юноши, одетого так, как одеваются где-нибудь за городом, когда выезжают на лыжах — спортивная зимняя куртка, узкие спортивные брюки, лыжные ботинки,— и в этом лице, усыпанном веснушками, в голубых глазах чувствуется что-то необычайное, как и в имени «Саша». Казо перехватил юношу и представил его:

— Это Бернштéйн, товарищ из Союза молодежи.

Между компанией Казо и разочарованным незнакомцем, окликнувшим Сашу, устанавливается контакт.

— Привет, ребята — говорит Саша с таким неподдельным бельвийским выговором, что Симон сразу же прощает ему развязный тон предместий, хотя в первую минуту заподозрил было, что развязность не была простым позерством.

— Здравствуйте, господин Бернштейн,— говорит хозяин кафе (как и Казо, он произносит: «Бернстáйн»).

Со всех сторон несутся возгласы:

— Ну как? Скоро?

Казо поворачивается к сидящим за его столиком.

— Вам, очевидно, невдомек,— говорит он, указывая на Сашу,— что перед вами советский гражданин во плоти и крови.

Он довольно улыбается, как будто это открытие — его личная заслуга.

— Скоро уезжаешь?

— Ты в СССР едешь? — спрашивает Гранж.— Вот ведь повезло!

— Представь себе, уезжаю,— говорит Саша.— Окончательно. Не в туристскую поездку.

Он вытащил из кармана куртки портмоне, а из портмоне бумагу.

— Возвращаюсь домой,— говорит он торжественно.

«Мы увидели несколько строк русского текста, напечатанного на машинке, и синюю печать — серп и молот на

земном шаре, пятиконечную звезду, колосья и надпись; очевидно, она означает: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И Сашин жест — жест, казалось бы, самый обычный в таком вот кафе и в этот час (просто человек под хмельком показывает свои документы случайным собутыльникам, ибо удостоверение личности — это единственное его достояние, итог всей его жизни, особенно когда речь идет о военном билете, а в большинстве случаев речь идет именно о военном билете), этот жест одиночества и бедности, которым выражается извечная потребность успокоить себя и других, показать, что все у тебя по закону, что ты тоже полноправный гражданин, хоть и одет неважно и у кого-то на подозрении, — скромный жест Саши сразу восхитил всех нас. Мы склонились над славянскими буквами и над синей печатью, как, должно быть, в давние времена посетители какой-нибудь испанской харчевни склонялись над первыми самородками золота, привезенными из Нового Света. Эта бумажка в Сашиних руках была как бы завершением того, что началось тридцать лет назад на борту «Потемкина». Она удостоверяла, что Советский Союз существует. Я вспомнил, как мне в руки случайно попал официальный документ времен Парижской коммуны — пропуск за подписью Делеклюза, выданный какому-то гражданину города Парижа; в моих глазах он был свидетельством того, что Коммуна действительно правила страной, что она была реальной властью, а не просто идеей...

Но если при виде пропуска, подписанного Делеклюзом, я пережил горечь неудачи, неотъемлемую ныне от всего, связанного с Парижской коммуной, то эта бумага, которую держал в руках Саша Бернштейн, была, наоборот, аттестатом жизни, свидетельством победы, гораздо более убедительным, чем многие книги, многие газетные статьи. А Саша... Еще несколько минут назад я его не знал, но уверен, никогда не забуду его лица. Этот документ обладал волшебной силой, и поездка в СССР сразу перестала быть для Саши только замыслом, только чаянием... Отныне он принадлежит к иному миру: он перешел из одной эпохи в другую, никто уже не может смотреть на него теми глазами, что прежде. Отныне он станет для нас доводом, для наших врагов — вызовом и для всех прочих — проблемой».

— А когда уезжаешь? — спросил Казо.

— Точно не знаю. Думаю, месяца через два-три. Еще не все бумаги готовы.

Он рассказал, что едет в Москву к своему дяде. Дядя работает инженером на текстильной фабрике. Саша будет продолжать изучать химию. И станет химиком.

— А о Париже скучать не будешь? — спросил тот самый голос, который окликнул Сашу при входе.

— Еще чего! — горячо возразил Гранж. И повторил: — Еще чего! Парню повезло, а он...

— Знаете, — сказал Саша, — я ведь все-таки родился в Париже. В двухстах метрах отсюда. Это мой квартал. Конечно, я буду вспоминать Париж. Но я приеду сюда. Не на луну же я в самом деле лечу...

— Ну, это как сказать, — вдруг бросил незнакомец, который жалел, что теперь не бывает мордобоев, — при отъезде всегда так говорят. Только, я думаю, вы строите себе иллюзии. Учтите, я считаю, что вы правильно делаете, решив ехать. Но когда вы там очутитесь... не будете же вы взад и вперед разъезжать!.. А что касается переписки... Заметьте, я не критикую. А констатирую. Они обороняются, это вполне естественно. Но не надо строить себе иллюзий...

— А вы-то откуда знаете? — говорит Казо. — Вам известны какие-то факты? Разве советские граждане не бывают во Франции?

— Разумеется, — соглашается незнакомец, — бывают исключения. Впрочем, не в этом дело...

— А раз не в этом дело, тогда о чем же говорить? — сухо бросает Казо.

— Вы просто меня не поняли, — отвечает незнакомец усталым тоном, в котором Симону чудится что-то наигранное. — Вы меня не поняли. То, что я говорю, никак не влияет на наши идеи. Я говорю: *наши* идеи. Но надо видеть вещи такими, каковы они есть.

— Не люблю я, когда идеи предпосылают «но», не люблю, — замечает Казо.

Симон вполне с ним согласен.

Никто из нас не любит, когда идеи предпосылают «но».

— Во всяком случае, — говорит Саша, — для меня это второстепенный вопрос. Я уезжаю потому, что хочу уехать. Никто меня не неволит. Можно ли сюда вернуться и когда — это уже другое дело. Сейчас главное уехать...

— Ты совершенно прав, — говорит Гранж. Он широко взмахивает рукой, как бы призывая всех в свидетели. — Вот парень уезжает в СССР, а вы не нашли ничего лучшего, как устроить дискуссию, вернется он или не вернется.

А зачем, спрашивается, ему возвращаться? Чтобы спину на хозяина гнуть? Чтобы со шпиками драться? Не говоря уже о том, что будет война. Перспектива невеселая.

— Разреши-ка мне сказать,— прерывает его незнакомец.— Представь себе, что с семнадцатого года я думаю так же, как и ты. Срок немалый. Но я тебе повторяю: лучше, если бы кое-что там обстояло иначе... Возможно, это второстепенное, и все-таки лучше, если бы было иначе. Ты всего этого не знаешь, я тебя и не упрекаю. Но я-то не могу вести себя так, будто ничего не знаю.

Симон не любитель такой таинственности. «Почему он не может выражаться яснее? Чего мы не знаем, а он, видите ли, знает? Что границы СССР закрыты? Но ведь мы это знаем. Ну и что? Если он имеет в виду личные трагедии, которые повлекла за собой революция, разлуки, ненужные смерти и бедствия гражданской войны, то почему, спрашивается, он воображает, что мы не способны это понять?»

— Такие психологические тонкости яйца выеденного не стоят,— говорит Симон.— Люди хотят знать, на чьей ты стороне — на той или на этой...

Незнакомец глядит на Симона прищурившись, и вокруг его глаз разбегается сеть мелких морщинок. Его, по-видимому, не задела слова Симона. Он склоняет к плечу сидящую голову и продолжает тем же усталым тоном, будто выполнял какую-то тяжелую повинность.

— Знаете ли,— говорит он,— есть вещи, которые я для себя уже давно выяснил. Уже давно. И это не мешает мне быть на стороне... на стороне матросов «Потемкина», если вы это имели в виду. А все остальное — дело второстепенное.— Он поворачивается к Симону: — Вы член партии?

— А вы? — спрашивает Казо, не дав Симону времени ответить.

Казо удивительно ловко умеет маневрировать словами «вы» и «ты». Если он сказал «вы», значит, ответ наверняка будет отрицательный.

Незнакомец с минуту колеблется. Он взмахивает рукой, как бы отметаая воспоминания, возражения, но жест его нетороплив, не навязчив.

— Я был в партии когда-то, но...— И быстро добавляет: — Меня не исключали, прошу заметить...

Казо пожимает плечами, снимает очки и жмурится. Чей-то голос говорит:

— Да брось ты! Он неплохой малый! Только чуточку анархист. Такие уж у них в Бельвиле настроения...

— В Бельвиле...— говорит Казо, поправляя очки своими длинными узловатыми пальцами.— Конечно, можно все на Бельвиль свалить. Не смешите меня, пожалуйста...

Воцаряется молчание, и никто не решается его нарушить, будто никому не хочется додумать до конца свою мысль.

Симону все ясно: незнакомец просто старый человек, и его отмечающий жест означает обычное, извечное: «Откуда вам, молодым, знать».

Казо сердито рассматривает свой наполовину опорожненный стакан. Посетители начинают расходиться, становится просторнее — сначала у стойки, потом и за столиками; то и дело хлопает дверь, и сразу обнаруживается виющая за ней холодная завеса дождя.

Незнакомец встал и ушел, ни на кого не взглянув, ничего не сказав.

— Возможно, зря я на него так насеял,— говорит Симон.— В конце концов, это меня не касается. Он не член партии, и я тоже...

— Что же между вами общего? — возмущается Казо.— Ты можешь стать членом партии, а он — он из партии вышел, что же тут общего?! Нет, ты правильно поступил. Все антисоветские листки твердят эти басни с семнадцатого года.

— Мы же не знаем,— замечает Гранж, как бы отвечая самому себе,— неизвестно, может быть, он еще вернется... все зависит...

— Нет,— говорит Казо.— Такие типы не возвращаются. Ты заметил, как он говорил, что не согласен только с вещами второстепенными? Говорил — второстепенными, а для него они главные. Это всегда так. Твердят, что критикуют второстепенное, а на самом деле второстепенное-то для них и важно, а в итоге...

Саша держит во рту сигарету, лицо его совсем заволокло голубоватым дымом. Он щурит глаза и тихонько кашляет.

— Конечно,— говорит он,— бывают особые случаи. Бывают семейные трагедии... А тут представляется такой случай, как мой отъезд,— как же им не воспользоваться? Слишком уж соблазнительно. Что ты хочешь?.. Невозможно перестроить общество, как они это делают, и не рубить лишнего, то есть я хочу сказать — не просто лишнего, а чтобы не было несправедливостей.

Он пожимает плечами.

— Ничего тут не поделаешь,— продолжает он.— Во время Французской революции не так-то уж умно было гильотинировать Лавуазье. Разве нет? И уж совсем неумно возводить это в теорию и заявлять, что Республике, мол, не нужны химики. Но видите ли, если сегодня какой-нибудь химик заявит, что он не республиканец только потому, что Лавуазье...

— Лавуазье,— перебивает Казо,— был гильотинирован не как химик, а как откупщик...

— До сих пор существуют миллионы людей, которые не простили нам казни Людовика Шестнадцатого,— замечает Симон.— Ученики частных школ, которые оплакивают бедняжку дофина и Марию-Антуанетту в тюрьме Тампль, тоже нам этого не простили.

— Ну и черт с ними,— заявляет Гранж.

— Конечно,— подтверждает Казо.

Симон молчит, но в душе он с ними согласен. «Именно так. Необходимо идти до конца. Не колеблясь. Нельзя быть человеком в домашних туфлях. Справа от гарсона, что держит одной рукой стопку блюдец на фотографии, снятой в кафе на авеню Мэн в тысячу девятьсот пятом году,— того самого гарсона, который затем стал ассом и был убит в пятнадцатом или шестнадцатом году,— стоит некий Морне, который потом сделался близким другом моего отца. «Вообрази,— рассказывал мне отец,— что в июле четырнадцатого года, в день, когда на Больших бульварах состоялась огромная демонстрация против войны, я случайно встретил Морне.

В ту пору он жил неподалеку, около Центрального рынка. Я его спрашиваю: «Куда направляешься?» Он отвечает: «Да так, говорит, прогуливаюсь». Гляжу, а он в домашних туфлях. Очевидно, он шел за женой, которая работала на телефонной станции. Так нас и затянуло в демонстрацию. Только что стало известно, что Жорес убит. Люди кричали: «Долой войну!» Все, конечно, понимали, что она вот-вот разразится. Но нас не сразу мобилизовали. В то время почтовых служащих не трогали. Только потом нас начали призывать. Я опять встретил Морне, и он по-прежнему щеголял в домашних туфлях. И к тому же в кепке — он всегда в таком виде ходил по делам, вот его и принимали за рабочего. В те времена, если у человека не было шляпы на голове, на него все обращали внимание».

«Ох эти домашние туфли! Да, Жорес... Но он погиб тридцать первого июля, а что бы он стал делать второго августа? Лучше не думать об этом. Одно бесспорно: такие вещи не должны повторяться. У нас лишь один путь, путь «Потемкина», путь Октября семнадцатого года».

— Но все-таки,— говорит Камилла,— вы уверены, что никогда не будете тосковать по Парижу?

Симон даже не заметил, что Камилла промолчала все это время. Значит, пока они спорили о таких важных для него вопросах, она была ему не нужна? Он еще не спрашивал себя, как отразится на ее жизни то решение, которое он готовится принять. Он ничего от нее не требовал в сердце своим и ничего не обещал, словно она существовала для него лишь в настоящем, в неуловимый миг непрестанного превращения настоящего в прошлое, нереальная, как сам этот миг. А что касается будущего, то стоит ли вообще представлять его себе? Кто знает, что станет с нашей любовью после войны, после революции, при том условии, конечно, что нас не разлучит смерть? Кто скажет, какая любовь нам будет нужна через двадцать, через тридцать лет? И, однако, нельзя жить на гребне волны. Однодневками. Нам нужна жизнь в перспективе.

Он обнял Камиллу за талию — ему хотелось ощутить сквозь ткань пальто тепло ее тела. Она улыбнулась.

— Конечно,— говорит Саша,— возможно, я и буду жалеть о Париже. Я ведь живу не в облаках. И понимаю, что еду не в свадебное путешествие. Но жизнь-то моя там. Мой отец был русский революционер.— Он опускает глаза.— И вот сейчас, когда я смотрел фильм, кадры улиц Одессы... Мне казалось, что мой отец находится в этой толпе... Матери моей было в то время лет пятнадцать-шестнадцать, она жила тогда в России. И она прекрасно помнила все это... Погромы. Для всех нас это имеет политический смысл, но для меня не только политический...— Он вскидывает глаза и улыбается, чтобы скрыть волнение.—...Не только... Вот, например, освещение, лица, жесты... Как будто я смотрю старую семейную фотографию.

Вслух он не смеет признаться, какие чувства охватили его, когда на экране появились первые морские кадры, первые вспышки света, которые стали для него в ту же минуту сиянием русского света,— во всяком случае, такой представлялась ему Россия, когда он в детстве занимался русским языком и вечерами, лежа в постельке, слышал сквозь сон,

как рядом, в тесной столовой — обычной столовой парижской рабочей квартиры, — шли за ужином разговоры. Его отец и мать приехали в Париж в десятом году. Они только что поженились. И оба умерли, так никогда и не увидев больше России, не приняв участия в революции, которую они так ждали, не желая признаться даже самим себе, что они уже обосновались, прижились во Франции и что Россия стала для них далекой страной, она напоминала о себе лишь каждодневными будничными привычками, вроде, например, пристрастия к рубленным котлетам, к салату, заправленному сметаной, а не оливковым маслом... Да еще песнями, языком, на котором они говорили дома, хотя французские слова мало-помалу вытесняли русские... Но в то время как родители Саши отдалялись от родины, сам он, став коммунистом, проделывал их путь в обратном направлении. Получая письма от своего московского дяди, черпая в них поддержку, Саша готовился и внешне и внутренне к путешествию, которое в его глазах должно было положить конец изгнанию, он смотрел на это путешествие как на некий долг. Он изучал русскую грамматику, старался, исходя из сложившихся у него в детстве представлений о России и русских, воссоздать облик новой России: вся в лесах новостроек, вся в гудении тракторов; но ему так и не удалось до конца избавиться от ее прежнего образа, который запечатлен на старых фотографиях, наклеенных на картон с золоченым обрезом и штампом на оборотной стороне, гласящим, что они сняты фотографом двора его императорского величества; глядя на эти снимки, Саша узнавал, что в России существовали молодые люди с бледными лицами, обросшими юношеской бородкой, в кофеворотках с вышитым воротом, глядящие на мир сквозь хрупкое пенсне пронзительным взором провозвестников бури. Лица эти столь живые, столь реальные, что Саша еле сдержал слезы, когда на экране, в одесской толпе, десять, двадцать раз промелькнуло лицо его матери, тогда еще совсем молоденькой девушки, лицо его отца...

— Но, — говорит Казо, — ты себя чувствуешь русским или это только, так сказать, политическая близость? Понимаешь, что я хочу сказать?

— И то и другое. Здесь, во Франции, сами знаете, сколько бы я ни твердил, что я из Бельвиля, всегда найдется какой-нибудь тип, который обзовет меня чужаком. Ты пойми... как смотрят на меня скоты-полицейские или

даже самый последний служащий в мэрии, когда я заполняю бумаги: родился в... и в..., а главное — фамилия...

— Бернштейн,— подсказывает Казо.

Симон снова видит улыбку, которая недавно засияла нам среди россыпи веснушек...

— Конечно, если ее произносить так, как ты, с твоим акцентом, тогда, конечно, все в порядке... Но ты пойми, что я хочу сказать...

— У тебя русская фамилия?— любопытствует Гранж.— Похожа больше на эльзасскую...

Улыбка разом гаснет.

— Нет, не русская. Имя у меня русское. А не фамилия.

— А какая же?— спрашивает Гранж.

— Еврейская,— отвечает Саша.

— Ты еврей?

— На мой взгляд, нет, но для других — еврей, так что, в сущности, это одно и то же.

— Да плевать тебе на других!

Казо смеется.

— Но это все меняет,— говорит Саша.

Улыбка застывает на губах Казо, он поправляет очки.

— Не пори чепуху. Это проблема, высосанная из пальца.

Фразу эту он произносит дружеским, но твердым тоном, веско, так говорит он на их студенческом совете, когда нужно вернуть дискуссию в нужное русло.

— Совсе это не высосанная из пальца проблема,— возражает Саша.— В СССР антисемитизм карается по закону. Будь это высосанная из пальца проблема, не требовалось бы издавать специальные законы. Ведь не издают же закона в защиту, скажем, бородатых или лысых. А насчет евреев издают...— Он вскидывает глаза, словно хочет рассмотреть свое лицо в плохоньком зеркале, просвечивающем между бутылок аперитива.— И с этим еще далеко не покончено. Нечего себя успокаивать мыслью, что погромы, мол, это только в Германии, что у нас здесь такого не может произойти. Да бросьте! Это передается, как зараза. Как оспа!

— Но почему же тогда ты,— спрашивает Симон,— почему ты, например, не протестуешь, когда антисемиты называют тебя евреем? Ты еврей, если хочешь... Но ведь ты сам говоришь, что, на твой взгляд, ты не еврей, тогда в чем же дело?

Взор Саши по-прежнему устремлен куда-то за цинковую стойку, он по-прежнему ищет свое изображение в зеркале между разноцветными бутылками.

— Не могу я запретить антисемитам говорить, что я еврей, и делать отсюда угодные им выводы. Переменить фамилию? Не хочу... Это капитуляция... Да к тому же...— Он вдруг поворачивает к ним свое круглое, усеянное веснушками лицо.— К тому же, поглядите на мой нос! О чем тут говорить!

— Почему? — говорит Симон.— Почему?

И тут же умолкает, потрясенный внезапным открытием: лицо Саши, которое поразило его прежде всего веселым блеском глаз — даже от веснушек исходило веселье, — кажется теперь совсем другим. Симону стыдно признаться, что на ум ему пришло выражение: «еврейский нос».

— Ты неправильно ставишь вопрос, — говорит Казо.

— Да иди ты... — мрачно возражает Саша.— Это не я ставлю, а мой нос.

Он произнес слово «нос» в нарочито жаргонной манере, как говорят на парижских окраинах, словно желая подчеркнуть всю нелепость ксенофобии.

— Но у тебя вовсе не еврейская внешность! — заявляет Казо.— То есть я хотел сказать...

Бернштейн не дает ему времени загладить допущенный промах.

— Ага! Видишь! — восклицает он, и в голосе его на этот раз звучит неподдельное отчаяние.— Видишь, значит, существует особая «еврейская внешность». Значит, можно иметь «еврейскую внешность?»

— Можно иметь еврейскую внешность, как, скажем, можно иметь и бретонскую, — с трудом выдавливает из себя Казо.

— Конечно, но всем известно, что это влечет за собой неодинаковые последствия. Итак, я, значит, ставлю высосанные из пальца проблемы? К сожалению, лжепроблемы решать подчас труднее, чем настоящие.— Он негромко рассмеялся.— Вот он, талмудический ум... Талмудический ум в действии!..

— Неверно это, — говорит Казо, точнее, не говорит, а словно вещает с трибуны, или, выражаясь его языком, «изъясняется по-ли-ти-че-ски». — Неверно. Ты говоришь с нами так, как с противниками. Это неверно. Ты споришь из-за слов.

— Ничего подобного, я просто констатирую факт,— возражает Саша.— Словом «еврей» пользуются для смертоубийства. Это факт.

— Послушайте,— вмешивается Гранж,— надоели вы с вашими спорами. Какое это, к дьяволу, имеет значение? Еврей, не еврей, француз, иностранец — таким манером они и раскалывают рабочие массы. И так обстоит дело не только с евреями... Скажем, с североафриканцами — еще хуже. Им суют самую гнусную работу...

Прежде чем произнести «североафриканцы», Гранж на мгновение замаялся. Он прекрасно знает, что нельзя говорить «черномазые», и все же слово это едва не сорвалось с его губ. Хорошо, что он вовремя спохватился: члену Союза коммунистической молодежи так говорить не полагается. Но что он думает на самом деле? Что думает, когда не делает над собой усилий, чтобы мыслить, как говорит Казо, по-ли-ти-че-ски правильно? Думает, что в нем еще есть какая-то зыбкая зона. Зона, где живут всевозможные «но»... «Но» это... «Но» то... Например, евреи такие же люди, как и все прочие, это само собой разумеется. Антисемитизм — тот же фашизм, и все же приходится признать, что среди евреев много хозяйчиков, спекулянтов. Среди евреев также много троцкистов. Североафриканцы тоже люди, как и все прочие, и не их вина, что они вынуждены переселяться во Францию в поисках работы. Там у них несусветная нищета. Их еще сильнее, чем нас, эксплуатируют... Ну а что, если в один прекрасный день твоя родная сестра придет и заявит, что желает выйти замуж за алжирца? Представляешь себе, какой поднимется шум! Не говоря уж о том, что фашисты из «Солидарите франсез» вербуют себе подручных среди североафриканцев. И ты не можешь запретить остроты насчет черномазой солидарности... Это тоже факт. Но все так сложно...

— Ладно, дело не в этом...— вдруг говорит он.— Завтра для нас не праздничный день. Мне подыматься чуть свет. Пойдем-ка спать.

— Нет, нет,— протестует Саша и снова улыбается, как будто он научился по желанию, путем длительной тренировки, мгновенно отбрасывать то, что омрачает его жизнь.— Нет, уж это вы бросьте, я как раз собрался вас угостить.

— Ну, разве что чуточку сомюра.

— У них там нет такого вина,— говорит Гранж. Но тут же спохватывается, будто упрекая себя за то, что под-

дался на удочку антисоветской пропаганды:— Но, конечно, будет...

— Кто отвлечет шпикив? — спрашивает Казо.

— Давайте я, — говорит Гранж, — мне все равно. Пойду за газетами. Погода дрянная. Эти типы едва ли явятся. Они совсем как улитки, только наоборот. От дождя прячутся.

— Поглядите-ка на него! — по-отечески снисходительно замечает Казо. — Ему тоже драку подавай. Авантюрист!

Симон не считает возможным вмешиваться в разговор. Это язык борьбы, и он обвиняет себя за то, что до сих пор стоит от нее в стороне.

— Авантюрист? Не заливай, — говорит Гранж. — Надо же на удары отвечать... Разве нет?

Но Гранж умалчивает о том, что он любит подраться. Вопреки тому, что сказал разочарованный незнакомец, почти каждое воскресное утро при продаже газет завязываются стычки. Гранжу не свойственно недооценивать противника. Он нередко говорит: «Этих парней обработали. Надо смотреть правде в глаза: среди них есть обманутые пролетарии. Как в Германии. Это нормально». Он вспоминает заголовок, появившийся два года назад в понедельничном номере «Юманите» перед приходом гитлеровцев к власти: «Рабочие-коммунисты оказывают штурмовикам яростное сопротивление. Есть убитые и раненые». Эти стычки происходили каждое воскресенье или почти каждое. Ему напомнилось название «Альтона». Он так и говорит: «Парни из Альтоны». В воображении его рисуется окрестина вроде Сен-Дени, только еще более угрюмая, и выстрелы, нарушающие воскресным утром тишину пустынных улиц, где висят красные флаги. Во Франции до этого еще не дошло, но и это будет, наверняка будет. А пока надо их хорошенько проучить. Да и вообще... по-ли-ти-че-ски, возможно, это и не очень правильно, но он действительно любит подраться. Когда эти молодчики начинают расхаживать вокруг него, он уже готов к бою, кулаки прижаты к груди, где под застегнутым пиджаком напиханы газеты, и тогда те начинают о чем-то шептаться, потом медленно отходят — очевидно, признав его, так как он уже завоевал репутацию смельчака. Гранж тогда переживает минуту горького разочарования, словно его лишили воскресного развлечения.

Настанет день, и тогда уже придется драться по-другому. Настанет день, и все будет как в России. Это уж наверняка. «Да здравствует Парижская коммуна, ее пушки

и ружья. День отмщения настает...» Эту песню поют демонстранты так, как, скажем, они поют «Время вишням цвести», не особенно веря в смысл слов, но придет день, когда они поверят. Даже венским социалистам пришлось в тридцать четвертом году взяться за оружие.

Гранж поднимает стакан:

— Ну, выпьем, что ли... Выпьем за советского товарища!

Саша слегка краснеет, и так как глаза его встречаются с глазами хозяина кафе, он поднимает свой стакан и говорит:

— Пью за будущее!

Он, видимо, хотел обыграть название кафе, да и не он первый: хозяин не раз слышал, как ему шутливо желали «хорошего будущего», но в эту минуту, когда аромат подогретого вина ударяет Саше в голову, он вдруг понимает, что и впрямь имел в виду кафе «Будущее», и, как бы репетируя сцену скорого прощанья, бросает на хозяина кафе, на Бельвиль, на Париж, на всю уже отошедшую в прошлое часть своей жизни последний, действительно последний взгляд.

Хозяин начал сдвигать стулья и складывать их друг на друга, на мраморные столы и обитые медным листом столы, а жена его тем временем разбрасывает пригоршнями опилки на плиточный пол, извиняясь перед засидевшимися клиентами.

— Ничего не поделаешь, пора запирать, а то эти господа увидят свет и снова пожалуют.

Хозяева ворчат, о чем-то спрашивают друг друга на том особом языке, какой вырабатывается у супругов после двадцати пяти или тридцати лет совместной жизни: он непонятен для посторонних и звучит как некий условный жаргон, где все слова будто знакомые, а что они значат, — не поймешь: «Ты видел эту свинью?» — «Я прямо так и сказал Марселю — нет и нет». — «Все они одним миром мазаны». Слушая их овернский говор, Симон вдруг вспомнил угольщика, к которому его мальчишкой посылали за пакетом лучины для растопки кухонной плиты, что в их семье вообще считалось роскошью, — отец обычно сам колол старые ящики сечкой, которой рубили также сало и петрушку; потом от угольщика его мысль перенеслась к философии овернца, поселившегося в Париже. «Еще год-два, и кончится срок их добровольного изгнания, они решат, что добились своего, накопили достаточно и пора им жить на ренту в родном Орияке. А на самом деле они не заметили

главного: что зря растратили невосполнимый капитал — время, и позже они будут ломать себе голову, зачем надо было так «надрываться», зачем они «лезли из кожи вон». Они постараются убедить себя, что это все «ради детей», и никогда им не узнать, что они прожили всю свою жизнь лишь для того, чтобы умереть.

— Закрывается! — крикнул хозяин шутки ради таким голосом, как кричат сторожа на скверах, увидев в дверном проеме двух шпииков.

Симон глядит на хозяина, и сердце его тоскливо сжимается. Эта шутка означает, что пора расставаться с Камиллой. Хозяин, ворча, ходит взад и вперед по кафе и вдруг становится живым воплощением Времени, каким его изображают на аллегорических картинках. Он разбрасывает пригоршнями опилки, и они навсегда сотрут следы шагов, которыми отмерялись уже ушедшие мгновения нашей жизни. Длинной рукояткой он опускает шторы, будто опускает занавес, кладя конец этому вечеру, который не будет похож ни на один из будущих вечеров. Разговор иссякает. Ничто больше не удерживает здесь.

— Ну, мы уходим, — говорит Камилла.

Глаза ее полны слез.

— Прости меня, — говорит он, нарочно понижая голос, чтобы она не услышала.

„ТРИ ВОЛХВА“



дает холодный мелкий дождь, и вокруг фонарей радужными блестками кружатся дождевые капли. Я различаю среди удаляющихся голосов голос Саши Бернштейна. В моей памяти он звучит так, как никогда еще не звучал ни один голос на свете. До того дня я о Саше почти ничего не знал, почти не говорил с ним. Но поскольку он уезжает в СССР, поскольку мы вместе видели «Потемкина», никогда я не забуду Сашу. Наступила тишина, почти ничем не нарушаемая, она становится почти осязаемой, когда мимо пробегают люди, спеша в метро, да рядом стучат каблучки Камиллы, милый сердцу стук, который я научился распознавать среди любого шума. Наконец мы остались с глазу на глаз с нашим одиночеством, с самими собой — это сделала ночь, дождь и чужие шаги. Опять — в который раз! —

нам предстоит решить проблему нашей любви. И никто, ничто не приходит нам на помощь! Невообразимое множество романов посвящено этой теме, но ни один не может ответить прямо на наш вопрос: «Что же нам делать?» В этих книгах, по-моему, все ложь, все поверхностно. Неужели можно принимать всерьез поэмы о вечной любви, написанные людьми, любившими десятки раз? Не могу я относиться снисходительно к этой безответственной литературе, не дающей ключа ни к чему. А вдруг на наш вопрос вообще нет ответа?

— О чем ты думаешь?

— Да так, ни о чем. Тебе в кафе было не очень скучно? Ты все время молчала...

— Нет, вовсе не скучно, откуда ты взял?

— Не знаю... Ты все время молчишь... В сущности такие разговоры тебя, видно, не особенно интересуют?

— Какие разговоры?

— Ну, разговоры о политике.

— Какой же ты глупый. Конечно, интересуют. Я слушаю, но что я, по-твоему, могу сказать? Вы там в своей компании.

— Как так «в своей компании»? А ты разве нет? Неужели ты считаешь, что, когда мы говорим, скажем, с Казо, тебя это не касается?

— Знаешь, это трудно объяснить. Я не умею говорить вашим языком. Вы ведь рассуждаете так, что другие не могут вас понять. Не знаю, может быть, вы этого сами не замечаете... Вот та, другая девушка, тоже молчала... А ведь она...

— Мне порой казалось, что ты мыслями была где-то далеко.

— Да нет же, глупенький. Просто, если обращаются прямо ко мне, я чувствую себя увереннее, чем когда вы разговариваете между собой. Тебя я ни в чем не упрекаю. Все вы такие...

— Наши разговоры в самом деле производят на тебя такое впечатление?

— Откровенно говоря, да.

— Но почему же?

— Не знаю, но это так, ничего не могу поделать.

— Ты считаешь, что мы говорим слишком отвлеченно?

— Нет, дело не только в этом. Впрочем, что значит «отвлеченно»? Наоборот, все, что вы говорите, очень

понятно, но со стороны кажется, будто вы говорите только для себя. Ведь вы говорите не как все...

— Позволь, что значит «говорить как все»? Что же, прикажешь нам говорить, как говорят в метро или поездах? Тогда и слушай, о чем болтают в метро. Страшно поучительно...

— А может быть, и в самом деле поучительно. Как знать... Может быть, и вам полезно было бы послушать... Вопрос ведь не в идеях. Фильм мне очень понравился. Я думала, что вы о фильме будете говорить, а вас сразу занесло в сторону...

— Но думали-то мы о фильме. В сущности, о фильме мы и говорили. Вот, к примеру, когда я думаю об этом парне, о том, что я почувствовал, когда узнал, что он уезжает в Советскую Россию, в моем представлении сразу встает «Потемкин». Ведь это, в конце концов, продолжение «Потемкина». Может быть, его отец или мать находились в одесской толпе в пятом году, а он сидит сейчас с нами в кафе, в Париже. Странное это ощущение, когда вдруг замечаешь, что История, История с большой буквы, существует не только в книгах, но и мы сами составляем ее частицу... Ты такая скрытная. Иной раз мне кажется, что я тебя так никогда и не разгадаю.

Он берет Камиллу под руку. Она продолжает молчать. Он привлекает ее к себе. Ему хотелось бы, чтобы она держалась менее отрешенно, но она идет рядом с ним так, как если бы шла одна. От мелких капель дождя стынет лицо.

— А ты меня любишь? — вдруг в упор спрашивает он.

Он знает, что спросил об этом не для того, чтобы получить ответ. Это просто вопрос-ловушка, вопрос-игра, он привык задавать ей такие вопросы, для того чтобы убедиться, что она существует, что она здесь. Чтобы увидеть, такая ли она неуловимая, какой он ее представляет себе, хочет себе представить. А что, если она возьмет и скажет «нет»? Не может быть, никто никогда не говорит «нет», раз уж такой вопрос задан.

— Какой же ты у меня глупый, миленький, — говорит она, — конечно, я тебя люблю. Ты сам знаешь, что люблю.

Он заговорил сдержанно, даже несколько отчужденно, словно обращался к самому себе:

— Я все усложняю, все порчу. Ты со мной несчастна. Это моя вина. Не отрицай, пожалуйста, я сам знаю.

— А что значит «счастлива»?

— Всем известно, что это значит. Я тебе надоел?

— Да нет же. Зачем ты так говоришь?

— Я вижу. Мне кажется, что нас интересуют разные вещи. Особенно когда мы не одни... Но в общем-то я сам ничего не знаю...

Они остановились перед входом в метро. Сквозь холодный дождь оттуда, снизу, до них доносится теплое, кисло-ватое дыхание туннелей, где с грохотом проносятся поезда; они начинают спускаться по блестящим от дождя ступенькам. Камилла открывает сумку и ищет билетную книжечку.

— Подожди,— говорит она.

Голос ее дрожит. Симон даже не удивился, заметив на ее глазах слезы. Нет, это не капли дождя. Никогда еще он не видел, как плачет Камилла. Никогда еще никто не плакал из-за него, и он не знает, что в таких случаях делается. Все прочитанное в книгах не может заменить живого опыта. Эти слезы ничем не напоминают те, что проливают в классических трагедиях. Эти слезы, венчающие десятки любовных драм в метро, когда чета, еще не уверенная в будущем, уже разлучена двойной полоской рельс. Когда остается лишь долгий прощальный взгляд с одной платформы на другую, когда колеса поезда вот-вот оборвут последнюю нить, не дав влюбленным времени утешить друг друга, не дав времени хотя бы оправдаться на словах. «Прощай, любовь моя, я ведь не нарочно, и ты не нарочно».

Люди сбегали вниз по лестнице, толкали их. Симон понял, что пропустит последний поезд метро, а затем и последний поезд на Сен-Реми. Но почему она плачет? Не из-за того же, что он ей сказал? Он ведь ничего не сказал. Просто пошутил. Говорил, чтобы говорить. Какие-то слова. У него в голове полно слов.

— Симон, послушай...

Вместо билетной книжечки она вынула из сумки белый носовой платок и вытерла слезы, даже не заметив, что вместе со слезами размазала по щекам грязную дождевую воду. Потом она несколько раз негромко высморкалась. «Так вот как плачут. И неправда, что слезы катятся словно жемчужины. Такова реальность. Но я устал от реального. Все это слишком трудно. Во всяком случае, для меня». Он сделал вид, что ничего не заметил.

— Ну ладно, не ищи. Сейчас купим новую книжечку. Не волнуйся ты из-за пустяков.

Она вскинула на него огромные, застланные слезами глаза и подняла брови.

Если сейчас она сделает хоть один шаг, он не остановит ее, даст ей уйти, и у него хватит сил никогда больше ее не видеть, и глаза эти, наполненные слезами, станут для него далеким воспоминанием юности, которое потоком времени тоже унесет вперемешку с другими. Но он машинально повторил:

— Это же глупо, не ищи, сейчас купим два билета.

— Да я не из-за билетов,— покачав головой, сказала Камилла.— И я вовсе не плачу.

— Нет, плачешь.

— Нет, не плачу. Во всяком случае, больше плакать не буду. Можешь не волноваться.

— Что ты хочешь этим сказать? Почему «можешь не волноваться»?

Ему бы следовало обнять ее. Назвать «любовь моя». Но он не пошевелился. И даже лицо сделал такое, какое бывает у человека, не верящего слезам. Вдруг она разрыдалась по-настоящему. Вытерла рукой в перчатке тяжелую слезу, сползавшую по щеке, мокрой от холодного дождя.

— Давай пойдем скорее,— произнесла она разбитым голосом,— а то пропустим последнее метро. Мне-то ничего, а вот тебе...

Симон не ответил, он даже не осмеливался глядеть на нее, как будто она стала героиней уличного происшествия. И вздохнул с облегчением, когда билетная книжечка наконец нашлась. Они бросились вниз, на платформу. Последний вагон последнего поезда увез их. Пассажиры, сложенные усталостью целой недели, дремали, подперев тяжелую голову рукой. Ничего нельзя было прочесть на этих лицах, на которые он смотрел невидящим взглядом. Он ничего не думал, и этой паузой воспользовалась реклама аперитива Дюбонне и непрошено вторглась в его сознание. Камилла повернулась лицом к окну. Возможно, в приступе горя она машинально считала желтые щиты: «Дюбо», «Дюбон», «Дюбонне». Перед ними мелькали серые, плохо освещенные своды, запасные пути, в вагон проникал через вентиляторы запах холодного погреба. Этот запах знаком Симону уже двадцать лет. Он ощутил его впервые ночью семнадцатого года, когда бомбили Париж и мать спустилась с ним в погреб. Сейчас он подумал, что это одно из самых ранних его воспоминаний и, значит, он помнит войну. Он смотрел на

мелькавшие станции с унылым безразличием, ожидая той, которая вынудит его принять решение. На станции «Шатле» придется решать. Вот и более ярко освещенная пересадочная станция, веселые блики заиграли на стальных стрелках. Автоматические двери бесшумно раскрылись, и в теплом воздухе, окутавшем их на перроне, запахло мокрой капустой с Центрального рынка, куда уже начали подвозить овощи. Вот она, последняя черта. Если он отведет взгляд, чтобы не видеть веки Камиллы, покрасневшие от слез, вся его жизнь пойдет иначе. Он сознавал это, и собственная власть над событиями изумляла его. Даже в этой щемящей тоске была своя усада — единственным жестом, единственным словом он в силах разрушить то, что может стать смыслом его жизни. Он открывал для себя свободу. Почему именно Камилла? Почему не другая?

Он открывал для себя необходимость.

Наступит день, и он забудет, какой именно он сделал жест, хотя жест этот выражал лишь то смутное, что бродило в нем в ту минуту, а ведь найдутся люди, которые потребуют, чтобы этому случайному поступку он подчинил все разумные решения, какие он будет принимать впредь! И с него еще спросится за этот поступок, совершенный безотчетно, вернее, потому, что в нем в разных дозах и в весьма противоречивой смеси живут порывистость его отца и покорность его матери. Прочитанные в шестнадцать лет книжки решили за него, что ему суждена великая любовь! Должно быть, его просто привлекало это колдовское сочетание слов «великая любовь», хотя он еще не знал, что оно означает, — любовь, которая длится до гроба, или безумную любовь на час, любовь счастливую или любовь несчастную.

Он коснулся руки Камиллы, потом ее локтя. И вот они уже шагают рядом, так ничего и не сказав друг другу, не к тому выходу, который ведет на пересадку, а к выходу из метро. Они идут, и рядом с ними идут пары, и тоже не произносят ни слова, потому что спать они лягут в одну постель. Они уже стали Симоном и Камиллой Борд. Она опирается на его руку спокойно, как жена.

Последний поезд метро ушел. Они медленно бредут по улице. Симон сказал:

— Я тебя люблю.

Она сказала:

— Я тебя люблю.

Через два часа его разбудил скрип тормозов грузовика

и он услышал голоса людей, которые пришли сюда поесть лукового супа и болтали, предвкушая пиршество.

— Спишь? Который час? — спросил он. Потом снова: — Я тебя люблю.

Она спала, уткнувшись в его плечо. Впервые гостиничный номер был для них не просто случайным прибежищем, а жильем. Они могли бы здесь просто переночевать, а не только провести ночь любви. Симон забылся сном, но сон его был неглубок. Его несло куда-то на гребне настоящей, очень темной ночи среди ночи посветлее, прозрачнее, и вдруг грудь ему сжал тоскливый страх, против которого он даже не боролся. Он знал, почему и откуда пришел этот страх. Это был прежний, давний страх перед Временем... Это оно само, Время, обручилось с ним тогда, когда он взял Камиллу за руку на платформе станции метро «Шатле» и они молчаливо, медленным шагом направились к выходу. Тогда решился вопрос не о каком-то мгновении жизни, а обо всем времени всей его жизни. Разве эта мысль не должна была наполнить его радостью? Эта мысль должна была наполнить его радостью, если верить тому, что говорят о великой любви. Но откуда же тогда эта мучительная тяжесть в груди? Это тяжесть Времени. Симону не хватало воздуха. Он взглянул на спящую Камиллу. «Не надо ее будить. Не надо ей ничего говорить. К чему? Теперь уж это мое дело». Он задыхался. «Неужели я боюсь? Чего я боюсь?» Когда они шли в гостиницу, оба обратили внимание на уродливых женщин, прогуливавшихся у Центрального рынка.

— Как по-твоему, — спросила его Камилла, — они зарабатывают себе на жизнь?

— Конечно, — ответил он, — это чудовищно, но это так.

На память ему пришла поговорка, гласящая, что, если женщине не удастся отдаться, она всегда может продаться. Банальность этих слов гипнотизировала его. И в довершение всего гостиница, давшая им приют, называлась «Три волхва». Почему «Три волхва»? Он прислушался к мерному дыханию Камиллы. «Когда-нибудь ты еще будешь с сожалением вспоминать те минуты, когда подымался с ней по лестнице гостиницы «Три волхва». И она предстанет перед тобой, как сама юность. Невозвратимая пора юности. Тебе будет пятьдесят лет. Ты пройдешь мимо и спросишь: «А где гостиница «Три волхва»? Не здесь?» — «О, сударь, ее уже давным-давно снесли. Разбили на ее месте садик.

Чтобы побольше было свежего воздуха. Для ребятишек...» Для ребятишек, которые родятся через двадцать лет. Как длинна жизнь! Тридцать лет назад твоему отцу исполнилось в Париже двадцать лет. Он любил кататься по Марне в лодке. Он пел «Сердце Нинон, милое сердечко!»

Из соседнего номера до Симона донеслись голоса. Он отодвинулся от Камиллы и прильнул ухом к стене. Мужской голос произнес:

— Надо же иметь такое имечко — Серафима! Не каждый день встречается...

Женский голос ответил:

— Это меня в приюте монахини так окрестили.

Мужской голос:

— Могли бы получше найти.

Женщина ответила, что очень уважает монахинь:

— Они для меня, знаешь, сколько добра сделали!

Мужчина ответил, что монахини своему делу преданы. Он тоже их уважает. Не то чтобы он в церковь ходил, но человек он верующий, люди без веры настоящие звери. Она называла его «волчоночек». Должно быть, это были не случайные знакомые. Симон почему-то решил, что мужчина торгует птицей на Центральном рынке. Сегодня для него праздничная ночь. Быть может, ради такой ночи он и торгует птицей. Симон услышал за перегородкой щелканье выключателя, потом стоны, которые показались ему какими-то странными и слишком уж затянувшимися. «Я ведь ничего не знаю о любви. Все это ужасно. И это называется «Три волхва»! «Три волхва»! И мы будем с сожалением вспоминать об этом. «Три волхва»... Он резко отодвинулся от стены. Через тоненькие занавески проник яркий белый луч. Он узнал характерный лязг поливочных машин, который был для него подлинным шумом Парижа, уже наполовину забытым после переезда в Сен-Реми. Потом с грохотом рухнула целая лавина ящиков и корзин. Тот запах, который он почувствовал на станции «Шатле», заполнил весь номер, став в этот предрассветный час острее, став запахом деревни, каким он, в сущности, и был. Те двое за стеной снова начали болтать. Кто эти люди, этот Париж, которого он так никогда и не узнает? Да и к чему? Он и без этого обойдется. Настанет день, когда он будет объяснять своим ученикам строчку Аполлинера: «Ее он вывез из борделя, когда прощался навсегда с Формозой». А ученики только того и ждут, чтобы

засыпать его своими идиотскими вопросами: «А вы, господин учитель, были в борделе?» Я им скажу: «Нет ни одной застойной песни, написанной пьяницей».

Его левая рука лежала на животе Камиллы. Лежала нежная и тяжелая, как лапа уснувшей кошки... «Я продолжу урок: «Многих людей я знал, недостойных своей судьбы, несчастных, как мертвые листья, глаза у них тлели, словно угля, сердце дрожало, как дверь на петлях».

Но с ним так не будет. Сердце его не будет дрожать. Он сам удивился тому покою, который пришел на смену страху и тоске. Если бы только эта ночь могла быть первой в череде тысячи схожих с нею ночей...

В его мозгу складывался новый образ, образ многих тысяч ночей, проведенных вот так, возле Камиллы. Он тут же начал в уме подсчитывать: «Скажем, примерно сорок лет... Десять лет — это будет три тысячи шестьсот пятьдесят ночей, четырежды ноль, — четырежды двадцать пять, два в уме... четырежды шесть — двадцать четыре и два, это двадцать шесть, пишу шесть, два в уме, четырежды три — двенадцать и два — четырнадцать: четырнадцать тысяч шестьсот ночей, скажем, пятнадцать тысяч или чуть больше». И страх снова сжал его грудь. Он понял, что между этой ночью, которая кончалась сейчас, здесь, рядом с Камиллой, и их последней ночью — через сорок, через пятьдесят лет будет отныне лишь одно Время. Еще вчера вечером Время текло при Камилле слишком быстро и слишком замедляло ход вдали от нее, оно то рвалось вперед, как поток, то растекалось мутной лужей, но все-таки текло... Это было живое, сулившее что угодно время. А сейчас...

Он наклонился над Камиллой и поцеловал ее полуоткрытые губы. Ему так хотелось сказать ей что-нибудь милое. Он шепнул:

— Ну, хорошо спалось тебе, котенок?

Она сказала, что ей снился сон, только она не помнит какой. А он проснулся уже давно, что он делал, лежа в темноте с открытыми глазами? Считал! Да, да, считал...

— Ты можешь представить себе пятнадцать тысяч ночей? Не боишься?

— Чего?

Она приподнялась на постели, натянув на плечи конец грубой гостиничной простыни, пригладила волосы. В потемках лицо ее казалось незнакомым.

— Не боишься, что... что это будет слишком долго?

— Зачем ты так говоришь? Я об этом не думаю. А если и думаю, то, наоборот, ничуть не боюсь. А ты боишься... боишься всех этих ночей со мной?

— Вовсе не тебя я боюсь,— нежно сказал он,— а боюсь себя. Каким я буду через десять тысяч ночей? Не знаю. Одно бесспорно, не таким, как сейчас. Так не бывает.

— Ты несчастлив?

— Да нет же, счастлив.

Он берет ее в объятия и прижимает к себе. Ему так хочется, чтобы она поняла, что в ней — и начало и конец всего. Что с нею он победит время и смерть.

Натянув одеяло на голову и лежа рядом с Камиллой, в этом искусственном полумраке, он начал говорить, про-износил какие-то ничего не значащие для посторонних слова, черпая их из тайного словаря влюбленных, который выработался у них за полгода. Чистота этих слов восхищала обоих. Камилла, слушая их, всегда мечтала о безукоризненно прекрасных движениях, о кружевах, о бабочках, порхающих в солнечном луче. Теперь они лежали рядом не шевелясь, как две фигуры каменного надгробия в фамильном склепе, где покоятся верные супруги.

— Что это с тобой было? — спросила она.

— Да ничего. Какое-то чувство страха. Чисто физическое. Просто от нехватки воздуха. Может, во сне. Иногда я даже кричу во сне. А главное — всегда один и тот же сон. Что-то меня душит. Самое обычное сновидение. Всем или почти всем это снится.

— Я не замечала, чтобы ты кричал.

— И не могла заметить. Ведь это первая наша с тобой ночь. Еще заметишь, не беспокойся...

Она сказала, что любит его.

Он сказал:

— Люблю тебя.

Он попытался вложить в эти слова все, что знал и представлял о любви, все, что он навыдумывал с того дня, когда впервые услышал слово «любовь». Он повторял: «Люблю тебя, люблю», стараясь, чтобы слова эти вобрали в себя все воспоминания о Камилле, ее жесты, цвет ее платья, угол улицы, браслетку, которую он ей купил и которая была его первым подарком женщине и единственным подарком Камилле.

— Знаешь,— наконец произнес он,— я считаю, что очень, очень хорошо, что как раз вчера мы решили... то, что

мы решили. Позже мы будем говорить: это было в вечер «Потемкина».

Она ответила не сразу, но потом сказала каким-то необычайно серьезным тоном, — во всяком случае, ей хотелось, чтобы ее слова прозвучали торжественно:

— Если бы ты меня не удержал, у меня хватило бы духу уйти от тебя навсегда. Да, да. Я должна тебе это сказать.

Он пробормотал что-то: попросил у нее прощения. Но теперь он был уже по ту сторону прежней жизни. Страх ушел. Симон видел, как он уходит — так уходит море, местами быстрее, местами медленнее, обнажая глубины невиданного цвета, а главное — совсем не такие, какие ты ожидал увидеть. Но через минуту все уже блещет, все отмыто, все — сплошное солнце.

— О чем ты думаешь? — спросила она.

— Ни о чем.

Это неправда, что он ни о чем не думает. Но они еще слишком чужие друг другу, слишком мало было у них ночей и дней, чтобы он отважился показаться в ее глазах смешным и рассказать ей, о чем он думает, ибо он все еще верит, что все великие чувства смешны.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1939

УЧЕНИЕ

Вторая рота первого батальона нехотя шагала по ровной дороге, будто с умыслом медлила перед крутым подъемом, когда придется напирать мускулы, оттягивая ремень винтовки, от которого ноет плечо. Кто-то в первом ряду затыкнул:

— «Она любит смеяться, и пить она любит, и петь она любит, как мы».

— Стараются, фанатики! — заметил Прево, нарочно погромче, чтобы слышали соседи.

— Это и есть красивая война, — сказал Симон, — истинно французская, черт ее побери!

Когда рядом шел Прево, у Симона всегда становилось веселее на душе. Присутствие Прево вносило светлый луч в тусклый колорит армейского существования. Несколько дней Симон все пытался вспомнить, где он уже видел это лицо, почти неузнаваемое под каской времен первой мировой войны. Оказалось, что это тот самый рыжий парень, который выступал на просмотре «Броненосца «Потемкин». Симон с облегчением почувствовал, что теперь этот бретонский город и взвод, в нем пребывающий, перестали быть чем-то отвлеченным, неведомым. Прево сразу

восстановил связь с реальной жизнью, с тем, что было реальной жизнью Симона до того сентябрьского утра 1939 года, когда снова пришлось надеть шинель небесно-голубого цвета, удивительно напоминавшую военную форму, которую носил еще его отец в 1917 году, так что порою трудно было даже понять, кто ты, к какому поколению принадлежишь, для какой войны предназначен. «Конечно,— сказал он Прево,— я прекрасно помню вечер, когда показывали «Потемкина». У меня есть на то особые причины, а впрочем, даже если бы их и не было, трудно забыть день, когда впервые увидел «Потемкина». И все-таки, говоря по правде, если бы не твоя шевелюра, ни за что бы тебя не вспомнил. Ты так и остался у меня в памяти как рыжий парень, который нам показывал «Потемкина».

Прево четыре года проучился в одном из провинциальных университетов и жил на стипендию. Если бы не рыжие волосы, выделявшие его среди всех, он был бы для Симона одним из многих солдат взвода, в которых — несмотря на неуклюжую шинель и классическую каску, увековеченную на десятках монументов жертвам мировой войны,— нельзя было не признать парижских студентов, каких он сотни раз видел где-нибудь на террасе кафе Латинского квартала или склоненными над курсовой работой за столом в Сорбонне.

Прево утверждал, что небесно-голубая шинель, которую на него напялил каптер, вряд ли руководствовавшийся при этом дружескими чувствами — поскольку большинство солдат взвода получили шинели желто-песочного цвета,— не была обыкновенной шинелью, хранившейся в нафталине со времен оккупации Рура... Нет уж, она наверняка принадлежала какому-то солдату, погибшему под Верденом. «Кровь они отмыли специальным составом, чтобы казенное добро зря не пропадало,— пояснил Прево.— Они люди оборотистые, все предусмотрели. Так что гляди на меня во все глаза: а вдруг это старье прямо с плеч «неизвестного солдата»! Шинелька-то на мне, а обмотки там, под Триумфальной аркой. В общем, они его, беднягу, надули. Шинель припрятали, а личный знак выбросили...»

И в самом деле, во взводе, состоявшем из курсантов, обучавшихся в школе командного состава, все были выражены так, что по вечерам, когда они возвращались в казарму, окутанные пеленой ноябрьского тумана, какой-нибудь участник войны 1914—1918 годов вполне мог бы

счесть себя жертвой галлюцинации и увидеть воочию призрак «своей» войны. Галстуки, аккуратно смазанные грубые башмаки, винтовки Лебеля, каски — все говорило о том, что история повторяется вплоть до мелочей.

— А песня неплохая! — вдруг вспомнил Прево. И тихо замурлыкал: — «Она любит смеяться, и пить она любит, и петь она любит, как мы».

— А все-таки это черт знает что, — сказал Симон. — Мой отец тоже, прежде чем его отправили на фронт, месяца четыре валандался в тылу с такой вот пушкой и с котелком... Это становится дурной привычкой. Входит в жизнь...

— Благородная военная традиция, — усмехнулся Прево. — Может, и дедушка тоже?

— Представь, ты угадал! Дед мой попал в плен под Седаном. Заслужил медаль участника сухопутных и морских кампаний — она у нас висела в рамке.

— Одна война проиграна, другая выиграна, а теперь будет самая-рассамая решающая...

Песня заглушала их голоса, залихватский ее напев вился над серой колонной, растянувшейся вдоль дороги, как призрак войны, сотканной из кружев, любви, молодечества и хмельного вина. Симон на минуту остановился и стал возиться с обмотками, стараясь стянуть их потуже. Сзади уже кричали:

— Эй, там, впереди! Давай двигайся! Да чего на него глядеть! Шагай, да и все!

— Послушай, Симон, устроимся где-нибудь в сторонке. Надо поговорить, — сказал Прево, понижая голос.

Колонна начала подъем, направляясь к пустынному плато. Там, на плато, в терновнике, они вырыли за последнюю неделю несколько рядов траншей, ходов сообщения, окопчиков для ручных пулеметов. Свежевскопанная земля, туман, дымок от холостых патронов — все это создавало пейзаж, неотличимый от картинок, которые можно увидеть на пожелтевших страницах «Мируар» или «Иллюстрасьон».

«Фанатики», шедшие во главе колонны, в упоении орали:

«Взбирайся, лодырь, на горку, не спи, раз-два-три!»

Младший лейтенант, шагавший справа от взвода с сигаретой в зубах, являл собою олимпийское безразличие. Он вызывал у подчиненных противоречивые чувства: с одной

стороны, конечно, многие хотели бы шагать вот так, без мешка, без винтовки, быть свободными, как ветер, а с другой стороны, его-то уж наверняка не минует весеннее наступление. Симон тяжело переставлял ноги. Как глупо таскать этот котелок, который никогда ему не пригодится, но над которым он трудился каждое утро с пяти до пяти тридцати, надраивая его до блеска. Как больно бьет по спине тяжелый вещевой мешок! Он вспотел.

— Ну и свинство! А? — сказал он.

— Что свинство? — спросил Прево.

— Это дурацкое снаряжение...

— Быть может, оно не так уж и плохо, — заметил Прево. — Если когда-нибудь придется и в самом деле пробираться ползком... Сам знаешь, чем кончают армии, привыкшие к комфорту...

— И то верно.

Симон вспомнил воинскую часть, прибывшую из Англии и стоявшую лагерем неподалеку от плато, — по словам англичан, они направлялись в Ле-Ман. Ото всех несло лавандой и трубочным табаком. С иголки, буквально с иголки! Безукоризненные складки на брюках. Ну а война? А если война начнется по-настоящему? На войне ведь надо воевать, пока еще другого способа не изобрели. И война протекает так, как описано у Барбюса, а не иначе. Придется привыкнуть шагать по трупам, использовать их как укрытие. Симон никогда не видел трупов, если не считать покойника деда, лежавшего на смертном одре в Бейсаке, с лицом, накрытым кисеей. Это было летом. А если труп юноши, которого убили рядом с тобой?! Если кровь?! Что ты тогда скажешь?..

Ужаснее всего было то, что свои представления о войне, которую им суждено вести и в которой они, вероятно, погибнут, если потери среди младшего командного состава пехоты останутся на уровне 1914—1918 годов, иными словами, если вернется только один из четверых, — эти представления они могли черпать лишь из устных и письменных свидетельств предыдущего поколения, которое они так плохо знали и не слишком уважали. Они готовили себя к тому, что придется сидеть в траншеях, ползти по подземным ходам, привыкать к крысам, проволочным заграждениям, вязнуть в грязи. Но они не знали Парижа девятидесятых годов. Они не слышали Жореса, выступавшего в Пре-Сен-Жерве. А их убеждали, что война будет такой же,

какую вели их отцы двадцать лет назад. Такой же, как и та, против которой Морне протестовал, не вылезая из ночных туфель.

— А нам в этом анахронизме подышать! — сказал Симон, обращаясь к Прево в тот вечер, когда им удалось устроиться на соседних койках.

Но все это были слова, действительность выглядела куда сложнее.

— Мы ведь совсем еще не знаем, что будет представлять собою эта война, не знаем ни с технической, ни с политической точки зрения, — сказал Прево. — История — она не повторяется.

Много ли здесь было таких, кого волновали подобные вопросы? Прево утверждал, что он достаточно ясно представляет себе состояние умов своих товарищей по взводу. Он считал, что ими владеет тревога, что они сомневаются в справедливости этой войны.

— Но если они и сомневаются, — заметил Симон, — то отнюдь не из лучших побуждений. Их сомнения на руку реакции. Они не против войны, их просто не устраивает война против фашизма.

По правде говоря, он не был уверен, что именно таково было состояние умов. Никто не говорил о войне. Существовал как бы молчаливый уговор избегать в беседах всего, что могло выдать политические убеждения. Ноябрьский туман пропитал собою все. Город стоял холодный, отрезанный словно каменным занавесом от мира. В пять часов пополудни взвод разбредался по мертвым улицам. Рассаживались за мраморными столиками и заказывали по стаканчику перно. Так сидели час, два часа среди привычных ароматов аниса и табака и привычного стука миллиардных шаров. Резкий переход от холодной изморози плато к теплу алкоголя ввергал их в какое-то оцепенение. Говорили мало. Некоторым удалось познакомиться с местными девушками — продавщицами, машинистками. Рассказы на эту тему сопровождались смехом, наивной фанберией. Менее удачливые не умели скрыть зависти. Мечтали об алькове, о любви. Для многих, кому уже исполнилось двадцать четыре — двадцать пять и кто до сих пор пользовался отсрочкой от военной службы, любовь была связана с определенным именем, с воспоминаниями. Лишь немногие, в том числе Симон Борд, успели обзавестись семьей. Супружество выделяло их в особую катего-

рию — они ближе всего подходили к образу солдата, который утвердился в газетах: ведь газеты любили толковать об отцах семейства и о традиционно волнующих сценах, происходящих в момент отбытия солдат на Восточном вокзале. Женатые не пели с тем же увлечением, как все прочие: «Она любит смеяться, и пить она любит...»

Семейная жизнь состарила их. Не для них было это наигранно-развязное отношение к войне, эта бравада. В одну из суббот к Симону приехала Камилла. Ему казалось, что с этой ночи у них началась иная любовь. До сих пор он любил ее в мирном мире; впереди, казалось, были тысячи ночей, которые он насчитал тогда ночью в гостинице «Три волхва», после показа «Потемкина». А в эту субботу он обнимал ее с какой-то безнадежностью, словно прощался с нею навсегда. Сидя в комнатке провинциальной гостиницы, пропахшей кретоном и воском, он старался представить себе то мгновение, когда расстанется с ней — и, быть может, навсегда — на каком-нибудь вокзальном перроне. Нет! Не все могли петь с одинаковым увлечением: «Она любит смеяться, и пить она любит...»

Воспоминание об этой ночи, исполненной нежности, раздирало Симону сердце. Эта ночь затмила все прежние — даже ту, которую они с Камиллой привыкли называть «ночью «Потемкина», и та начала казаться ему совсем далекой, просто наивной. Раза два он поймал себя на мысли: «Это было в те времена, когда я еще не существовал».

Рота сделала остановку на плато среди терновника, за ветви которого цеплялись проплывавшие над самой землей клочья тумана.

— Попробуем занять вместе окопчик для ручного пулемета, — сказал Прево.

Ручной пулемет — это говорилось больше для красного слова, зато вполне реальными были лопата и окопчик, который полагалось вырыть по всем правилам. Прево вызвался первым, и никто не стал оспаривать у него этой чести. Разбившись на группы, спрятав руки под полы шинели, все слушали объяснения капитана. Это был маленький круглый человечек в ополченском мундире, на котором красовались знаки Почетного легиона и креста «За боевые заслуги», если только могут красоваться выцветшие и покрытые пятнами орденские ленточки. Симон не мог отвести от них глаз. Двадцать лет назад человечек в пенсне,

подрагивавшем на носу, с глазами, слезившимися на утреннем холодке, был молодым учителем, фронтовиком, шел на приступ Шмен-де-Дам, размахивал пистолетом. Социалист? Очень может быть! С тех пор ему, должно быть, не раз случалось читать дрожащим голосом слушателям подготовительных курсов: «Счастливы те, кто сложил голову в справедливой войне, благословенны созревшие колосья и сжатые хлеба». А впрочем, он вправе говорить о войне все, что ему вздумается. Это право давали две ленточки на его егерском френче. Нет, прямо-таки удивительно до чего он не похож на классическую фигуру воина! Заикаясь, путаясь в словах, он излагал им очередное задание и, прежде чем коснуться указкой полевой карты, долго вглядывался в записи, сделанные на клочке бумаги, который он подносил к глазам, чтобы незаметно смахнуть слезу с покрасневшей от холода щеки. Вторая рота займет высоту 117, обороняемую хорошо окопавшимся противником. Наступлению будет предшествовать артиллерийская подготовка, оно будет поддержано авиацией и танками.

— А почему не эскадрой? — вполголоса спросил Симон.

— Не умничайте слишком, Борд! — крикнул младший лейтенант.

Зато отнюдь не были плодом фантазии ни окопы, ни эти солдаты, ни та ферма, где инструкторов уже ждала еда, приготовленная заранее посланными людьми. Каждому было выдано по три холостых патрона.

— В упор этим можно убить, — сказал лейтенант, — поэтому валять дурака не советую... Перекур!

Все не спеша разошлись к своим позициям, держа винтовку на ремне. Туман еще усиливал сходство этих нечетких силуэтов со взводом той войны, пришедшим сменить передовую часть.

— Только бород не хватает, — сказал Симон.

— Тебя положительно преследует образ «пуалю» четырнадцатого года, — усмехнулся Прево. — А я тебе опять скажу, что история не повторяется. Разве что как фарс. Сейчас разыгрывается фарс, но когда дойдет до дела, все будет происходить совсем не так, как мы воображаем, совсем не так, как мы читали в книгах...

— А ты действительно думаешь, что дойдет до дела... ну, скажем, весной?

— Весной или позже. На западе или на востоке.

— Ты думаешь, на востоке?

Прево, который шел впереди, пожал плечами и бросил окурок в заросли терновника.

— Надеюсь, что нет. Но в конце-то концов, не думаешь же ты, что Гитлер стал другом Советского Союза?

— Однако пакт-то ведь существует,— сказал Симон.

Он не признался Прево, что в иные дни ему хотелось, чтобы пакт был расторгнут — так было бы проще и снова бы восстановлен тот образ мира, который создал себе Симон, когда складывались его убеждения.

— Насчет пакта мы еще поговорим, если тебя это интересует,— сказал Прево.— Я, во всяком случае, не прочь поговорить об этом. Никаких тут особых загадок нет.

Они были одни среди безлюдных ланд. Лишь вдали, на гребне холма, который полагалось взять «противнику», смутно виднелась приземистая фигура капитана, направлявшегося в сопровождении лейтенанта к расположенной в низине ферме.

— Эти времени не теряют,— заметил Прево.— Уже решились перекусить! Ну и армия...

— А ты хочешь, чтобы они все это принимали всерьез?

— А почему бы и нет? — не без задора сказал Прево.— Тебе прекрасно известны мои взгляды на этот счет... я имею в виду — насчет войны. Но этот фарс мне противен. Ну, хватит. Давай копать.

— Ты представляешь себе план?

— Какой план?

— Размеры окопчика?.. Положенные размеры?

— На кой дьявол они тебе нужны? Главное — чтобы твой пулемет был как следует замаскирован и мог вести огонь. При условии, конечно, что у тебя есть пулемет...

— А я все же считаю, что нужно держаться размеров, указанных в руководстве,— сконфуженно возразил Симон.— Тебя трудно понять: упрекаешь людей за то, что они недостаточно серьезно все это воспринимают, а сам...

С первого дня пребывания во взводе Симон решил скрупулезно выполнять все правила и инструкции. Военные операции, описанные в руководстве, мало-помалу превратились для него в некие магические формулы, которые могут утратить всю свою силу, если отступить от правил хотя бы на йоту. Конечно, он не раз думал о том, что в настоящем бою вряд ли придут на ум параграфы устава, но

здесь, в этом условном мирке, где ручной пулемет изображала обыкновенная винтовка, а вместо танка стоял солдат, Симон не мог без трепета думать о малейшем нарушении правил игры. Сколько раз он, бывало, застывал на месте и, несмотря на все насмешки и хихиканья лейтенанта, не мог вспомнить, как надо отдать команду: то ли «Стрелки, вперед! Стройся!», то ли «Стрелки, стройся! Вперед!» Хотя на передовой он, наверно, крикнул бы как раз то, что кричат в тех случаях, когда солдат надо бросить в бой. Некоторые технические моменты, как, например, точное согласование бросков пехоты с ритмом стрельбы приданной ей артиллерии, восхищали его, и временами он испытывал в душе преклонение перед офицерским ремеслом. Он не только пришел к убеждению, что существует особая наука пехотного боя, но радовался своему открытию, как будто оно могло оградить его от грозных случайностей войны. Не потому ли он так держался за букву уставных положений, что подсознательно ему хотелось превратить поле боя в шахматную доску? Тогда будет не так страшно. Симон старался убедить себя, что со временем обязанности кадрового офицера и заботы о точном выполнении инструкций вытеснят из его души все прочие чувства, в том числе и чувство страха.

— Ты не понимаешь,— наставительным тоном продолжал Прево (это был не тон беседы, а скорее тон докладчика на вечере, посвященном «Потемкину»),— ты не понимаешь вот чего: именно потому, что я принимаю наше учение всерьез, я и плюю на уставные предписания. Важно научиться рыть яму. Вот что важно. Понадобится когда-нибудь... И не ради выполнения уставов или завоевания благосклонности нашего младшего лейтенанта...

— Ты уж прямо скажи, что считаешь меня солдафоном и фанатиком. А ведь сам ты, если хочешь знать, просто любишь все это...

— То есть что я люблю?

— Войну,— ответил Симон, заранее предвкушая эффект, который произведут его слова.— В сущности, ты любишь войну. Война тебя интересует...

— Я не люблю войну!— ответил Прево с какой-то даже торжественностью в голосе.— Но если надо будет воевать, лучше уж научиться заранее.

Они легли на мягкую землю, чуть отдававшую гниловатым запахом презимья, и принялись рыть свой окопчик.

— А почему, в сущности, нельзя рыть, стоя на коленях? — спросил Симон. — Тебе не кажется, что это уж слишком... ползать вот так на брюхе!

— Нет, — сказал Прево, — одно из двух: либо мы плюем на их науку и вообще не собираемся ничего копать, либо, если уж копаем, так пусть это будет предельно приближено к условиям войны. Значит, надо копать лежа на животе! Еще неизвестно: может быть, наша сегодняшняя возня когда-нибудь спасет тебе шкуру.

— Словом, мы с тобой идеальные солдаты, — заметил Симон.

Оба вспотели. Воротник шинели то и дело упирался сзади в каску, и она сползала на глаза. Глупее трудно придумать!

— Хорошо еще, что существует на свете запах земли.

— Что? — переспросил Прево.

— Тебе этого не понять, — сказал Симон. — Земля... Ты ведь городской...

— А ты будто нет?

— И да и нет. Я из пригорода. Я вырос в пригородном саду, и здесь тоже пахнет пригородным садом, взрыленной землей, когда осенью сжигают опавшие листья.

Он рассмеялся.

— Это я так, мечтаю в отличие от тебя... Ты не мечтатель. Ты не для этого создан.

Прево приподнялся с земли и, опершись обеими руками о лопату, посасывал сырую, чуть тлевшую солдатскую сигарету. Вдруг он отодвинулся и, не опуская лопату, подпер щеку правой рукой. Сползшая на бок каска приоткрыла рыжую шевелюру.

— Ошибаешься, — сказал он, — ошибаешься, и я даже могу сказать тебе, откуда твоя ошибка: ты полагаешь, что коммунисты не могут мечтать. Признайся, что именно так ты думаешь!

И после минутного колебания он вновь заговорил своим обычным тоном, каким, наверно, говорил, выступая с трибуны, когда хотел убедить слушателей и что-то им разъяснить.

— Я хочу, — продолжал он, — чтобы ты мне ответил на один вопрос, если, конечно, хочешь ответить... Почему ты, так близко стоящий к партии человек, до сих пор не вступил в партию? Случая, что ли, не было?

— Ах, вот оно что! — промолвил Симон. — Я, кстати

сказать, вовсе не считаю твой вопрос щекотливым, но... все это так сложно...

— Вполне представляю себе. Конечно, сложно. Да и не может быть просто для такого человека, как ты.

— Тебе кажется, что я не способен смотреть на вещи просто?

— Нет, я вовсе не это думал. Говоря «такой человек, как ты», я лишь имел в виду, что и ты и я — мы оба интеллигенты. А для интеллигента вопрос стоит иначе, чем для рабочего. Рабочего побуждают к вступлению в партию классовые соображения, а для нас это... я не очень люблю подобные термины, и все же это означает... переменить веру. Вот почему это и не может быть просто. Я не упрекаю тебя. Твои колебания лучше, чем парадная решимость тех интеллигентов, которые вступают в партию, что называется, не долго думая, а затем при первой же трудности выдыхаются и нет их. Но ведь ты другое дело!.. Ты был очень близок к нам... Еще когда мы показывали «Потемкина»...

— А я и теперь не отошел,— сказал Симон.— Но... как-никак...

— Ты имеешь в виду пакт? — спросил Прево.

Он кивнул головой с видом человека, который все понял и уверен, что сделал правильный вывод.

— Нет,— поспешил ответить Симон,— отнюдь! Конечно, в первую минуту я испытал нечто вроде шока. Но только в первую минуту. Заметь, что ваши газеты в те дни были закрыты и мне не с кем было даже словом перекинуться. И тем не менее я был способен понять политические причины этого шага, хотя, конечно, предпочел бы, чтобы события развивались по-иному. Все-таки легче, когда нет разлада между головой и сердцем.

Он взял комок рыхлой земли и стал перетирать его между пальцами.

— В общем,— сказал Симон неуверенным голосом,— ты полагаешь, что это действительно было необходимо?

— Неизбежно,— ответил Прево.— Это единственное, что можно было сделать, чтобы выиграть время.

— Значит, ты считаешь, что это нужно было только для того, чтобы выиграть время?

— А по-твоему как? Неужели ты всерьез можешь думать, что Гитлер станет до бесконечности мириться с существованием СССР?

— Нет, само собой, нет.

Сказав это, Симон в который раз почувствовал, как страстно он хочет, чтобы наконец наступил момент, когда все станет на свои места: с одной стороны — красное знамя, с другой — гитлеровский флаг, с одной стороны — благо, с другой — зло. Так он думал, хотя одновременно пытался убедить себя, что не бывает совершенно ясных исторических ситуаций, ибо под этой «ясностью» может иной раз скрываться величайшая путаница.

— Конечно нет,— повторил Симон.— Но вот поди же... Всегда хочется, чтобы все было просто, кристально ясно... Понимаешь?.. Как на «Потемкине»! Когда существует только «да» или «нет». Когда с одной стороны — благо, а с другой — зло...

— Но,— сказал Прево, пощелкивая затвором винтовки,— и на «Потемкине» тоже не так уж все было просто. Если же ты пришел к иному убеждению, то виноват я... Я, значит, тогда перемудрил в своей проповеди... Как раз на «Потемкине» ситуация была чрезвычайно сложная. Восстание ведь было плохо подготовлено, особенно в Одессе, и город не поддержал по-настоящему восставших... Почему ты улыбаешься?

— Вспомнил то время и себя, каким я тогда был,— сказал Симон. Свои взгляды.— Голос его дрогнул, в нем слышалась печаль.— Во мне было чертовски много романтики, даже романтизма, если хочешь. Будущее представлялось мне в виде огромного «Потемкина». Вот ведь как!

— Возможно, ты не так уж и ошибался. Посмотри, как далеко зашло дело.

— Это игра.

— Сегодня, быть может, игра, но через два или три месяца...

Прево взял на мушку невидимого и предполагаемого врага, который готовился противостоять атаке на его опорный пункт — высоту 117.

— А ты все-таки не ответил на мой вопрос...

— Насчет того... почему я не вступил?

— Да. Но только если не хочешь говорить об этом, не заставляй себя. Можно ведь потолковать и в другой раз...

Симон сделал жест, который как раз и означал: не сейчас.

— Я уже сказал тебе... Это очень сложно. В двух словах не объяснишь. Во всяком случае, могу еще раз повто-

рить, что сегодня я не дальше от вас, чем прежде. Нет. Быть может, даже ближе. Хотя бы потому, что вас преследуют.

Он заметил на стволе винтовки маленькое ржавое пятнышко и стал выцарапывать его ногтем, удивляясь про себя, как он мог допустить такой беспорядок.

Туман рассеялся, и день сразу стал чудесным осенним днем, сулящим первые радости охотнику. Голоса людей, скрытых в зарослях терновника, в складках местности, доносились сюда, как мирное журчание ручейка. «Противник», несмотря на действительно искусную маскировку, выдавал свое присутствие голубыми дымками сигарет. Стая ворон с карканьем пронеслась над полем битвы. Им-то пути не были заказаны! Прево поправил каску на своих рыжих волосах, отложил в сторону винтовку, взял сигарету, затем протянул Симону пачку.

— Прости...

Он тихонько кашлянул, почувствовав раздраженной глоткой едкий вкус бумаги.

—...а если бы ты вступил, ты бы... ты бы остался сейчас? И сейчас бы остался?

— Вне всякого сомнения. Я скажу тебе одну вещь, которая может показаться смешной — да, наверно, это и в самом деле смешно, но если бы даже я был не согласен, я все равно остался бы... Это вопрос чести. Слово это может показаться тебе слишком пышным. Но это верное слово. Пусть даже это мораль клана. Я не мог бы уйти в такой момент.

Прево недовольно скривил лицо.

— Ничего смешного в этом не вижу. И не понимаю, почему ты называешь это «моралью клана». Слишком уж все вы боитесь высоких чувств! — Он немного помедлил. — При всем том лучше, конечно, было бы руководствоваться другими мотивами. Мотивами политическими...

Симону показалось, что Прево снова взял наставительный тон.

— С моей точки зрения, политических мотивов достаточно, но я понимаю, что это не всегда легко. Пакт будет понят позднее. Все лето шла невообразимая политическая игра. Русские видели, что французское правительство не желает настоящего военного союза, и поняли, что могут остаться один на один с Гитлером и что Гитлер нападет на них. Нужно было выиграть время, чтобы подготовиться.

— Но ведь идет война,— сказал Симон.— И ты не в состоянии помешать французам думать, что война разразилась именно из-за этого. То есть... из-за нас.

— Возможно. Но что поделаешь? Они поймут позже.

— Так или иначе, но есть еще один вопрос: война, та война, которую мы ведем... нужно ли действительно вести ее? Стоит ли отдавать жизнь в этой войне?

Прево поднял брови.

— Сегодня это чисто абстрактный вопрос.

— Пусть так,— сказал Симон,— но через два месяца...

Пришел приказ сделать бросок на тридцать метров. Во исполнение приказа Борд и Прево перебрались в кювет, хотя оттуда вести огонь из их воображаемого пулемета было бы просто невозможно. Перебегали они по всем правилам, то есть согнувшись в три погибели. Первая рота, располагавшая настоящим пулеметом, дала залп, сразу создав иллюзию боя. Симон едва успел подумать о том, как это солдаты могут пробежать тридцать метров под огнем, бросаясь буквально навстречу смерти. Ему пришлось поспешить с разгадкой этой тайны. Справа от него какие-то парни, стараясь воссоздать обстановку реального боя, примкнули к винтовкам штыки. Их учили этому, готовя к атаке, но колоть не научили. Странная стыдливость! «В четырнадцатом году,— рассказывал отец Симона,— нас учили штыковому бою. Учили ставить ногу на тело проколотого штыком врага и выдергивать штык». Симон не спросил отца, приходилось ли ему самому колоть штыком.

У края кювета возникла фигура младшего лейтенанта.

— Господин лейтенант,— сказал Симон,— отсюда нельзя стрелять.

— Послушайте, Борд,— сказал младший лейтенант,— сколько раз я вам уже говорил, чтобы вы не умничали.

— Хорошо, господин лейтенант. Но по какой цели мы будем вести огонь?

— По самолету,— сказал младший лейтенант не без издевки в голосе.

И, пыхнув сигаретой, ушел.

Кювет был сырой и холодный.

— Летом,— заметил Симон,— здесь должны водиться лягушки.

Он вспомнил, как мальчишкой ловил лягушек в Бей-саке. Со всего размаха безжалостно швырял свою жертву о камень, а потом распарывал ей брюшко кухонным

ножом. «Сейчас,— подумал Симон,— я вряд ли стал бы так делать...» А ведь его учат воевать!

Они поудобнее устроились в кювете, упершись подошвами в рыхлую землю. В этом облачении, уцелевшем от той, уже давней войны, в касках набекрень, в шинели с подоткнутыми полами, с винтовкой на сгибе руки, с сигаретами в зубах, плохо выбритые, под серым пологом неба, с которого сползал туман, застывая окрестность, они вновь стали на несколько мгновений до странности похожи на своих отцов.

— Одним словом, «Верден, или Призраки прошлого»,— заметил Симон.

— Напрасно ты шутишь,— сказал Прево.— Веселого мало. Посмотрим, что ты запоешь весной...

— Так ты в самом деле считаешь...

— Да.

— А я временами вовсе об этом не думаю,— сказал Симон.— В сущности, я и думал-то об этом всерьез всего несколько недель: в конце августа и в начале сентября.

— И что же ты думал?

— То, что обычно думают в таких случаях.— Он бросил сигарету и спрятал руки под полы шинели.— Впрочем, это были не очень ясные мысли. Скорее страхи. Так бывает, когда годами ждешь, что на тебя обрушится беда, ждешь и все-таки не веришь. Вдруг беда приходит, она уже тут, а ты все твердишь, что этого быть не может. У нас был учитель-историк, мрачный старикашка, так он нам говорил: «После войны лет двадцать чувствуешь отвлечение, а потом все начинается сначала». Когда началась война, я подумал, что старикашка ошибся всего лишь на год. Я был просто потрясен тем, как по-идиотски устроен мир... Я смотрел на свою жену, и слова «вдова солдата» приобретали страшный смысл. Представляешь себе?.. Вдова солдата... А я-то мечтал, что моя жизнь — мой корабль будет плыть и плыть вечность. Сейчас я уже не помню, как мы прожили эти четыре года — с тридцать пятого по тридцать девятый. Что это было за время...

— У тебя слишком буйное воображение, и ты любишь давать ему волю...— сказал Прево.— Ты остался таким, какими все мы были четыре или пять лет назад...

— А кто в ответе?.. Ты. Твое великолепное красноречие. Ведь корабль, на котором я пустился в плавание,— это «Потемкин».— Он рассмеялся коротким смешком, в

котором прозвучала легкая грусть.— А теперь я плыву на корабле-призраке. И все так нереально.

Прево аккуратно заткнул дуло винтовки промасленной пробкой, чтобы в ствол не попала земля. Ружейная трескотня приближалась.

— Мы окружены,— сказал Симон.— Я не сдамся. Пусть только попробуют!

— Ты получишь крест,— сказал Прево.

— Деревянный?..

— Легче на поворотах! — усмехнулся Прево.— Берегись пацифистской демагогии!.. Ты был пацифистом?

— Я был как все. То есть как почти все в моем кругу. Мы читали Барбюса...

— Но Барбюс не был пацифистом,— возразил Прево.

— Барбюс нет, а его «Огонь» — пацифистская книга,— парировал Симон.— Во всяком случае, именно так я ее воспринимал... И сейчас еще война для меня — это война, как она выглядит в «Огне». Одним словом, идиотская война — и все.

Прево осторожно придерживал винтовку на сгибе левой руки.

— Я все-таки вернусь к началу нашего разговора. Так вот: в тридцать шестом или тридцать седьмом ты не ставил перед собой вопрос о вступлении в партию? В те годы движение ширилось... дул попутный ветер.— Он помолчал и уже совсем другим тоном, почти застенчиво, как бы опасаясь нескромности своего вопроса и боясь, что испортит дело, добавил:— Заметь, пожалуйста, я тебя не агитирую. Нет, мне это важно с точки зрения... да, если хочешь, с социологической точки зрения... Ты ведь... ты мне говорил, что к тому времени уже побывал в Советском Союзе? Так?

— Да,— сказал Симон.— Но это другой вопрос. Мне попутный ветер не требуется. Более того, я не люблю попутного ветра.

— Романтическое смакование трудностей — занятие бесполезное,— продолжал Прево.— Есть люди, которые пошли за нами в тридцать шестом году, когда это было легко, и которые в том же году, если не в следующем, стали героями. Мало ли кто кем был. Самое важное не то, каким был человек, а то, что из него получилось.

Прево снял с головы каску верденского ветерана и принялся раскачивать ее, держа за ремешок на кончике указа-

тельного пальца. Симону вдруг представился скромный садик на парижской окраине и веранда, где на цепочке рядком висят такие вот верденские каски с настуриями: их используют вместо обычных цветочных горшков.

ОБЛАТКА НА ЯЗЫКЕ

Мне трудно отдать себе отчет во всем, что произошло за последние годы,— сказал Симон не совсем уверенным голосом.— «Время идет, время покажет!» — думал я.— Конечно, путешествие в Россию... было важным для меня событием. Но в каком смысле? Я еще и сам не знаю... Было... столько всего. Впечатления настолько противоречивы... наконец, моя неподготовленность... недостаточная подготовленность.

— А...— сказал Прево.

— Я отправился туда... на «Потемкине»! Понимаешь, что я хочу сказать?

— Нет.

Прево на мгновение перестал играть каской и повторил:

— Нет! — Но тут же добавил: — Впрочем, кажется, понимаю... Ты увидел, что все оказалось сложнее, чем ты думал?

— Я отправился туда, полный самых фантастических представлений обо всем. Совершенно фантастических. Россия виделась мне в смешении причудливых образов: романтика «Потемкина», матросское ура. Ты помнишь, как это было в фильме? Форштевень броненосца, форштевень — как символ. Итак, романтическая страна и в то же время столица будущего. Моему воображению рисовался некий никелированный мир, населенный архангелами... Теперь даже трудно восстановить в памяти этот образ. То была мечта. Не знаю, как тебе и объяснить... Фаланстер, социалистическая Икаррия...

— Все через это прошли,— сказал Прево.

Он медленно покачивал головой с деликатностью врача, которому описывают банальнейшие в сущности симптомы, тогда как самому больному они кажутся невиданно сложными.

— Не в такой степени,— возразил Симон.— Для меня

Советская Россия была абсолютом... Представлялся человек, освобожденный от всех человеческих слабостей... Даже не так... вернее, просто безгрешный человек...— Он помолчал, устремив взгляд куда-то вдаль.— Человек, каким он был до грехопадения? Очевидно, в молодости у меня было почти религиозное пристрастие к абсолюту, от которого я еще не совсем избавился. Невероятно, но факт. Учти также, что я отправился в путешествие с молодой женой. Весенняя пора любви и, конечно, уверенность, что любовь эта совершенна. Как видишь, я и от любви тоже ждал совершенства...

В сыром воздухе слегка запахло порохом.

— Чувствуешь, как пахнет порохом? — спросил Прево.— Говорят, от этого запаха опьянеть можно...

— О реальном мире я ровно ничего не знал. Не знал даже, что такое Время. Революции не исполнилось тогда и двадцати лет: а что такое двадцать лет для Истории?.. Всего двадцать лет! Со времени гражданской войны прошло всего пятнадцать лет... Крошечный кусочек времени, но ведь им измерялась почти вся моя тогдашняя жизнь... И я считал, что этого вполне достаточно для перехода от средневековья к столице будущего и для превращения людей в архангелов! Сейчас мне это кажется настолько глупым, что даже немного стыдно. Нет, ты представь только... На границе, в Негорелом, поезд проходил под аркой. Она была украшена красными флажками, и на ней надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Я выглянул в окно вагона... Стояло лето...

...Паровоз оглушал своим пытением опушку леса. Кажется, это был березовый лесок? А может быть, березовым он стал лишь в воспоминаниях Симона. Трудно сказать. Симон держал в своей руке руку Камиллы. В жарком воздухе того далекого летнего вечера пронзительно заскрежетала сталь тормозов. Солдаты в фуражках перебрасывались мячом. Арка, под которой мы проехали, выглядела не очень парадно и напоминала легкое, ажурное сооружение, возведенное для народного праздника. Ничего торжественного, ничего загадочного, и все-таки с этим мгновением, с этим дыханием паровоза, остановившегося среди деревенских летних просторов, не сравнится ничего. Наступила ночь. Симон и Камилла пристально вглядывались в потемневшую кромку леса, стараясь определить по желтому пунктиру редких огоньков, где начинаются русские

деревни. Симон узнал свет керосиновой лампы, такой же, как в окошках знакомых хижин на бейсакском плато. Сердце его сжалось. Он ничего не сказал. Может быть, это просто зернохранилища, стоящие поодаль друг от друга? Он не выпускал руку Камиллы, лежавшей на верхней полке. Поезд шел, мирно укачивая пассажиров, как самый обычный поезд, в котором люди едут в дальние края на отдых. Поскрипывала деревянная обшивка вагона. В темноте непривычно позвякивали ложечки в стаканах. Звук этот шел из последнего купе, где пожилая женщина, закутавшись в платок, дремала у самовара.

— Я был как слепой. Мысли путались. Я сам себе испортил это путешествие в старом, еще до революции построенном русском вагоне, и все потому, что ожидал увидеть... сам не знаю что... Должно быть, поезд из стали, мчащийся со скоростью ста километров в час среди ярко освещенных деревень двухтысячного года!

— Неужели ты все-таки думал, что все деревни электрифицированы?

— Ах, конечно, я знал. Но представлял себе все это иначе. Я же говорю... это необъяснимо. Тебя водили к первому причастию?

— Нет. А почему ты спрашиваешь?

— Значит, ты не можешь понять. Я был словно ребенок, который вообразил, что, как только ему положат на язык облатку первого причастия, произойдет нечто... нечто, воочию подтверждающее существование бога... И вдруг оказывается, что это только хлеб, причем довольно безвкусный. Чуда не произошло.

— Совершенно верно. Чудеса тут ни при чем. И если тебе это открылось, ты не потерял времени даром. Тебе открылось, что новое строится из того материала, которым располагаешь. А ты как думал?

— Тут отчасти виноваты вы. Эта... эта пасторальная Россия, ее образ, который сложился у меня в голове и вошел в какой-то мере по вашей вине. Разве нет? Если бы вы сказали: дело обстоит так-то и так-то, все дается очень нелегко, стране этой многое пришлось начинать на голом месте, в ее распоряжении не было даже полных пятнадцати лет, чтобы преодолеть отставание, измеряемое столетием... Если бы вы сказали так, я бы все понял.

— Но мы это говорили. Мы говорили, что Советский Союз весь в лесах новостроек. Не мы, а ты сам выдумал

этот идеализированный мир, этих архангелов, как ты сказал. А что, по-твоему, мы должны были делать? Специально подчеркивать трудности, неудачи? — Превосвысил голос, будто разговаривал с враждебной аудиторией. — Нет уж, извини! Наши враги достаточно усердствуют в этом!

...Автобус, на котором Симона и Камиллу везли с вокзала в гостиницу, был старый, его трясло, непрерывно постукивали стекла. Ехавшая с ними переводчица была маленького роста, ненапудренная, в более чем скромном платье. Когда автобус вынырнул на Красную площадь, она продолжала стоять рядом с шофером и, не поднимая глаз, листала записную книжку. Все головы повернулись к мавзолею. «Вот,— подумал Симон.— Вот оно. Сердце мира. Средоточие всего значительного, что будет отныне происходить в веках». Он был счастлив, что Камилла находится рядом с ним в эту минуту его жизни, столь похожую на тот вечер после просмотра «Потемкина», когда они решили больше не расставаться.

«Какая красота!» — сказала Камилла.

Да, это было очень красиво, но Симон предпочел бы что-то более абстрактное, не принадлежащее никакому историческому прошлому, никакой определенной стране. Красота зубчатых стен Кремля и куполов Василия Блаженного восхитила Симона, но он пожалел, что красота эта столь типично русская. Русская реальность вторглась в то, что до сих пор было для Симона, когда он произносил слова «Красная площадь», лишь чистой идеей, символом.

«Отсюда,— сказала переводчица,— вы видите нашу Москву-реку и строительство гранитных набережных».

Вдоль реки тянулись поросшие зеленою склоны, на лесах трудились строители; только возле подступов к мосту берега реки уже оделись камнем и она приобрела городской вид. Пейзаж, тонувший в лучах благодатного августовского солнца, напомнил Симону своими далями, своей водной гладью фон на картинах с библейским сюжетом. Навстречу путешественникам попадались гремевшие на булыжных мостовых грузовики; прохожие в одних рубашках, без пиджаков, мальчишки с бритыми головами, белобородые старики, напоминавшие толстовских мужиков. Они проехали мост и оказались в предместье, где по неровно вымощенным улицам со звоном проносились

трамваи, облепленные людьми, висевшими на подножках. Желтая краска домов местами облупилась. Кое-где в окна вместо стекол была вставлена фанера. Симон прекрасно понимал, что в любом другом пункте земного шара ему бы даже понравился этот провинциальный уголок, немного запущенный и так, в сущности, похожий — если отвлечься от специфически русского колорита — на площадь перед мэрией в старой, окраинной части какого-нибудь французского промышленного городка, но здесь ему хотелось, ему требовалось нечто другое...

— Мы еще к этому вопросу вернемся, — мягко сказал Прево. — Заметь, я не утверждаю, что мы тут без греха. Мы не всегда правильно все объясняем. Нам хочется проецировать будущее в настоящее. Слово нам необходимо... как бы это лучше выразиться... продержаться до того момента, когда все, что мы говорим о Советском Союзе, станет действительно таким.

Он слегка пожал плечами.

— А быть может, так и нужно... Может быть, иного способа и нет... И сколько еще лет это протянется — не знаю... Но, может быть, и в самом деле нет иного способа поддержать в людях надежду...

Он в последний раз затянулся и далеко отбросил сигарету, как бы завершая разговор.

— Во всяком случае, я не считаю, что твоя поездка дала отрицательные результаты. Ты станешь сильнее. Потому что... я не думаю, что это твоя поездка удержала тебя...

— Удержала?

— Да, удержала от вступления...

— Нет, не удержала, но отсрочила. Потребовалось какое-то время, чтобы все встало на место. Реальный мир ведь посложнее, чем абстрактный! И вот мало-помалу за последние годы Советская Россия стала для меня реальным миром, населенным живыми людьми... а раньше я, видимо, походил на человека, который неведь что вообразил о женщине, считал ее чуть ли не звездой экрана и вдруг обнаружил в ней изъяны... А потом он начинает любить даже эти ее изъяны, они умиляют его. Теперь я живу воспоминаниями о вполне реальном мире. Иногда совсем пустяковыми, если угодно, имеющими значение для меня одного... Запахи, краски, угол улицы... а не только как прежде: идеи, зная.

— А ты и впрямь романтик, — заметил Прево.

— Возможно,— согласился Симон.— Называй меня как хочешь, но, так или иначе, мне это помогает.

Он вновь почувствовал легкий запах кожи и кислой капусты, а также резкий и сильный запах бензина, который пахнет там не так, как во всей Западной Европе. И вдруг к этим запахам, существовавшим лишь в воспоминании, примешался запах сырой земли, по которой он машинально водил прикладом ружья, и запах пороха.

Он чуть было не сказал: «Есть вещи, которые не вырвешь из сердца»,— но счел эту фразу слишком напыщенной и промолчал.

— Я отправился в путь, готовясь увидеть некую столицу двадцать первого века, и вот... У меня остались в памяти разрозненные картины. Например, как сейчас вижу какого-то старика на одной из улиц неподалеку от Красной площади, он стерег свою курицу, привязанную за лапку. Очевидно, это был, так сказать, его личный колхоз.

— Нельзя же из-за деревьев не видеть леса,— расхохотался Прево.— Нельзя, чтобы эта несчастная курица мешала тебе видеть колхозы!

— Вообрази, она ничуть мне не помешала. Наоборот, мне почему-то очень приятно вспоминать об этой курице. Благодаря ей я лучше понял проблему снабжения городов.

— Молодец! — заметил Прево.

— Ну уж и молодец! Я боюсь показаться тебе чересчур напыщенным... Когда моя Икария исчезла, я попробовал смотреть на все по-другому, глазами сердца. Я во всем видел надежду. С точки зрения политической это не очень, а?

— Напрасно ты так думаешь.

— И это ты, Прево, мне говоришь!

— Странное у тебя о нас представление!

АРМИИ РЕСПУБЛИКИ



Пришлось вылезать из укрытия. Ружейная трескотня приближалась. Едкий пороховой дым жег глаза. Видимо, какие-то шутники ухитрились получить двойную порцию патронов и жарили теперь всю для собственного удовольствия. Солдаты продвигались то цепью, то врассыпную в направлении фермы, после захвата которой можно будет и пере-

кусить. Симона, как и Прево, подхватило волной атаки. Младший лейтенант ядовито заметил, что во время учения их что-то не было видно.

— Мы замаскировались, господин лейтенант,— доложил по всей форме Прево.— Мы все время прикрывали взвод нашим огнем.

Младший лейтенант побагровел.

— Не советую вам, Прево, валять дурака. Вы больше, чем кто-либо другой, обязаны быть начеку...

Прево промолчал. До самого конца учения он избегал Симона: их воображаемый пулемет уничтожило минометным огнем, и, таким образом, не было повода держаться вместе.

— Вы забыли о минометах! — сказал младший лейтенант.

Симон вынужден был признать, что он действительно забыл о минометах.

— Просто укрыться — недостаточно,— заметил капитан,— надо еще мозгами шевелить. Главное оружие пехотинца — лопата. Запомните это раз навсегда. Надо окапываться. Все дело в этом.

Они окопались сразу же после полудня.

— Слышал, что сказал младший лейтенант? — спросил Прево.— Надоел мне этот шпик...

— Ты думаешь, будут неприятности?

Прево пожал плечами.

— Страшного, конечно, ничего не будет. Все это следовало предвидеть... Но, так или иначе, это означает, что они в курсе всего, обнюхивают каждый уголок. Вот чем они занимаются.

К ним пришел поболтать сержант Пишо. До войны он работал возчиком в отделе гужевого транспорта парижской фирмы молочных продуктов, и этот пышный титул казался Симону в высшей степени поэтичным.

— Ну как, начальник, когда снова возьмем вожжи в руки? — спросил Прево, который после нескольких приватных бесед с сержантом установил, что он «свой парень».

— Единственно, что я знаю,— ответил Пишо,— если все так будет продолжаться, то долго не продолжится.

— Здорово! — воскликнул Прево.

Это изречение Пишо: «Если все так будет продолжаться, то долго не продолжится» — уже вошло в сокровищницу

ротного фольклора. «Пишо у нас диалектик,— говорил Прево.— Его формула — типичный образец диалектического мышления».

— Они к тебе не очень вяжутся? — спросил Прево многозначительным тоном, подчеркивая свое доверие этим внезапным переходом на «ты».

— Я смотрю да помалкиваю,— сказал Пишо.

— А обо мне ничего не слышал?.. Я имею в виду нашего младшего лейтенанта.

— Нет,— произнес Пишо.— Должно быть, мне не доверяют. Так или иначе, предупредим в случае чего.

Эта установившаяся в один миг близость, это товарищеское общение между кандидатом философских наук и возчиком, пожалуй, сильнее всего заставили Симона пожалеть, что он еще не в партии.

Появился юный Лануэт. Он с вызывающим видом носил монокль, как бы желая открыто подчеркнуть свое сходство с карикатурным образом студента-монархиста Института политических исследований.

Лануэт в общем благоволил к Пишо, который в его глазах представлял привычную для него социальную категорию, категорию челяди — кучеров, шоферов, садовников. С Пишо, кроме того, он говорил о лошадях.

— Ну как, сержант,— обратился он к Пишо,— недостает вам здесь ваших лошадок?

— Здесь моим конягам делать нечего,— ответил Пишо.— Мои коняги войны не любят.

— Прелестно, прелестно,— ответил Лануэт.— Ваши лошадки совершенно правы! Они не любят англичан! А вы сами их чистите?

— Это как когда,— отозвался Пишо, радуясь, что разговор не перешел на политику. (Прево незаметно сделал ему знак рукой, советуя не лезть на рожон.) — Это как когда, у нас ведь, сами знаете, большое предприятие, так что раз на раз не приходится. Но овес-то, конечно, я им сам задаю...

— Чудесно! — говорит Лануэт.— Просто чудесно! Ну что же, господа,— обратился он вдруг к Симону и Прево, как будто только что обнаружил их присутствие,— окапываемся?

— Так точно, господин корнет,— ответил Прево.

— «Корнет»,— повторил Лануэт.— Странно звучит, но неплохо, совсем неплохо...

Он хохотнул и пошел через унылое поле условного боя, стройный, тонконогий.

— Неплохой парень,— заметил Пишо.— Если бы только этой стекляшки в глазу не носил. А ведь он прав насчет англичан, верно?

— И да и нет,— ответил Прево.

— Ведь англичане втянули нас в это дело,— продолжал Пишо убежденным тоном. Сунув руки в карманы, он поглядывал на окопчик, достигший вполне приличных размеров.— А в лошадях он действительно разбирается.

— Только в верховых,— заметил Прево.

— Это одно и то же,— настаивал на своем Пишо.

— Ну, как сказать,— произнес Прево.— По-моему, лошади, как люди: есть лошади, которые работают, и есть — которые ничего не делают.

— Верно,— подтвердил Пишо,— но лошадь — она и есть лошадь, и нечего тут мудрить.

Окопчик не пригодился. Людей собрали вокруг ручного пулемета, установленного на плащ-палатке. Лануэт аккуратно его разобрал, не снимая кожаных перчаток. Младший лейтенант, с сигаретой в зубах, с записной книжкой в руке, задавал вопросы. Симону повезло.

— А это что такое? — спросил младший лейтенант.— Борд, отвечайте!

— Задержка — подающей — пружины — магазина.

Это был один из немногих терминов, которые он заучил легко, потому что был поражен контрастом между скромным видом детали и ее названием.

— Н-да,— недоверчиво протянул лейтенант и спросил следующего.

Прево восхищенно присвистнул. Симон, отделавшись от дальнейших вопросов, размечтался. Вечерний туман медленно вползал в низину. «Вот на что уходит жизнь. Быть может, последние месяцы жизни!» Через час Камилла в Париже пересечет двор своего предприятия и направится к метро под синеватым светом лампочек затемнения. Несколько секунд он следит за ней мысленным взором, охватив им весь город — не только исхоженную вдоль и поперек сотню метров той улицы, где он частенько поджидал Камиллу, читая вечернюю газету, но и сверкающие бульвары, витрины цветочных магазинов, перед которыми он мечтал о веселой, легкой, счастливой жизни, о том, что сможет когда-нибудь купить ей не только букетик фиалок,

обманчивый аромат которых улетучивается так быстро; витрины колбасных, где красовалось во всем своем великолепии заливное с трюфелями, цыплята в желе, аппетитные кровяные колбасы; напоминающие о рождественских обедах, которых теперь никогда уже не будет. Но к грусти его примешивалась какая-то странная легкость, будто война, лишив его этих маленьких радостей, ставила одновременно все под вопрос, как бы освобождала от всех забот.

Возвращались они той же длинной дорогой, по которой шли утром, но ночной мрак превратил ее в настоящую дорогу войны, где идет на передовые очередная смена, и завтра под настоящим, а не учебным огнем она станет крестным путем. Какая-то старушка в белом чепце посмотрела им вслед и перекрестилась.

— Давай закусим в городе, — предложил Прево. — Я приглашаю.

В вечернее время — между шестью и половиной девятого — город будто вспоминал, что Франция находится в состоянии войны, дававшей о себе знать здесь скоплением курсантов на площади Республики и прилегающих улицах. Некоторые из них чуть не каждый день обедали в ресторане.

В самом роскошном местном заведении «Отважный петушок» собиралась молодежь, для которой военная форма была чем-то вроде маскарадного костюма: они носили ее, чтобы потом можно было говорить, что они побывали в шкуре простого солдата и что они научились командовать другими, сперва научившись повиноваться. А наряды, когда тебя заставляют чистить отхожие места и до блеска драить котелки! Нет, в самом деле, будет что порассказать, хотя в действительности отхожие места чистили призывники запаса, бретонцы, и не очень на это обижались, предпочитая служить здесь — поближе к родным местам, чем где-то на востоке.

В городе все передевались в гражданское платье. Мнимое, чисто внешнее единство людей переставало существовать. Не ведающее классовых различий население казармы Клебера в один миг обнаруживало свои скрытые различия. Офицеры и старшины почти все снова становились учителями и мелкими лавочниками, каковыми они и были в действительности, между тем как некоторые из их подчиненных, освободившись от иллюзорного подчинения армейской иерархии, существующей во Французской республике,

вечером в «Отважном петушке» обретали свой истинный ранг, поднимая тост за здоровье короля и королевы... Во всяком случае, именно таким увидел Лануэта Симон, которого привело в ресторан простое любопытство. Он застиг всю компанию в тот момент, когда эти юнцы, стоя навзрыд, пытались изобразить из себя личную гвардию Людовика XVI на банкете в Версале, устроенном в его честь в последние дни монархии. Но в отличие от своих знаменитых предков, распевавших «О Ричард, мой король, покинут миром ты...», должно быть из желания подражать верноподданной деревенщине, они ничтоже сумняшеся грянули:

Выпьем, братцы, выпьем вновь
За влюбленных, за любовь,
Выпьем мы за короля,
А английской королеве, что войну нам объявила,
Наплюемте, братцы, в рыло.

Однако предпоследняя строка, актуальности ради, была изменена следующим образом:

Что в войну нас затащила.

— Ты приглашаешь меня в ресторан? — спрашивает Симон.

— Не сегодня, ваше превосходительство, — говорит Прево. — Это мне не по карману. Пойдем в более демократическое заведение.

— Жаль. А я сегодня на учении мечтал провести вечер пошкарнее.

ЭПИЗОДЫ



Поля хорошо готовили антрекот. Приятелей посадили за столик в тихом уголке задней комнаты, которая, видимо, служила столовой самому хозяину, так как на старомодном буфете стояла фотография девочки, принаряженной по случаю первого причастия.

— Это моя дочь, — сказал хозяин. — Но сейчас, сами понимаете, вы бы ее не узнали. Дети так быстро растут!

Он добавил, что она была бы уже замужем, если бы не война. И без стеснения принялся излагать свою точку зрения на войну. Однако Прево не поощрял излишней хо-

зяина, хотя тот и поспешил пояснить, что «это», то есть первое причастие, было уступкой, сделанной матери.

— Странно все-таки устроен человек,— заметил Симон.— Ну зачем он оправдывается? Просто удивительно, как мало на свете людей, которые до конца следуют своим убеждениям!

— Я бы не сказал, что это удачная мысль,— заметил Прево.

— А-а, готовишь контратаку! — воскликнул Симон.— Ты, конечно, весьма последователен в своих убеждениях!

— Безусловно,— сказал Прево. И предупреждающе вытянул руку.— Но если тебе неинтересно, давай поговорим о чем-нибудь другом.

— Почему же неинтересно? Я прекрасно понимаю твою точку зрения. Наоборот, было бы странно, если бы мы об этом не говорили.

Прево попросил подать им еще бутылку вина.

Симон с удовольствием посидел бы спокойно и покурил. У него болели ноги. Только не надо злиться. Предположим, обедал бы он с кюре,— ведь пришлось бы ему пересилить себя и вежливости ради исповедаться.

— Значит, ты хочешь услышать продолжение исповеди? На чем же я остановился?

— На пакте,— напомнил Прево.

— Да, на пакте. Но я сказал тебе, что не он сыграл главную роль. Я ведь рассказывал тебе о поездке в Россию. Вот это гораздо сложнее.

— Но в том, что ты мне рассказывал, все было вполне логично. Меня, во всяком случае, ничто не покорило. Ничуть. Ты что, принимаешь нас за младенцев?

— Вовсе нет. Младенец — это я. Представь, я теперь и сам не понимаю, как я мог задаваться подобными вопросами. Правда, я довольно быстро взялся за ум... как только осознал, что Россия — это реальность... Но... но я долго походил на человека, который, внезапно очнувшись от сна, понимает, что он видел сон, хотя и очень нелепый. А в жизни бывают минуты, когда начинаешь жалеть, что сон не стал явью. Так мы с сожалением расстаемся с детством. И я не без сожаления расставался с моим представлением о революции, о Советском Союзе, каким он, очевидно, будет... в двухтысячном году... А я убежден, что эта страна будет такой, какой я представлял ее себе в мечтах. Собственно, не мечты мои были ребячеством, а то, что я верил,

будто на свете существует волшебная палочка, по мановению которой...

Он машинально всматривался в красную клеенку, пытаясь оживить полузабытые образы, воспоминания, породившие споры, которые он вел с самим собой и от которых остались сейчас лишь отдельные слова. Он спрашивал себя, не подменил ли он одну абстракцию другой, рассказывая Прево о запахах и красках Москвы.

Хозяин принес вторую бутылку вина и предложил им торт.

— Пользуйтесь, пока можно,— сказал он.— Это ведь не долго так будет. Мы издевались над немцами, когда они сразу, с первых дней войны ввели карточки на хлеб. А теперь посмотрим, как сами будем выкручиваться.

— Ты знаешь его?

— Нет,— ответил Прево,— но, по-моему, он неплохой малый.

— Ну, это еще неизвестно,— протянул Симон.— Он говорит — немцы.

— А ты бы сказал — боши?

— Нет, конечно... Но мне не понравилось, как он произнес это слово... Все дело, видимо, в контексте. Этот тип, наверно, думает, что с ними можно столковаться. Он, наверно, считает, что они народ организованный.

Приятели закурили. Им стало жарко от вина.

— Так что же дальше? — спросил Прево.

— Да, что же дальше,— повторил Симон.— Я был уверен,— продолжал он, довольный внезапно найденным сравнением,— что дороги во всем мире заасфальтированы, а поля обработаны, как питомники Вильморена и Андриэ... Что дома, крытые соломой, существуют только в детских сказках и что автомобиль — наиболее распространенный вид транспорта...

— А у тебя есть автомобиль?

— У меня? Когда требовалось, я брал такси. Скажем, когда ездил на вокзал. Автомобиль — это вроде «Отважного петушка». Ни у тебя, ни у меня, ни у капитана нет возможности посещать этот ресторан, но он неотделим от нашего представления об этом городке... Не будь здесь этого самого «Петушка», мы бы сказали: «Ну и нищий же городишко...». В Москве было немного автомобилей. И я видел там очень старые дома и людей, одетых... ну... кто как может... Меня возили по заводам... и там опять-таки...

Пойми меня хорошенько... Я никогда не видел ни одного завода во Франции... А завод есть завод. Это грязь, грохот, машинное масло. Повторяю: я никогда и нигде не видел ни одного завода. Ты представляешь себе, как много людей никогда не бывало на заводе? И самое смешное, что волею судеб туда едут именно такие люди. Ты ведь тоже и носу не совал ни на один завод? Я имею в виду не какую-нибудь мастерскую или гараж, а настоящий завод...

— Ну, я хоть у заводских ворот бывал,— не без легкого раздражения заметил Прево.— Я уже говорил тебе, что ценю твою склонность к романтике, но, право, ты пересаливаешь. Ну что ты там открыл? Что тяжело всю жизнь провести у станка? А что ты можешь предложить вместо этого? Люди, которых ты видел у станков в Москве... разница... огромнейшая разница между ними и нами заключается в том, что их жизнь имеет смысл. Они люди, а не навоз. На них никто не смотрит как на навоз. Вот в чем разница...

Он произнес это убежденно, со страстностью, которой Симон до сих пор за ним не замечал и которая тронула его.

— Но ты же знаешь,— сказал Симон,— тут я полностью с тобой согласен. Не в этом дело... Я просто пытаюсь объяснить тебе, что творилось у меня в голове. Я не стараюсь оправдываться... Я думаю, что это для тебя не ново. Классический пример того, что происходит с мелким буржуа, не так ли? Я говорю это без всякой горечи. Мне кажется, для меня это пройденный этап.

Помолчав, он иронически-насмешливым тоном продолжал:

— Позволь на основе личного опыта внести свою скромную лепту в анализ психологии мелкобуржуазного интеллигента. Мелкобуржуазный интеллигент не может жить в реальном мире. Он не терпит ни малейшего несоответствия между законом и фактом. Он удивляется и впадает в отчаяние, если люди и обстоятельства не подчиняются безоговорочно декретам. Стоит ему обнаружить, что дважды два не всегда и не сразу бывает четыре, он тотчас залезает в свою раковину. Он говорит, что умывает руки, и с этой минуты всецело отдается подготовке ученой диссертации и воспитанию своих детей, которые, уж конечно, будут жить в более совершенном мире, поскольку по мере распространения просвещения все человечество со време-

нем будет состоять сплошь из бывших учеников Высшей нормальной школы...

Прево пожал плечами и налил себе кот-дю-рон. Хозяин принес торт.

— Ты, наверно, считаешь, что сгустил краски, а на самом деле даешь абсолютно верный анализ. Так оно и есть... Но если ты столь хорошо во всем разбираешься, почему же ты не делаешь из этого выводов? Предпочитаешь быть этим мелким буржуа?

— Отведайте торта,— предложил хозяин.— И, конечно, кофе с рюмочкой кальвадоса?

— Отлично,— сказал Прево.

Он подождал пока хозяин уйдет.

— Вот и все здесь так, в этой стране,— сказал он.— Идет война, а люди жрут яблочные торты. Как и раньше, пьют кофе и свой кальвадос. Правда, мы хорошо защищены: у нас есть вода, газ, электричество...

— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать,— перебил его Симон.— Ты ведь тоже ешь торт, укрывшись за линией Мажино...

Прево промолчал. Хозяин вернулся, неся кофе и бутылку кальвадоса. Он до краев наполнил рюмки. Из соседнего большого зала долетал нарастающий гул молодых голосов. Единственным признаком того, что где-то идет война, были замазанные синей краской оконные стекла да обилие военных. По сравнению с тем, какой могла бы быть настоящая война,— «война Барбюса», как любил говорить Симон,— то, что происходило в действительности, постепенно приобрело наименование «странной войны». Она не была, конечно, странной для тех, кто уже «понюхал пороху» на восточных границах, но когда тревога первых дней улеглась, люди стали говорить — одни громко, другие шепотом: «Как, только и всего?» И теперь мечтали о том, что случится чудо, что эти нелепые, дурацкие военные действия, тянувшиеся всю зиму, постепенно сойдут на нет, сами собою кончатся, и обе стороны молча придут к заключению, что нет смысла возобновлять верденскую битву и, следовательно, не может быть и речи о войне. Все смеялись, вспоминая первые дни воздушных тревог (потом стало известно — во всяком случае так считали многие, — что это были лишь учебные тревоги), когда тысячи людей, с трудом переводя дух, задыхаясь под маской противогаса, устремлялись в подземные убежища. А теперь

сумки от противогазов — поскольку ношение их обязательно — служат для хранения сигарет или бутерброда на завтрак.

— Ну что я могу тебе сказать? — собираясь с мыслями, произнес Прево. — По-моему, ты живешь в мире случайных впечатлений, эпизодов. Из чего складываются твои убеждения? Фильм, который ты однажды видел, курица, привязанная за лапку на улице Москвы... Сегодня это яблочный торт... В плане литературном все это, может быть, и интересно... а так... не хочу тебя обидеть, но... это... весьма прискорбно. Даже не с точки зрения политической, а просто человеческой... С точки зрения человеческой мне это представляется... весьма прискорбным.

— Я, видимо, плохо выражаю свои мысли... — сказал Симон.

Он посмотрел на старомодный буфет, который вдруг (ибо точно такой же буфет приобрели его родители после свадьбы) показался ему умильным и одновременно ненавистным, как символ того мира, в котором он жил и пут которого так и не сумел с себя сбросить, — мира мелочного, замкнутого, где случайные впечатления, скверное расположение духа, всякие мнимые проблемы занимают излишне большое место.

— Я, очевидно, слишком плохо выражаю свои мысли. Но тут не только моя вина. Когда я говорю с тобой или с другими людьми вроде тебя, мне всегда кажется, что какие-то слова нельзя произносить... Но ты неправ, полагая, будто все, что я перечувствовал за эти годы, как бы это сказать... ни к чему. Ведь ты именно это хочешь сказать? Ни к чему, да?..

— Раз ты сам так говоришь... Да, ни к чему... Но какие же слова, по-твоему, нельзя произносить? Они находятся под запретом только в твоём воображении... Ты говоришь загадками. До такой степени, что этот разговор мы могли бы вести во всеуслышание при младшем лейтенанте или Лануэте. Они бы ровно ничего не поняли. Вот ты ждешь от меня ответа, но как же я могу расшифровать твои загадки, если ты не даешь к ним ключа?

— Я говорю загадками, потому что говорю о загадочном, — несколько назидательным тоном произнес Симон.



Симон был очень доволен своим афоризмом и ожидал увидеть на лице Рыжего понимающую улыбку, но вместо этого увидел озабоченность и беспокойство. Нет, должно быть, то, что с ним происходит, гораздо сложнее, чем он думал...

— Теперь рассказывай! Давай начистоту... Что же все-таки... отчего все-таки твой «Потемкин» оказался на мели?

— Ты знал Бернштейна? — внезапно спросил Симон. — Был такой парень, который состоял в Союзе коммунистической молодежи в тридцать пятом году. Казо его хорошо знал. Так вот, он вернулся в Россию. И я его там видел.

— Ну и что же? — заметил Прево. — Это говорит лишь о том, что человек может поехать в Россию и общаться там не только с переводчиками и пропагандистами вроде меня!

— Да, может... Во всяком случае... в какой-то мере. Да, это возможно...

Но Симон не забыл, как удивилась переводчица, обслуживавшая их группу, когда он попросил ее написать русскими буквами на конверте фамилию и адрес Саши. Через три дня Саша пришел к нему в гостиницу. Он держал в руке фуражку из белого полотна. У него был все тот же веселый, немножко иронический взгляд, как и в кафе «Будущее», когда полгода назад он объявил великую новость о своем отъезде.

Саша тотчас принялся расспрашивать о Париже, точно это был человек, который за время его отсутствия мог измениться. «Ну, а Париж, — спрашивал он, — как там наш Париж?» Камилла и Симон отвечали рассеянно, им не терпелось узнать, что он думает о своей нынешней жизни, не терпелось узнать (но они, конечно, никогда не осмелились бы спросить его об этом), не жалеет ли он о сделанном выборе. Они предложили Саше позавтракать вместе в ресторане гостиницы на их интуристовские талоны. Он сказал: «Нет, нет, спасибо», — и при этом на лице его промелькнуло то же выражение, какое, казалось Симону, он подметил на лице молоденькой переводчицы, когда попросил ее надписать конверт. Саша пригласил их к себе. «Вы хоть побываете дома у москвича. Такой экскурсии «Интурист» вам не устроит. Вы сядете на трамвай — это совсем не

сложно, приготовите две монеты по десять копеек, скажете: «Два по десять»,— и поедете до последней остановки, где я буду вас ждать».— «Переводчица нам все объяснит»,— поспешила заверить его Камилла. Саша сказал, что нет, с переводчицей об этом говорить не стоит. Это ее не касается. Все это, конечно, тоже относится к области случайных впечатлений, эпизодов, но...

— Да, такое общение возможно,— продолжал Симон,— но не совсем обычно. Надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать. Не так-то это просто...

— Они, бесспорно, с некоторым недоверием относятся к иностранцам,— согласился Прево.— Поставь себя на их место... Вообрази... Вообрази на минуту...— Он говорил убежденно, нажимая на каждое слово, подкрепляя его жестами.— Они окружены кольцом врагов. Вообще чудо, как эта страна выстояла. Поэтому у них есть основания держаться настороже.

— Да, конечно,— согласился Симон.— И все же...

Прево перебил его:

— Нет, нет, старина, никаких «все же». Я прекрасно понимаю, что ты хочешь сказать... Что они могут ошибиться? Вполне возможно. И что атмосфера в результате создается не всегда приятная?.. Вполне возможно. Но я тебя спрашиваю: что лучше? Это или риск? Ты что, считаешь, что враги революции сложили оружие? Нет, не сложили, а стали еще более оголтелыми!

— Послушай, об этом нельзя говорить абстрактно,— понижая голос, сказал Симон.— Я передаю тебе то, что я почувствовал... почувствовал как человек, а ты мне возражаешь абстракциями. Можешь не читать мне лекций о революционном насилии. Тут я с тобой согласен. Я хочу объяснить тебе мое душевное состояние... Ты просил, чтобы я рассказал тебе о своих ощущениях. Вот я и пытаюсь разобраться в этом сейчас, при тебе...

— Но ты же, в сущности, ничего мне не сказал...

— Возможно, потому, что не знаю, стоит ли об этом говорить. Возможно, это опять будет что-то вроде фильма... или курицы, привязанной за лапку к дереву... Правда, тут дело, конечно, не в курице... И не в фильме... Хотя, быть может, это и выглядит как случайное впечатление, эпизод... Но ведь при желании что угодно можно счесть случайностью. Можно, скажем, решить, что быть убитым на войне — тоже случайность, эпизод...

Прево, видимо, смирился.

— Ну хорошо, рассказывай твой эпизод!

— Не здесь, — сказал Симон. — Пойдем погуляем.

По улице, затянутой сеткой мелкого дождя, вдоль высоких черных каменных стен, усеянных поверху осколками бутылочного стекла, уже шли к казарме группами военные.

— Фу ты черт, — заметил Прево, — какое мрачное зрелище! Кажется, что смотришь спектакль или фильм из жизни гарнизонного города в дождливый воскресный вечер.

Толстые шляпки гвоздей на башмаках скребли грязные плиты тротуара. Двое военных, сопровождавших девушек с зонтами, свернули в боковую улочку.

— Вот она, жизнь, — заметил Симон. — Любовь!..

— Блестящая армия, — подхватил Прево, — блестящие офицеры!

— Почему на этих стенах запрещают расклеивать афиши? — удивился Симон. — Все было бы веселее. Глупо запрещать то, что могло бы как-то оживить эту мрачную улицу.

— Ты уделяешь слишком много внимания декорациям, — заметил Прево.

— Да. Я этого не скрываю. В конце концов, вся жизнь проходит среди декораций. Вот ты, например, хотел бы жить здесь? Ты бы выбрал для себя такую декорацию?

— Как сказать. Если бы пришлось жить здесь, то, наверно, выбрал бы. Если бы я жил здесь, я смотрел бы на все иными глазами. Ведь тысячи людей живут в рудничных поселках и не мечтают ни о чем ином...

— Возможно, потому, что они никогда не видели Средиземного моря. Они ведь не сами выбрали для себя рудничный поселок.

— А собственно, что человек может сам для себя выбрать? — заметил Прево. — Далеко не у всех есть такая возможность. У богатых она есть, да и то...

Они прошли мимо казармы Клебера. Двери были широко распахнуты, так как через несколько минут начнут возвращаться ее обитатели. Из окон падал тусклый свет, еле пробивавший сетку дождя, которая здесь казалась более плотной и мутной, чем в центре города. Приятели сделали еще несколько шагов в направлении перекрестка, где высился трагический силуэт распятия, за которым начинались поля.

— И ты считаешь, что можно одинаково смотреть на мир здесь и в Ницце?

— При одинаковом заработке — да, — сказал Прево.

Но на этот раз голос его звучал весело. «И то хорошо», — подумал Симон...

— А вот я этого не считаю, — сказал он. — Я понимаю, что проблемы и тут и там одни и те же. Ну а надстройки, дорогой мой, куда прикажешь девать надстройки?

Засунув руки за ремень, они молча зашагали назад к казарме. Отсыревшие сигареты тлели с одного бока.

— Очень многое, — сказал Симон, — зависит от того, где и при каких обстоятельствах ты размышляешь о той или иной проблеме. Учти, я вовсе не хочу сказать, что это может что-то прояснить, но на образ мыслей это влияет. Ведь абстрактной истины не существует...

— Это ты сам придумал?

— Нет, — ответил Симон, — это сказано у Ленина. Что, здорово я тебя срезал?

— Ничуть, — возразил Прево, — потому что ты неточно цитируешь. Ленин этого не говорил. Он сказал, что истина всегда конкретна. А это не одно и то же...

— Так вот, то, что я говорил тебе... насчет России, — медленно, глухим голосом произнес Симон, — именно этим и объясняется. Мои концепции, мои представления об этой стране внезапно подверглись испытанию непосредственного восприятия, видения...

Они вошли в казарму, чинно козырнув невидимому старшине, и сразу очутились в толпе военных. Все куда-то спешили, толкались, что-то насвистывали.

— Кстати, Саша жил у своего дяди в деревянном доме.

— А ты не знал, что в Москве есть деревянные дома? Ты не знал, что представлял собой этот город каких-нибудь двадцать лет назад?

— Знал, но ведь я уже говорил тебе, что ехал я в Столицу Будущего, а оказался в деревянном доме. И не просто в доме, а в избе, и притом в бедной избе... Кстати, в этой бедной избе была ванная...

— Вот видишь, — сказал Прево, обрадовавшись так, словно положил шар в лузу, — вот видишь...

«Ну а теперь, — сказал тогда Саша, поймав удивленный взгляд Камиллы и Симона (а он, конечно, ожидал такого взгляда), — теперь пойдемте, я покажу вам мою ванную...» И действительно, в пристройке, служившей

одновременно помещением для стирки, стояла жестяная ванна. Стекла в двойных простых рамах были наполовину выбиты и залеплены газетной бумагой. Лишь осколок зеркала оживлял этот сарай. Но так или иначе, это была ванная комната — другими словами, воплощение счастья и справедливости, о котором мечтают миллионы парижан, вынужденных мыться над кухонной раковиной, — воплощение столь же чудесное, каким был для родителей Симона домик в Сен-Реми.

«Неплохая у нас ванна, правда? — заметил Саша. — Только, между нами говоря, здесь далеко еще не у всех есть ванны... До этого пока очередь не дошла...»

Они стояли на деревянном замшелом крыльце, выходящем в заросший травой садик. Рядом виднелось еще несколько таких же покосившихся домишек и ржавый купол заброшенной церкви, колокольня которой служила теперь приютом для голубей.

«Со временем все это придется сравнять с землей и выстроить новый город», — сказал Саша.

«Но в этом есть своя прелесть», — заметила Камилла.

«Да, это живописно», — согласился Саша, — но клопы — штука далеко не живописная, так же как и грязь. Ничего, мы построим города... каких никогда не бывало! Мой девиз: долой живописность! Долой святую Русь!»

Саша угощал гостей макаронами, которые он сам сварил.

«Неплохо, а? Макароны у нас только-только стали появляться...»

«Они какого-то странного цвета», — заметил Симон.

Макароны были темные.

«Кажется, я их переварил. — Он огорченно улыбнулся. — Не будь обывателем. И не говори, пожалуйста, что они такого цвета из-за муки. Посмотри, какой хлеб...»

Хлеб был удивительно белый.

«У вас на Западе такого нет!»

«Не сочиняй, пожалуйста», — сказал Симон.

«Ты меня не понял, — сказал Саша, глядя в потолок, с которого местами осыпалась штукатурка, — ты меня не понял. Я хочу сказать, что ваш хлеб совсем другое дело. Вы и представить себе не можете, чего стоил этот хлеб...»

Потом они еще поговорили о Париже. В какую-то минуту Саша поднялся и достал с этажерки, заваленной бумагами, пустой флакон из-под одеколона. Он осторожно,

словно совершая некое таинство, вынул стеклянную пробку и глубоко вдохнул легкий аромат, по-видимому, еще сохранившийся во флаконе. «Ах, Париж, Париж!» — прошептал он. И тотчас, словно желая исправить впечатление от этого излишне романтического жеста, он уже совсем другим тоном, но все с той же улыбкой, что и в кафе «Будущее», добавил: «Ах, Париж, Париж! Вы, надеюсь, понимаете, что я хочу сказать! Услада Запада! Женщины! Шикарная жизнь! Я парижанин, ваша светлость! Я парижанин!..»

«А в Булонь-Бийянкуре,— заметил Симон,— наверно, и сейчас найдутся люди, которые дорого заплатили бы за то, чтобы хоть понюхать здешнего черного хлеба!»

Прево молча слушал его. Они ходили по двору, заложив за спину руки, зажав сигареты в зубах. Двор сейчас походил на потревоженный муравейник. То и дело раздавались приветствия. Дойдя до конца дорожки, ведущей к железной триумфальной арке, сооруженной в честь полка, которому был придан взвод курсантов, молодые люди нарочито громко прищелкивали каблуками и поворачивали обратно.

— Значит, это и есть твоя конкретная истина? — спросил Прево.

— Подожди,— сказал Симон.— Я еще не все тебе рассказал.

...В последний день перед отъездом Симона и Камиллы Саша пришел к ним в гостиницу. Камилла еще не была готова. Симон с Сашей пошли прогуляться по набережной. Мимо проплыл маленький буксирчик.

«Когда достроят канал,— сказал Саша,— пароходы пойдут отсюда прямо в море. Но я не об этом хотел с тобой поговорить... Это,— каким-то странным тоном добавил он,— не имеет никакого отношения...»

«К чему?»

«К тому, что я хочу тебе сказать. Ты не удивился, что моего дяди не оказалось дома, когда ты приходил?»

«Ты же сказал мне, что он в отпуске».

«Ну так он не в отпуске. Он арестован».

«Как?! — вырвалось у Симона.— За что?»

«Не знаю,— сказал Саша. Лицо его стало непроницаемым.— Вот и все,— добавил он.— Я хотел, чтобы ты это знал. Но больше я тебе ничего не могу сказать. Я не знаю, в чем его вина. Я не знаю, что случилось. Конечно... в свое время он долго жил за границей. И для такого человека,

как он... не так-то легко приспособиться к новым условиям... Флакон из-под одеколона — это его...»

«Но, может быть, он не виноват? Ты не пытался узнать?»

Саша пожал плечами.

«Однажды за ним пришли — и все. Никаких объяснений».

Он взял Симона под руку и крепко стиснул его локоть.

«Послушай, я не только это хотел тебе сказать. Это частный случай. Я убежден, что дядя ни в чем не виноват. Он старый революционер. Но сейчас не в нем дело. Я хочу тебе вот что сказать: ты, вероятно, услышишь немало таких историй... или даже чего-нибудь похуже. Так вот, пойми меня хорошенько: это ничего не меняет. Усвой это как следует. Я скажу тебе сейчас одну удивительную вещь: если бы даже такое случилось со мной, это ничего бы не изменило в моих убеждениях, в наших убеждениях... И потом, вот что я тебе еще скажу: видимо, где-то засели мерзавцы, но Сталин ничего об этом не знает...»

Он выпустил руку Симона, тот стоял и смотрел на зеленоватую воду реки.

«Должно быть, это неизбежно, это цена, которую нам приходится платить... ведь мы живем в осажденной крепости. Только, пожалуйста, не рассказывай всего этого своей жене... Я говорю это для тебя... — и он грустно улыбнулся, — чтобы помочь тебе стать более сильным».

— Что же ты ему на все это ответил? — спросил Прево.

— Какую-то глупость. Я сказал: «Спасибо».

— Это не глупость. И тем не менее все это... даже эта драма... не более как эпизод.

— Ну, не думаю, — сказал Симон. — Нет, нет.

Прево не стал спорить. Они поднялись по широкой почерневшей деревянной лестнице, где пахло дезинфекцией.

Под сводами, возведенными неким королевским суперинтендантом, мечтавшим о величии, то тут, то там звучали песни. В общей спальне, где у приятелей койки были рядом, половина курсантов уже легла: одни спали, другие читали при свете карманных фонариков, третьи, сидя на соломенных тюфяках, переговаривались вполголоса, сворачивая обмотки. С огромной балки свисала на длинном проводе единственная лампочка, излучавшая слабый свет.

«Ну кому все это нужно?! Боже, какой идиотизм! —

думал Симон.— И все же когда-нибудь я, наверно, буду с удовольствием вспоминать казарму Клебера!»

Ему захотелось прервать тягостное молчание.

— Ты знаешь, я скоро буду жить на городской квартире,— объявил он, развязывая засалившиеся кожаные шнурки.— Женатым разрешают.

— Что ж, это вполне справедливо,— заметил Прево, старательно скатывая обмотки,— вполне справедливо. Но вообще говоря, семья сейчас ни к чему. Я считаю, мне повезло, что у меня никого нет. По крайней мере никто меня не ждет и я никого не жду.

— Да,— прошептал Симон.— Да, конечно.

Он подумал, что именно эта назойливая, жестокая и в то же время нежная привязанность подруги удерживает его от того шага, который он обязан был бы сделать, чтобы покончить с состоянием нерешительности, мешает положить конец мечтательному существованию, какое он ведет.

Прево, насвистывая, принялся разбирать постель, всегда так безукоризненно заправленную, что даже младший лейтенант с усмешечкой заметил однажды: «Что-то вы слишком стараетесь, Прево, слишком стараетесь!» Появилось несколько опоздавших: их встретили мычаньем, блеяньем, шуточками, отчего казарма сразу превратилась в дортуар коллежа, а ее обитатели помолодели на четыре или пять лет. Тотчас послышалось уже приевшееся всем изречение Пишо:

— Если так и дальше будет продолжаться, то долго не продолжится.

— Сами того не ведая, занимаются диалектикой,— заметил Прево,— как в свое время Журден не ведал, что говорил прозой.

— Мы даже воюем, сами того не ведая!— сказал Симон.— Такого еще никогда не бывало.— И он громко добавил: — Какая эпоха!

На это несколько голосов, согласно установившейся за эти несколько недель традиции, дружно отозвались:

— Эпическая!

Приятели молча курили. Издали донесся сигнал «тушить огни»; какой-то искусник долго тянул последнюю ноту на трубе.

— Не помнишь, кто это сказал,— спросил Симон,— что в последней ноте сигнала «тушить огни» заключена вся нелепость военной жизни?

— Не помню,— ответил Прево. И, повернувшись к Симону, неожиданно тихим голосом добавил: — Но ты так и не объяснил... что же мешает тебе... — Он помедлил и добавил: — Может быть, процессы?..

— Что? — не расслышав, переспросил Симон.

— Ты же понимаешь, о чем я говорю...

— Да, но ты выбрал для этого неподходящий момент. И он жестом указал на спящих.

— Скажи только одно: ты со всем был согласен или нет?..

В голосе его звучало беспокойство.

— Это явилось для меня, конечно, большим потрясением,— признался Симон.

— Но в конечном счете ты... ты со всем согласен?

— Да,— сказал Симон.

Прево положил руку ему на плечо.

— Знаешь, старина,— сказал он.— Мне это приятно слышать. Потому что человеку с еще не сложившимися взглядами... я имею в виду политические взгляды, конечно... это было трудно переварить.

— Да,— сказал Симон.

С поистине удивительной отчетливостью он вспомнил не только то, как воспринял вести о раскрытии серии контрреволюционных заговоров, докатившиеся до них из Москвы сначала в 1936, потом в 1937, потом в 1938 году, но и то, при каких обстоятельствах он об этом узнал: он увидел перрон вокзала в Сен-Реми, где одуряюще пахло сиренью, а он стоял и с лихорадочной поспешностью читал советский еженедельник на французском языке «Журналь де Моску», который он только что купил в киоске, пытаясь проникнуть сквозь туман непонятных выражений, пугавших его своей резкостью, постичь всю глубину трагедий и найти нечто похожее в революционной истории Франции. Постепенно он не только убедил себя в виновности обвиняемых, но и в том, что на первый взгляд было гораздо сложнее: в психологическом правдоподобии совершенных ими измен. Ведь мог же Мирабо, произнесший знаменитую фразу: «Мы держимся здесь силою штыков...», вступить затем в сговор с двором; мог же Дантон — тот самый Дантон, революционный гений которого признавал даже Ленин,— позволить себя подкупить; мог же Дюмурье, победитель под Вальми, перейти на сторону Австрии; почему же русская революция не могла быть

предана людьми, которые сначала служили ей, но с течением времени, устав от борьбы с внутренним врагом, смалодушничали и стали искать поддержки за пределами страны? Такое объяснение подкреплялось еще и тем, что большинство обвиняемых признало свою вину, хотя, казалось бы, ничто не понуждало их сознаться, а тем более — покаяться. Однако раны, нанесенные Симону этими трагедиями, еще не зажили до конца. Вот почему на вопрос Прево, с тревогой спрашивавшего, со всем ли он согласен, Симон, не кривя душой, мог ответить «да», но не больше. Он убеждал себя, что со временем память об этих событиях сотрется и он сможет принять революцию в целом, а много позже, уже при коммунистическом обществе, люди будут воспринимать это как эпизоды битвы, отошедшей в прошлое и вызывающей при чтении не больше волнения, чем, скажем, вызывает сегодня у верующего кровавая история первых лет христианства.

Симон окинул взглядом спящих вокруг людей. Большинство лежало, закрывшись с головой одеялом, и мирно похрапывало. На улице поднялся ветер, и грязные стекла покрылись блестящими капельками дождя.

— Как бы то ни было, — сказал он, — но вот мы заговорили с тобой, и все началось сначала. Ей-богу, я бы никогда не поверил, что так будет. Я еще слышу твою речь перед показом фильма, — он опустил название, как будто эти два слова «Броненосец «Потемкин» могли разбудить спящих и их ненависть (скорей всего, это была бы ненависть) ко всему, что они символизируют. — Ты знал, что в зале сидел Андре Жид? Я видел его тогда так близко в первый и последний раз...

— Грязная сволочь, — буркнул Прево.

— Да, — согласился Симон. — Но в том, что произошло, мы сами виноваты: неужели неясно было, что он собой представляет? Нас тогда подкупила эта благородная внешность римского императора!.. Как вспомню, что именно он произнес речь на Красной площади во время похорон Горького! Черт знает что...

— Он не единственный в своем роде, — заметил Прево. — Не стоит расстраиваться.

— А я и не расстраиваюсь, — сказал Симон. — Просто я лишний раз убеждаюсь в том, как надо относиться к подобным людям. Помнишь, какие Андре Жид слал телеграммы, какие делал заявления во время своего путешествия

по России в тридцать шестом году? Какую бодрость вливали его слова! Он посетил-де не рай земной, а царство небесное... Как ты думаешь, он уже знал тогда, что потом напишет?.. Я имею в виду ту книгу, которую он издал после своего возвращения. Возможно, еще не знал...

— Через двадцать лет,— сказал Прево,— никто и читать-то его не станет. Молодежь не будет даже имени его знать. Так что не все ли равно, жил он или не жил... Прошел по жизни, не оставив следа, вот и все...

Симон вспомнил, какие телеграммы посылал писатель, приехавший в СССР не только как человек, который интересуется политическим строем страны или сочувствует ему, но как его сторонник,— советским организациям, принимавшим его, и даже самому Сталину, которого он всячески превозносил. Симон не забыл удивительной фотографии в «Журналь де Моску», где автор «Имморалиста» и «Узких врат» улыбался среди цветов, преподнесенных пионерами. Андре Жид попросил, чтобы такая же фотография — фотография, на которой он выглядел бы молодым и веселым,— была помещена в русском издании собрания его сочинений... Как же могли эти правдивые губы — губы, которые, по его словам, не умеют лгать,— как могли они так солгать, а он сам — как он мог, едва вернувшись во Францию, оплывать все то, что во всеуслышание превозносил в СССР?! Со всей изощренностью опытного в таких вещах человека он, видите ли, изволил забавляться. Увидел предлог для упражнений в изящной словесности.

— Когда он вернулся,— продолжал Прево,— ему, очевидно, объяснили, что он достаточно долго валял дурака и пора браться за ум... Можешь представить себе, какое давление было на него оказано...

— Нет,— сказал Симон,— я не могу этому поверить... Кто мог оказать на него давление?

— Полицейские,— сказал Прево.— Не какая-нибудь мелочь, конечно, а высшие полицейские чины...

— Ты в самом деле так думаешь?

— Для историка ты слишком наивен,— заметил Прево.— Ты считаешь, что можно интересоваться мальчиками... и даже создать по этому поводу целую теорию, и все это безнаказанно сойдет тебе с рук?

— Но в таком случае его давно призвали бы к порядку,— возразил Симон.— Скажем, когда он ездил в Конго...

— Его поездка в Конго, по-видимому, никого не интере-

совала. Пока человек не посягает на самое сокровенное, никто не обращает на него внимания. Можешь сколько угодно выступать в защиту негров — всем на это плевать, лишь бы ты не требовал независимости колоний... Можешь, если угодно, быть социалистом... легкий социалистический душок — это даже неплохо... но быть коммунистом — это уже другое дело, об этом и помышлять не смей...

Прево говорил почти шепотом. Симону показалось, что он различил в последних словах упрек в свой адрес. «Неужели я боюсь? — подумал он. — Не воздерживаюсь ли я от вступления в партию из страха перед репрессиями? Из страха перед смертью, ибо в конечном счете ведь об этом идет речь?» Он молчал.

— Ладно, давай спать, — заявил Прево. — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Прево завернулся в шинель и прикрыл глаза пилоткой, чтобы не мешал мерцающий свет в окне. По стеклам барабанил дождь. Из всех углов спальни неся храп. Похрустывала солома, когда спящие поворачивались во сне.

— Ты спишь? — спросил Симон.

— Нет еще.

— Я хочу тебе сказать одну страшную глупость: когда вокруг нас... вот так, как сейчас, есть люди... я... я очень боюсь смерти... Это тоже романтика, да?

— Только круглые идиоты и люди, которым опостылела жизнь, не боятся смерти, — сказал Прево. Он иронически хмыкнул: — Какая глубина мысли, а? Мальро да и только!

— Мальро мне очень помог, — сказал Симон. — Хотя в его книгах действие происходит всегда где-то далеко... Ты понимаешь, что я хочу сказать: в его книгах люди умирают в горах Испании или в Китае. И всегда так красиво...

Кто-то крикнул:

— Да заткнитесь вы, черт возьми!

Симон натянул до подбородка шершавое отсыревшее одеяло, от которого пахло дезинфекцией. Тюфячок был такой тонкий, что у Симона заболели бока. Он вспомнил, что скоро у него будет городская квартира и Камила придет к нему. Он прошептал: «Любимая, моя нежно любимая!» Потом ему привиделась война. Он уже труп. Еще один крест среди миллионов крестов. Как быстро пролетела молодость! Он даже не успел осознать, что часть его жизни уже прошла.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1940

НА БЕРЕГАХ ЛУАРЫ

Прево взял валявшуюся на земле лопату и принялся копать.
— Что, Рыжий,— спросил Симон,— показываем личный пример?

— А почему бы и нет?

По окончании специальной военной школы в середине мая 1940 года несколько человек — в том числе и они — были направлены на распределительные пункты Парижского района, где командование пыталось собрать остатки частей, а также солдат-одиночек, отступавших к югу после того, как немцы прорвали фронт. Борд и Прево оказались вместе в маленьком городишке, где возле каждого дома был огород. На дорогах были установлены импровизированные заграждения, у которых несли службу солдаты из разных частей, чье настроение можно было выразить одной фразой: «И какого черта мы тут торчим?» Симон подписывал какие-то бумаги и проводил утреннюю поверку. Время от времени он устраивал своему взводу пробежку вдоль огородов с ранними овощами, где так приятно пахло лошадиным навозом. Небо было голубое, как никогда, воздух наполнен птичьим гомоном. Солдаты болтали, неторопливо бредя по дороге. Однако при входе в городок они подтяги-

вались и последние сотни метров шли, чеканя шаг. Однажды им навстречу попался капитан, и Симон услышал вполне заслуженное: «Отлично, ребята!», о чем он имел неосторожность рассказать во время обеда. Ну и смеху же было! Обедали они в банкетном зале одного кабака, куда парижане по воскресеньям приезжали танцевать, и кормили их, по общему мнению, отменно. Симон дважды в день встречался здесь с Прево. Пообедав, они выходили на шоссе выкурить сигарету и, как правило, продолжали разговор, который начали еще в казарме Клебера и который изматывающая, строгая дисциплина военной школы вынудила их прервать. До конца мая оба считали, что война разворачивается так, как и предполагалось, — иными словами, по схеме, сходной с той, по которой протекала война 1914 года: немцы нарушают нейтралитет Бельгии, теснят застигнутых врасплох французов, вторгаются на север Франции, но третья битва на Марне останавливает противника. После этого начинается позиционная война и т. д. и т. п. При таком положении вещей их роль была ясна. Их держат в резерве для битвы на Марне. Неподготовленность к войне, которая ощущалась сейчас на каждом шагу, стнюдь не походила на то, что было зимой, когда шла «странная война», — нет, это был обычный беспорядок, царящий на фронте при перегруппировке сил, беспорядок, предшествующий внезапному маневру, который должен принести спасительную победу. Симон больше не ощущал беспокойства. Страх смерти неожиданно покинул его в ту минуту, когда, столкнувшись на лестнице с лейтенантом-инструктором, оглушительно крикнувшим: «Боши вошли в Голландию!», он узнал, что началась настоящая война. Так успокаивается человек, увидев, что несчастье, которого он давно ожидал, разразилось. Остается только закрыть глаза и ждать. И Симон готовился к третьей битве на Марне. Ничего другого не оставалось. Эта война, начавшаяся так нелепо, становилась наконец настоящей войной.

Они испытали первую бомбежку, кстати, предназначавшуюся не для них. Они в это время завтракали в кабаке, и оконные стекла добрых пять минут сотрясались от взрывов. Никто не поднялся из-за стола, лишь краешком глаза каждый наблюдал за соседом, желая убедиться, не побледнел ли тот. К всеобщему удивлению, побледнел капитан. А ведь он был еще под Верденом! Должно быть, он испугался внезапно оживших воспоминаний. А потом люди от

всего устают... Все побежали смотреть на опустошения, произведенные бомбежкой. На дороге валялась мертвая корова, вся в крови и навозе.

— Невинная жертва людского безумия, — заметил Прево.

— Первый труп, который я вижу на этой войне, — заметил Симон.

В начале июня представления о ходе войны пришлось пересматривать. О битве на Марне не могло быть и речи. Тогда, значит, битва на Луаре? Это уже походило на семидесятый год. Им сказали: «Добирайтесь до Луары, как сумеете и на чем сумеете». Симон объяснил своим людям положение дел, но при виде их радости — еще бы, ведь они будут отступать на юг! — у него не хватило духу сказать, что им вменено в обязанность занять рубежи на Луаре. Он сказал только, что они отступают к Луаре.

На грузовиках они обогнули Париж с юга и проехали в двух километрах от Сен-Реми. Камила эвакуировалась из города с предприятиями Минтодоль, где она по-прежнему работала секретаршей. Только тут Симон ощутил горечь поражения. Париж опустел для него: его любви там уже не было. А пригород умирал, отходя в прошлое вместе с голубятнями, над которыми кружили растерянные голуби, и распахнутыми настежь кроличьими клетками. И Симон вдруг с болью осознал, что этот мирок — мирок Сен-Реми — уничтожен навсегда. Симон совсем не любил его, но вместе с ним отходила в прошлое и его юность.

Между Сеной и Луарой разбежалась половина личного состава, вверенного его попечению. Сундучок Симона исчез вместе с пикапом, на который он его поставил. Но исчезновение этого металлического ящика, выкрашенного зеленой краской, по которой крупными белыми буквами было выведено «С. Б.», служило как бы символом того, что отошла в прошлое и «война по Аполлинеру», как называли ее Симон и Прево из-за одной аполлинеровской строчки, которую они назойливо твердили, словно припев: «Мой бог, как война красива!» От этой войны у Симона остался лишь провиантский мешок да револьвер в новенькой желтой кобуре. Он не раз забавлялся, играя револьвером, таким же ненужным, как шпага академика. Голубоватая сталь блесла. Оружие было отлично смазано. Как-то вечером Симон выпустил две пули в спокойную гладь лужи. По наивности он вообразил, что это произведет такой же эффект,

как взрыв гранаты. Но лишь две-три лягушки выпрыгнули из воды и нырнули обратно.

На Луару Симон и его взвод выбрались в районе юго-восточнее Орлеана. Они шли, избегая шоссе, запруженных беженцами, над которыми кружили вражеские самолеты, оставляя после себя высокие столбы черного дыма. Ничем не связанные, ловкие, не обремененные ни женами, ни детьми, сытые, солдаты легче переносили войну, чем гражданское население. Какой-то полковник, еще, видимо, сохранивший присутствие духа, приказал взводу Симона занять правый берег реки. Никто толком не знал, где они находятся.

— Окопайтесь,— сказал полковник.— Остаются те, кто хочет. Силой никого не принуждайте...

Солдаты окапывались не торопясь, иные вовсе ничего не делали. Поэтому-то Прево и взялся за лопату, чтобы подать пример.

— Схожу-ка я в деревню,— сказал Симон.

Он стал спускаться в долину. Его подбитые гвоздями башмаки топтали ландыши во мху. Весенний воздух пьянил Симона. Раз два или три он повторил про себя: «Мой бог, как война красива!»

Прево остался один на один с каким-то парнем, который хмуро смотрел на него. Прево и за лопату-то взялся, чтобы заразить его своим примером. Он не знал этого человека и решил испытать на нем могущество своих новеньких нашивок.

— Ну кому это нужно? — буркнул вдруг парень.— Кому это, черт возьми, нужно?

— Чего ты там ворчишь? — обратился к нему Прево.— Все равно нам торчать здесь до утра. Ведь если какие-то мосты еще и уцелели, то они находятся под обстрелом. Значит, надо делать то, что положено.

— А для чего делать-то? — заметил парень.— Послушайте, господин лейтенант, неужели вы думаете, что мы их здесь остановим? Это же ерунда! Битва на Луаре, что ли?

Прево пожал плечами, продолжая копать. Но все-таки ему стало немного легче от того, что парень назвал его «господин лейтенант». Он этого не ожидал.

— Они ведь к самому Парижу подкатились, так, что ли? — продолжал парень.

— Париж,— сказал Прево,— это еще не вся Франция.

— А я парижанин,— отрезал солдат.— Значит, если они в Париже, сами понимаете...

У него было красивое мрачное лицо, обрамленное круглой бородкой.

— Вы что, не слушаете радио?

— Слушаю,— сказал Прево, хотя на самом деле ничего не слышал,— но я плюю на такие вещи.

— Одни мы, вот что,— сказал солдат.

— Кто это мы?

— Французы,— пояснил солдат.— Старая история: англичане, как всегда, смылись, а русские подписали соглашение с бошами.

— Оставь русских в покое,— сказал Прево.

— А я их и не упрекаю,— заметил парень.— Они не такие дураки, как мы.

Прево промолчал. Он глубоко вобрал в легкие теплый воздух. Пахло свежей водой и зеленью. Вдали медленно текла река, огибая песчаные отмели, позолоченные заходящим солнцем.

— Почему ты не окапываешься? — спросил он, стараясь говорить возможно убедительнее.— Вечером, если начнется бомбежка, ты еще как обрадуешься этой дыре.

— Нехорошее здесь место.

— Что поделаешь, не мы его выбирали.

Парень внезапно повернулся и, не попрощавшись, зашагал вдоль орешника к деревне.

— Так,— промолвил Прево.

Он вспотел и опустился на землю; положив лопату между ног, он провел рукой по влажному лбу, на котором слой пыли, смешанной с потом, образовал подобие маски. «Бордель! Форменный бордель!» — прошептал он.

Когда Симон вошел в деревню, жителей там почти не оказалось — хозяйничали одни военные. Все эти люди, которые несколько часов назад тащились куда-то, не зная зачем, сейчас, казалось, обрели цель — они устраивались на ночлег. Несколько грузовиков стояло на площади вокруг памятника погибшим.

— Неплохую вы тут создали мишень,— заметил Симон. Никто не отозвался.

— Я ведь для вашего же блага говорю,— добавил он, нарочито усталым жестом взмахнув рукой.

— Не станем же мы торчать тут до бесконечности,— заметил кто-то.

— А как на войне бывает, сами знаем. Вдосталь наглядись. Правда, ребята?

— Еще бы,— буркнул один из шоферов.

Симону вдруг стало стыдно за свою еще совсем новую форму, на которой война оставила единственный след — пятна под мышками. Какое, собственно, он имеет право учить этих людей, которые отступают от самой Бельгии? И ему страстно захотелось хоть раз побывать в огне. Миллионы людей, мирное гражданское население — женщины, дети, старики — ощутили на себе дыхание смерти, а он... У него есть форма, каска, новенький револьвер — револьвер, которым он еще ни разу не пользовался, если не считать двух пуль, выпущенных в сонную гладь лужицы и потревоживших лишь буколических лягушек... Тут он вдруг заметил, что у входа в мэрию начал собираться народ. Толпа росла, как она растет на улице, где только что произошел несчастный случай, объединяя людей, которые до этой минуты существовали каждый по себе. В толпе у многих были какие-то обновленные лица, будто в них вдохнули жизнь. Иные стояли понуро, с потухшим взором, еще более мрачные, чем те солдаты, что бродили по улицам или преследовали бездомных кур.

— Что случилось? — спросил Симон. — В чем дело?

— Говорят, — отозвался кто-то, — что русские объявили Германии войну. По радио передавали.

Сердце у Симона вдруг забилося медленнее, глуше.

— Вы в этом уверены? — спросил он.

Слева с трудом сходили у него с языка.

— Может, оно и неправда, но об этом по радио передавали.

— Кто-нибудь сам слышал?

— Конечно, слышал.

В голове у Симона стоял гул.

— Это все меняет, — заметил кто-то.

— Если это правда, значит, черт побери, снова придется тянуть лямку.

Тот же голос звучал и в душе Симона. «Значит, война не кончится. Произведут перегруппировку сил, и ты не увидишь Камиллы», — твердил этот голос, заглушая другой голос, шептавший, что теперь все будет в порядке. Симон не решался поверить услышанному.

— Все логично, — заметил кто-то. — Этого следовало ожидать.

Симон медленно пересек площадь, не слыша нарастающего гула голосов. Все новые люди бежали к мэрии.

У опушки орешника, уже окутанного мглой, Симону вдруг послышались звуки «Интернационала», но он тотчас понял, что «Интернационал» звучит у него в душе.

НЕЛЕПАЯ СМЕРТЬ



Симон твердил про себя: «Не может быть, не может быть. Это невероятно!» Потом неизъяснимое волнение овладело им, и он бросился бежать, чтобы первым сообщить новость Прево. На безлесом пригорке еще царил день. Прево был один, он лежал на боку в траве и курил. Над золотой рекой носились стрижи. Симон крикнул:

— СССР вступил в войну!

Прево рывком вскочил, отшвырнул в сторону сигарету.

— Что ты болтаешь? Ты в этом уверен? — голос изменил ему. — Откуда... откуда тебе это известно?

— Я узнал в деревне, передавали по радио.

— Ты сам это слышал?

— Да, — не моргнув глазом ответил Симон.

В эту минуту ему действительно казалось, что он сам это слышал.

Прево надел каску, сжал руками лоб.

— Голова идет кругом, — сказал он. — Но признайся: я ведь никогда не сомневался, что так оно и будет. Помнишь, что я говорил тебе, когда мы служили во взводе? Помнишь? — Он обнял Симона за плечи. — Ах, старина, до чего же я рад! Значит, в тридцать девятом не могли они поступить иначе. Это было необходимо. Но то, что произошло сегодня, мне куда больше по душе! Ах, черт возьми, черт возьми! Пошли в деревню...

— А где твои молодцы?

— Пасутся где-то на природе... В общем это понятно: сердце у них не лежало ко всей этой кутерьме. Но теперь ты увидишь, что будет! Ты увидишь, какая произойдет перемена! Увидишь! А до чего наши товарищи будут довольны! Но ты уверен, что это правда?

— Я же сказал тебе, что передавали по радио...

Они пошли вниз по тропинке, глубоко увязая в мелком

песке. За одним из поворотов Луара предстала перед ними уже не золотой, а серебряной лентой. Рыбки, блеснув, выпрыгивали из воды.

— Хотелось бы мне жить в деревне, — заметил Симон. — Ходил бы на рыбалку, вечером возвращался бы домой в сопровождении пса.

Оба рассмеялись.

До слуха их донесся треск моторов — шли грузовики.

— Двинулись, — заметил Прево.

— Ты считаешь, что все уже изменилось?

— Конечно, — сказал Прево, — ...если только известие не ложное... Ведь могли пустить утку, чтоб посмотреть, какая будет реакция. Выявят кого надо, а потом — пожалуйста сюда, господа хорошие... Не говоря уже о том, какое это вызовет разочарование и как отрицательно скажется на отношении к СССР...

Внизу, по дороге, уже окутанной сумраком, в какой-нибудь сотне метров от них двигалась колонна грузовиков, урчали моторы, скрежетали тормоза.

Приятелям показалось, что под брезентом они различают пушки. Они замедлили шаг, затем остановились. Симон подумал, уж не стремится ли он подсознательно отдалить наступление минуты, когда в деревне они узнают правду.

— Знаешь, — наконец сказал он, — я ведь, собственно, не сам слышал радио. Но ребята-то все-таки слышали...

— Значит, ты не слышал? — спросил Прево.

— Я и сам не знаю, слышал я или нет, — сказал Симон. — Ты же знаешь, как становятся известными такие новости...

— Запомни одно, — сказал Прево, — если сегодня это еще не правда, то рано или поздно это все равно произойдет...

До них долетели звуки взрывов — они следовали один за другим.

— Где Орлеан? — спросил Симон.

— Слева от нас, — ответил Прево. — А что?

— Далеко отсюда?

— Да километров двадцать, по-моему.

— Тогда был бы виден собор, — заметил Симон.

Он отломил ветку орешника и стал обдирать кору.

В небе загорелись звезды. Услышав звук самолетов, приятели подняли голову.

— Вот свиньи,— сказал Симон.— Развлекаются! Для них это действительно красивая война. А у нас ничего нет...

— Ну, этого мы не знаем,— перебил его Прево.— О том, как все было на самом деле, станет известно лет через десять или двадцать, когда историки изучат вопрос, а сейчас мы можем только предполагать. Догадываться по слухам... Мы же ничего не знаем...— Он вздохнул.— Как видишь, я все-таки правильно поступил, решив окапываться... Пошли...

Спустившись на дорогу, они некоторое время шли вдоль колонны грузовиков. Никаких пушек на грузовиках не оказалось. Люди, сидевшие в машинах, перекликались друг с другом, но рев моторов заглушал их голоса. В воздухе висел густой запах бензина и пыли. Стояла светлая июньская ночь: под брезентовыми навесами видны были хмурые лица. Симон машинально похлопывал по ноге веточкой орешника.

— Наверно, это неправда,— заметил Прево.— Иначе они бы знали.

— А может, они и знают?

— Нет,— сказал Прево.— Они вели бы себя по-другому. Все было бы по-другому. А это все то же, что мы уже видели...

У въезда в деревню дорога делала крутую петлю, возле которой образовалась пробка. Большим грузовикам приходилось маневрировать, чтобы дважды развернуться. Какой-то сержант, размахивая карманным фонариком, что-то кричал, но слова его тонули в грохоте грузовиков, то включавших, то выключавших скорости. Симон и Прево прижались к стене какой-то фермы. Один из грузовиков неожиданно дал задний ход. Люди, сидевшие под брезентом, закричали, зачехлялись.

— Что такое? — воскликнул Симон.— В чем дело?

Он видел при свете фар изодранную в клочья афишу, оповещавшую о том, что летом здесь гастролировал цирк. Прошло несколько секунд, прежде чем он заметил среди группы жестикулирующих, толкающихся людей Прево, лежавшего на земле почти у самых его ног.

— Задело его,— сказал кто-то.— Эх, черт! Надо же было так задеть! Придется отнести его на ферму.

Симон услышал еще, как кто-то сказал:

— Жив пока. Внутреннее кровоизлияние. В таких случаях ничего не поймешь. Он еще дышет. Но протянет недолго. И чего он здесь торчал!

Симон настолько оторопел, что ничего не чувствовал. Он машинально пошел за солдатами, которые подняли Прево и понесли на ферму. Он услышал, как кто-то сказал:

— Вы мне испачкаете покрывало!

— Ну так сними, бабушка, свое покрывало. Да поживее, черт подери!

Крестьянская кровать оказалась чересчур высокой. Пришлось уложить Прево на три соломенных стула. В комнате горела лишь крохотная керосиновая лампа и было почти темно.

— Вот уже два дня, как нет тока,— сказала женщина.— Я никуда не пошла. Слишком я старая. А скотина вся разбежалась.

— Вот скупердяи,— заметил один из солдат,— только и думают о своей мощне!

— Боюсь, что ему ничем нельзя помочь,— сказал кто-то, обращаясь к Симону.

Только тут Симон увидел лицо Прево, перепачканное землей, смертельно бледное под шапкой рыжих волос, и понял, что произошло. Он нагнулся к раненому и в тревоге прошептал:

— Рыжий! Рыжий! — Симон ведь никогда не звал его по имени. И тихо добавил: — Но какой идиотизм! Какой идиотизм!

Он взял помертвевшую руку, свисавшую с импровизированного ложа, приподнял ее и осторожно сжал ладонями.

— Вам, может, чего-нибудь надо? — спросила старуха. — Только вот горячего у меня ничего нет.

Симону показалось, что грудь Прево слегка приподнялась. Он нагнулся к нему и, приблизив губы к самому его уху, перепачканному кровью, прошептал:

— Знаешь, Рыжий, а слух-то подтвердился! Насчет России — подтвердился!

Впоследствии он не раз убеждал себя, что в эту минуту на побледневших губах промелькнула легкая улыбка.

Старуха подошла к ходикам.

— Что вы делаете? — спросил Симон.

— Так уж положено.

И она остановила маятник. Человек, сказавший, что Прево уже ничем нельзя помочь, спросил Симона, знает ли он покойного.

— Да,— сказал Симон,— это мой товарищ.

Только тут Симон заметил, что у спрашивавшего нашивки военного врача.

— В таком случае возьмите его документы.

— Хорошо,— сказал Симон, но не двинулся с места, потрясенный внезапностью случившегося; в его представлении это никак не вязалось с тем, что может произойти на войне.

— Вы здесь один? — спросил врач.

— Фактически да,— сказал Симон.

— Хотите, я возьму вас с собой? Здесь нам больше нечего делать.

— Спасибо,— сказал Симон.

Он постоял еще немного, глядя на покойника. Он пытался собрать воедино все воспоминания о Прево, но, потрясенный новым для него зрелищем внезапной смерти, не мог сосредоточиться. Наконец образ Прево, стоящего на авансцене желтого зала в Бельвиле, возник в его памяти, и тут же возник другой образ — образ пены, поднятой винтом «Потемкина». Слезы застлали Симону глаза. И он поспешно вышел, забыв взять документы покойного.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1944

РАЗГОВОР В ПОЕЗДЕ

Когда подъезжали к Мелэну, стало совсем темно, зажглись синие лампочки, поезд замедлил ход, затем с лязгом и грохотом остановился. Где-то далеко впереди пыхтел паровоз. Под чьими-то поспешными шагами посыпались камешки насыпи. Зазвучали голоса, эхом раскатывавшиеся по ночному, безмолвному лесу. Пассажиры сразу узнали немецкую речь. Разговоры прекратились, каждый думал о своем. Шаги замерли. Кто-то в купе прошептал:

— Это не за нами.

Сердце Симона глухо билось, дышать стало трудно. Он вспомнил, что в Лион-Перраше видел, как в вагон вошел человек с двумя новенькими чемоданами, в котором он признал одного из связных Бюзара. Хорошо все-таки, что существует такой Бюзар. Значит, в иных случаях безрассудство оправдывает себя. Бюзар занимается изготовлением и переправкой фальшивых документов с таким видом, словно речь идет о любовных приключениях. И пока что все сходит ему с рук...

Шаги и голоса снова стали приближаться. Кто-то открыл дверь их вагона.

— Это за нами,— прошептал сосед Симона.

Шаги раздались в коридоре — застучали кованые сапоги. Симон подумал, что это, пожалуй, не так страшно. Раз идут военные, пусть даже эсэсовцы, значит, происходит простая проверка документов. Едва ли они ищут кого-то. Да, но зачем в таком случае остановили поезд среди леса?

Луч электрического фонарика скользнул по купе, и в дверном проеме возник силуэт жандарма. На его широкой груди поблескивала медная бляха. От жандарма пахло хорошим табаком, это был запах довоенный, почти забытый.

— Всем оставаться на местах! — приказал он.

У него была ленточка за участие в русской кампании. Вдруг он щелкнул каблуками и посторонился. В дверях показался офицер. Высокая фуражка, серые перчатки. У него тоже была ленточка за участие в русской кампании.

— Попрошу документы, — сказал он.

Говорил он почти без акцента. Симон смотрел на него, как замороженный. За эти три года он видел сотни таких офицеров и всякий раз испытывал одно и то же ощущение. Иные пытались утверждать, что это пустое место, что можно пройти мимо такого и не заметить, но это неправда. Просто люди хотят убедить себя, что присутствие немцев ничего не означает, что поражения вроде бы и не было. Но это неправда. Весь облик офицера, его манеры до смешного походили на то, каким, по мнению Симона, и должен быть немец-военный. Хотя офицер щеголял в современной форме, это был типичный всадник-рейтар средневековых религиозных войн. Из-за плеча такого всегда торчит холодный лысый череп смерти. Вот офицер берет чьи-то документы. И почти все пассажиры выдавливают из себя улыбку. Настанет день, когда эта неуместная улыбка исчезнет со страниц истории. И будут показывать назидательные фильмы, где скромная француженка, выполняющая задание некой подпольной организации, гордо и дерзко протягивает документы немецкому офицеру, потрясенному ее красотой. Так надо. А тот фильм, который мог бы быть снят сейчас, 23 апреля 1944 года, в купе курьерского поезда Лион — Париж, ни для кого не будет интересен. Офицер вежлив. Возвращая документы, он говорит: «Мерси». И даже: «Благодарю вас». Один раз он произнес эту фразу по-немецки. Но тут же повторил ее по-французски. Чемоданами он не интересуется. Он не приказывает

жандарму стать на четвереньки и проверить, что лежит под сиденьями, хотя обязан был бы это сделать. Он не замечает, что у пассажира, сидящего справа от Симона, как раз такой профиль, на который в инструкциях по расовому вопросу рекомендуется обращать особое внимание. Его, наверно, давно уже перестали интересовать идеи, которые он нес в себе утром 22 июня 1941 года, когда переправлялся через Буг в каске, убранный зеленью, намереваясь красиво повоевать жарким летом среди горящей ржи. Но все, что положено делать, чтобы его не отождествляли из Мелэна, он делает. И делает весьма тщательно, так что его ни в чем нельзя упрекнуть. Сейчас он держит в руке, обтянутой перчаткой, документы печального человечка с вымученной улыбкой, который сидит справа от Симона.

— Прошу вас: год и место рождения?

Видно, он из бывалых. Он знает, что люди иногда забывают выучить наизусть данные фальшивых документов. Все купе смотрит на печального человечка.

— Пятнадцатое мая тысяча девятьсот пятого года, Руан,— отвечает человечек. Он произносит: «девятьсот».

— Мерси,— говорит офицер, поворачивается и уходит.

Человечек закрывает глаза, с его лица сползает улыбка. «Надо было ему выбрать другую дату,— думает Симон,— ему трудно произносить «девятьсот». Да, но и «восемьсот» было бы, пожалуй, не лучше. Он бы и на этой цифре споткнулся. Так что все едино». Жандарм берет под козырек и закрывает дверцу купе.

— Фу, какая ерунда, а мы-то волновались! — произносит кто-то.

Жизнь возвращается в свою колею.

— А мне после таких штук всегда есть хочется. Хотя, казалось бы, пора и привыкнуть...

— Думаете, мы теперь тронемся?.. Ведь они, наверно, кого-то ищут. А потом они проверяют пути: нет ли бомб... На этой линии однажды уже взорвали поезд. Пассажирский, конечно. Я лично считаю это возмутительным. Пусть дерутся между собой, а людей оставят в покое. Люди ничего не требуют, лишь бы их оставили в покое.

Симон пытается угадать, кто из пассажиров завладел разговором. Взгляд его падает на человека упитанного и самодовольного. Не слишком толстого. Просто упитанного и здорового. В петлице у него розетка ордена Почетного легиона и еще какой-то значок.

— Да, но на войне,— осторожно замечает Симон,— бывает, что собственная артиллерия стреляет по своим.

— Позвольте, мосье, какая же это война? Что такое война — я знаю, но это же не война. Сплошной идиотизм. А вот, полюбуйтесь, и результат...— И он указал большим пальцем за окно, на черную ночь и лес, словно эта остановка курьерского поезда Лион — Париж в лесу Фонтенбло и вызванное ею опоздание — единственный результат деятельности движения Сопротивления.— Вот, полюбуйтесь...

Симон отводит взгляд и молчит. Все молчат.

— Н-да,— произносит кто-то,— будем надеяться, что этому скоро придет конец.

— Теперь уже недолго осталось.

— Вот увидите, они непременно что-нибудь придумают. У них есть секретное оружие.

— Да, но в России...

— Ну, что им стоит рискнуть! Черт побери! Будь я на их месте, двинул бы я миллион парней на узком участке фронта и... Первые двести тысяч сложили бы головы, а остальные прошли бы.

— Однако вы смело шагаете!

— На войне нельзя иначе.

— А вы сами-то знаете, что такое война?

— Да, но кого вы, собственно, имеете в виду? — спросил Симон.— Этот миллион парней — кто они?

— Ну... вы прекрасно понимаете, кто.

— Хорошо, что вас никто не слышит,— заметил, обращаясь к новоявленному стратегу, кавалер ордена Почетного легиона.

— А мне плевать, слышат меня или нет,— заявил стратег.

— До поры до времени...

— До любой поры!

— Ну, браво, браво!

— Да, но вы говорите, что двести тысяч парней сложат головы, а остальные пройдут. Вы отдаете себе отчет в том, что вы предлагаете?

— Что ни говорите, а русские — храбрый народ. Как сенегальцы... Они не дорожат жизнью. Так что почему бы и не попробовать?

— А нас в сороковом году как раз и погубила любовь к жизни. Впрочем, чему тут удивляться, это вполне есте-

ственное чувство, правда? Говорите, что хотите, а у нас во Франции был рай земной.

— Да, но они не похожи на нас, у них другое отношение к жизни...

— Тем не менее...— заметил Симон.

— Без них война бы кончилась два года назад,— заявил кавалер ордена Почетного легиона.— У нас уже был бы мир.

— Это вы так считаете!

— Да, а вы как считаете? Вы считаете, что было бы лучше, если бы война кончилась?

— А разве все так не считают?

— Вы так считаете, а как же, по-вашему, она должна кончиться?

— Кончиться — вот и все.

— Пусть они сами между собой договариваются.

— Кто это они?

— Фрицы и голлисты.

— Именно этим они и занимаются, разве не так?

— Я только хочу сказать, что они нам осточертели. Во-первых, кому это нужно? Это все равно что колоть иголкой слона.

— Да, но у этого слона ноги отморожены.

— Некоторые считают, что они умнее всех!

— Что, уже и пошутить нельзя?

— Не во Франции мы, что ли?

— Можно подумать, что не во Франции!

— Вот в девятьсот четырнадцатом — восемнадцатом это была война!

— А сейчас что же, не война?

— Война, да еще какая!

— Не преувеличивайте, самая обыкновенная война!

— Что-то вы слишком разболтались. Как бы это вам не повредило.

— Вы ведете себя точно ученики на перемене,— заметил Симон.— Классный наставник вышел, вы и расшумелись.

— И все же, когда взлетает на воздух поезд с французами, это довольно противно.

— Я, например, никогда не слушаю радио. Поживем — увидим.

— Никогда этому не будет конца. Одна война кончится, другая начнется... И так каждые двадцать лет.

Все они думают: «Ох и долго же тянется эта война!», хотя большинство сидит в надежном укрытии и нося из него не кажется. Только когда это укрытие, не дай бог, заденут, они вспоминают, что там, за его стенами, идет война; там дерутся люди, которым негде укрыться. Тогда они говорят: «Ох и долго же тянется эта война!» Они сейчас знают наизусть названия, которые с годами забудут: Орел, Великие Луки, Курск, Воронеж. Они запомнили их в тот вечер, когда, прильнув ухом к приемнику, слушали радио. Они забудут их, когда больше не нужно будет сидеть, прильнув ухом к приемнику, когда вернутся хорошие времена.

Разговор возобновляется — все тот же, однообразный, тревожный: «Ну чего мы тут торчим?» — «Не понимаю, почему они обстреливают пассажирские поезда!» — «Американцы бросают свои ядрышки куда попало, а вот англичане, заметьте, те более корректны. Они метят в паровоз». — «Нет, это просто глупо — стоять здесь». — «Вы представляете себе, как сверху должен быть виден огонь в паровозной топке!» — «Синие лампочки тоже достаточно хорошо видны». — «А мы слышали бы, если бы в Мелэне завывали сирены?» — «Еще бы, конечно!» — «А вот когда мою невестку убило во время налета, сирены завывали только через пять минут!» — «Во Франции всегда так, сплошная бестолковщина. Тут уж ничего не поделаешь».

«Если я умру за Францию, — думал Симон, — как умерли эти безымянные солдаты, что вылиты из бронзы на памятниках погибшим, значит, я умру и за этих людей. А в эту минуту, возможно, забирают связанного Бюзара. И тащат куда-то. Бьют по лицу. Тычут в спину дулом автомата... Этот кавалер ордена Почетного легиона, судя по физиономии, очевидно, предпочел бы жить при Муссолини только потому, что в Италии поезда, говорят, приходят вовремя. Пройдут годы. На могиле связанного Бюзара установят мраморную дощечку. Потом мрамор зарастет мхом. Офицер в серых перчатках приедет провести отпуск в Мелэн, он будет показывать своим детям Мелэн и Париж. Ах, Париж!.. У него выступают слезы на глазах, когда он увидит Париж, потому что с этим городом связаны воспоминания о лучших днях его жизни, когда каждая прожитая минута воспринималась как бесценный дар! Такова жизнь».

Поезд, лязгнув буферами, медленно тронулся с места.

Симон встал, направился к двери. Ему хочется знать, что случилось со связным Бюзара.

— Куда вы, там не пройдешь!

— Я хочу немного размяться. А то здесь задохнуться можно.

Разговор в купе наполнил Симона чувством неизъяснимой горечи. «Вот она, Франция!» — невольно прошептал он. И тотчас упрекнул себя за это. В коридоре он наткнулся на худенького человека в форме вишистской полиции.

— Давненько не видал сардин в банке, — заметил полицейский.

Симон промолчал. Полицейскому, видно, было очень одиноко, и он, как умел, напрашивался на разговор.

— Мы здесь точно сардины в банке, — пояснил полицейский и рассмеялся, как бы поощряя Симона поддержать беседу.

Симон пожал плечами.

— Вы что, глухой, что ли?

— Я не понял, о чем это вы.

Симон стоял так близко от полицейского, что чувствовал запах брильянтина, которым были намазаны его волосы, и запах шерсти, из которой сшита его новенькая синяя форма.

— Я говорю, — повторил полицейский, — что мы здесь точно сардины в банке. Вы что, не знаете, что такое сардины?

— Нынче редко приходится вспоминать о таких вещах.

— Ах, мосье, видимо, недоволен снабжением? Мосье сожалеет о добрых старых временах?

— Дело в том, что я не люблю сардины, — безразличным тоном сказал Симон. — Желудок не принимает.

Это был, конечно, удачный ответ, один из немногих возможных.

Но полицейский явно заинтересовался.

— Вот чудно, я ведь тоже не выношу сардин!

«Сродство душ», — подумал Симон.

— Позвольте пройти. Природа предъявляет свои требования.

— Проходите, — неожиданно миролюбивым тоном сказал полицейский.

Симон взглянул на его лицо. При унылом свете, мерцавшем в коридоре, он увидел белое пятно, обрамленное

черными блестящими волосами, выложенными фестонами на лбу, лицо, напоминавшее рекламы времен царьстона и открытых автомобилей, какие были в ходу после той войны. Словом, старомодное лицо. Коридор был забит пассажирами, которые уже успели рассестся после проверки документов. Симон через кого-то перешагивал, извинялся. Его толкали. «А, черт, и что только вам не сидится? Чего вы не видели? Мы ведь уже подъезжаем». — «Куда подъезжаем? Вокруг одни поля!» — «Какие поля! Это же пригород!» — «Ух, до чего надоели! Неужели не можете потерпеть? Это немцы на вас так действовали?»

— Что вы сказали? — переспросил Симон.

Но он тотчас взял себя в руки и постарался забыть об оскорблении. Так надо. Что угодно, лишь бы избежать инцидентов.

Поезд снова остановился. Прильнув лицом к стеклу, Симон скорее угадал, чем разобрал при свете красного фонаря надпись на эмалевой дощечке: «Проход на вокзал по путям запрещен».

«Такая же дощечка висела в конце платформы на вокзале в Сен-Реми, но все, кто жил на той стороне, все равно шли по путям — рабочие с сумкой через плечо или стайка служащих, направлявшихся к каменным домикам с замысловатыми порталами, где оглушительно звенели в тишине позднего вечера звонки, будя злых собачонок, маленьких шавок, которых почти и не кормят. Но к чему вспоминать об этом — тут нет ничего веселого, да и времена эти никогда не вернутся! Французские пригороды, где голосовали за радикалов и радикал-социалистов, в июне сорокового года отошли в небытие. Хватит о них думать».

— Извините, пожалуйста.

— Не станете же вы беспокоить пожилую женщину?

— Нет, конечно, нет.

«Собственно, не все ли мне равно, забрали этого бюзаровского парня или нет? Бюзар и так об этом узнает, а ведь я все равно могу известить его только через сутки».

Пожилая женщина, которую нельзя беспокоить, сидит на чемодане и решительным голосом напоминает всем и каждому о том, что следует уважать ее возраст. Пробюс рассказывал в Тулузе, как на него работала одна семидесятипятилетняя старуха, которой поручили перевозить в чемодане взрывчатку. «Никто не заподозрит человека моего возраста, — говорила она. — А потом, лучше умереть вот

так, чем у себя в кровати. Мне сейчас как будто снова двадцать лет. Вы понимаете, со смертью мужа жизнь потеряла для меня всякий смысл, а теперь я этот смысл нашла».

Разговоры возобновились. Шепотом. Уже несколько лет люди шепчут одни и те же слова. «Ну чего они там копаются! Ведь мы теперь приедем после комендантского часа. И придется до утра сидеть в зале ожидания». — «Нет, в таких случаях они дают специальные «аусвайсы» *». — «Я, например, ни за что не пойду с их пропуском. Достаточно встретить обозленных патрульных или еще кого-нибудь...» — «Представляете, сколько мне придется топтать с моими чемоданами, ведь я живу около Северного вокзала». — «Пахнет колбасой, причем не свиной и не из конины». — «Вы шутите!» — «Даже здесь слышно, что пахнет!» — «Дайте попробовать!» — «Их сила в организации, хотя, конечно...» — «Какая же это организация, когда я сам однажды слышал, как по радио объявляли: пассажиры с багажом выходят через боковую дверь; пассажиры без багажа выходят тоже через боковую дверь. И вы называете это организацией? Я называю это идиотизмом».

Паровоз пыхтел, словно окончательно выбился из сил и дальше уже не мог двигаться.

«Сколько времени мы тут стоим? По-видимому, бомбят подступы к Парижу. А когда они будут лететь обратно, то увидят наш поезд. И сбросят на нас оставшиеся ядрышки. У них есть приказ не возвращаться с грузом. Поэтому на обратном пути они сбрасывают бомбы куда попало, — лишь бы избавиться». — «Плевать им на все, ведь они не у себя дома. Вот англичане — те другое дело». — «Англичане плюют на нас. Насмотрелся я на них в Дюнкерке, так что вы уж лучше помалкивайте». — «Послушайте, милочка, сидите-ка там, где сидите; у нас тут в коридоре и без вас народу хватает!»

ЖЮСТИНА



о ведь я встала, — говорит «милочка», — чтобы уступить место пожилой даме!

— Смотрите-ка! — тихо восклицает Симон. — Вот так встреча!

— Смотрите-ка! — повторяет она.

Им приходится разыгрывать удивление, потому что

* Пропуска (нем.).

из всех возможных встреч эта, пожалуй, наименее неожиданная. Ведь Жюстина не меньше десяти ночей в месяц проводит в поездах. Симон познакомился с ней в Тулузе шесть или семь месяцев назад. Ему показалось тогда, что она в близких отношениях с Пробюсом. Это было на одном из тех обедов, которые они порой неосмотрительно устраивали, собираясь впятером или вшестером в задней комнате какого-нибудь ресторана. Но разве можно отказать себе в удовольствии тайком полакомиться рагу из гуся с бобами и выпить за дружбу, хоть и знаешь, что это безумие, что дверь, ведущая в заднюю комнату, может в любую минуту распахнуться, и тогда твоей жизни придет конец. Симон не запомнил лица молодой женщины, но у него в памяти остался ее образ. Так порой мы не в силах описать виденный портрет, знаем только, что при определенном освещении он на несколько минут вызвал в нас приятное, радостное чувство. А лицо Жюстины вызывало ощущение счастья.

— Я ездила к дочке.

— Я не знал, что у вас есть дочь...

— Ну как же. Она живет у бабушки. Да, собственно, что вы вообще знаете обо мне?

Симон смотрит на нее. При голубоватом свете лицо ее кажется театральной маской, а раз так, значит, и разговаривать с ней можно, как с театральным персонажем. Под защитой этой маски она выступает на сцене, где они с Симоном играют каждый свою роль в декорациях, созданных войной. Появление немецкого патруля сразу вернуло словам и поступкам их истинную цену. Через двадцать минут поезд прибудет в Париж, и любая случайность при проверке документов может решить их судьбу. Поэтому надо чем-то заполнить оставшиеся минуты. Надо сыграть сцену, которая, возможно, окажется последней в этом спектакле. Фиолетовые губы Жюстины приоткрываются:

— Вы едете с юга?

— Нет, из Лиона.

«Вчера вечером в Лионе в который раз пришлось опять расставаться с Камиллой, смотреть на нее, стараясь навсегда запечатлеть ее образ. Теперь, после десяти лет совместной жизни, мне кажется, что я смотрю на нее так чуть ли не с самого детства. Поэтому глупо даже спрашивать, люблю ли я ее. Просто глупо. Камилла — моя жизнь. Она часть меня. Она неотделима от меня. Когда я расстаюсь

с ней, она — моя тревога. А когда я уже расстался с ней, она — моя свобода».

— Не очень веселый город.

— Да, — соглашается Симон. — Зато красивый, как на гравюрах.

— Почему на гравюрах?

— Именно на гравюрах, а не на почтовых открытках. На гравюрах слегка порванных, чуть запачканных. — Симон понижает голос. — Это освещение очень смешно искажает лица.

— На кого же я, интересно, похожа?

— Ваше лицо похоже на маску. Вы... Я недостаточно хорошо помню вас по Тулузе... — Он улыбается. — Во всяком случае, сейчас это очень красивая маска...

Жюстина приподнимает брови и огорченно качает головой.

— Ай-ай-ай!.. Не прошло и минуты, как вы уже расточаете комплименты, да какие пошлые...

— Представьте себе, я ничуть не обиделся. До Парижа нам осталось двадцать минут. Поэтому я и решил сказать вам самое важное, самое бесспорное и то, что может доставить вам удовольствие...

— Не будьте фатом.

Тем не менее она улыбается. Лицо ее на одном уровне с лицом Симона. Они стоят, касаясь друг друга. «Интересно, — подумал Симон, — какого цвета были бы эти серые лучистые глаза ночью, при свете свечей».

— Вот видите...

— Что вижу?

— Вы улыбнулись.

Она молчит. «Как все просто, — подумал Симон. — Что, собственно, нужно для того, чтобы подобные глупости имели успех? Нужна война, немецкий патруль, поезд, который в любую минуту может подвергнуться бомбежке, сознание, что тебя могут арестовать. И нужно, чтоб была Камила. Если бы не было Камиллы, я не чувствовал бы себя так свободно. Я бы волновался. И действительно говорил бы пошлые комплименты. Но сейчас... сейчас я могу играть».

— О чем вы думаете?

«Вот это уже лучше. Она вступает в игру».

— О жизни, — отвечает Симон. — О вашей жизни и о моей.

— Какой счастливый случай свел нас вместе! Верно?

— Нет, это не случай. Это судьба.

Она приподнимает брови.

— Какая глубокая мысль! — Она больше не улыбается. — Не надо бросаться такими словами.

— А я и не бросаюсь. Ведь еще Наполеон сказал: «В наше время политика — это рок». Вы, может быть, считаете, что это не так? Тогда как же?

Жюстина отворачивается. Симон смотрит на ее профиль и находит его безупречным. Ему не стыдно восхищаться безупречной красотой. Вот если бы речь шла о любви — тогда другое дело. А пока он со спокойной совестью может восхищаться Жюстиной.

Она молчит. Поезд замедляет ход, скрипит, вздрагивает. Кто-то, подняв шторку на окне коридора, громко восклицает:

— Что они тут бомбили? Должно быть, это сортировочная станция!

Когда глаза привыкают к темноте, Симон видит за окном черную громаду паровоза, задравшего кверху колеса, похожего на животное с выпотрошенными внутренностями, застигнутое смертью на бегу.

У самого лица Симона — ухо и щека Жюстины. Он опускает глаза. Он шепотом спрашивает:

— У вас там все в порядке? А как поживают те, с кем мы тогда ели рагу?

Она быстро поворачивает голову, и губы ее невольно касаются щеки Симона.

— Пробюс заболел, — еле слышно произносит она.

— Серьезно?

— Довольно серьезно.

— Врачи... французы?

— Нет.

— Давно?

— Да вот уже два месяца.

— В Тулузе скверный климат.

Он произносит это машинально, внезапно охваченный смутным страхом, боязнью ареста. Перед его мысленным взором с необычайной ясностью возникает лицо Пробюса, которого он едва знал, и вслед за тем возникает воспоминание об ужине в Тулузе, который кажется ему сейчас прощальным и каким-то особенно торжественным благодаря Жюстине и нежным взглядам Пробюса, обращенным

к ней. Так или иначе, но ни о какой игре уже не может быть и речи.

— До чего же черная ночь,— замечает Жюстина.

— Не чернее всех прочих — обычная военная ночь... Извините меня, пожалуйста...

Жюстина искренне удивлена.

— За что же?

— Я прошу у вас прощения... за эти пошлые комплименты... Я... я не знал.

Пассажиры засуетились, собирая и связывая свои немислимые пожитки, поднялась толкотня, и Симона с Жюстиной бросило в объятия друг друга, как влюбленных в метро.

— Не будем говорить об этом,— сказала она.— Если вести такие разговоры, то жить не захочется. И потом это ни к чему. А главное, что вы, собственно, знаете?

Он молчит. В самом деле, что он, собственно, знает? Возможно, тогда в Тулузе Пробюс просто ухаживал за Жюстиной? Возможно, у нее есть кто-то другой?

— Да, вы правы. Это ни к чему.

Он пытается при голубоватом свете лампочки поймать взгляд запавших глаз Жюстины и вновь видит перед собой маску, которая только что так понравилась ему.

— Почему вы возмущаетесь, когда я говорю, что вы похожи на маску? Ведь здесь все в масках. Только что я столкнулся с полицейским... И у него на лице была маска... Только маска глупая. При этом свете у каждого проступает его подлинное лицо. Вы — шелковистый ночной зверек. Может быть, черная кошечка. Но я не осмеливался сказать вам об этом, потому что черные кошки приносят несчастье...

— Да, кроме тех, у которых на шее белое пятнышко... А у меня такое белое пятнышко есть...

— Правда?

— Конечно.

— Мне хотелось бы...

Она опускает в знак согласия ресницы, и губы их, почти соприкасавшиеся раньше, теперь при каждом толчке поезда встречались в мимолетном поцелуе. Цель их путешествия уже не Париж, они уже не пассажиры поезда, который, возможно, мчится к бездне. Перед ними — жизнь, конечно, не вся жизнь, а лишь тот ее кусочек, который им отпущен: эта минута, этот вечер, может быть, эта ночь.

Продолжая игру, они уже целуются всерьез, надолго прильнув друг к другу.

— Мне нравятся твои губы,— говорит Симон.

— Вот об этом и надо сейчас говорить. Ты говоришь как раз то, что надо.

Он снова целует ее. Но он не может поднять руки, чтобы обнять ее. Они походят на влюбленных, которых часы пик застали в метро. Они просто незнакомые мужчина и женщина, они встретились, обменялись взглядом и, почувствовав взаимное влечение, не в силах ему противостоять, ослепленные, счастливые, устремились друг к другу.

Любовь, сказал Ленин, это куда сложнее, чем выпить стакан воды. И это правда. Но что-то в этом сравнении есть. Так после долгих блужданий по пустыне, закрыв глаза, с наслаждением залпом выпиваешь большой стакан холодной родниковой воды. Наслаждение это рождено жаждой. Тем, что пришлось долго идти. Тем, что еще не скоро будет другой источник.

— Пообедаем вместе?

Она смотрит на него своими большими серыми неподвижными глазами.

— Если мы будем вместе обедать, значит, придется не расставаться до утра. Но в ресторан идти слишком поздно. У меня есть квартира...

— Ну нет,— сказал Симон.— Видишь ли...

Она говорит ему прямо в ухо, потому что поезд отчаянно грохочет на стрелках, въезжая в предместье.

— ...На этой квартире никто еще не был. Я там только ночую. И я совсем одна.

Это весьма любопытная квартира, добавляет она. Там есть рояль и висят гобелены. Есть фотографии кинозвезд, коллекции репродукций, которые выходили приложением к «Птит иллюстрасьон», среди них есть фотография Сарры Бернар на деревянной ноге в костюме из «Орленка».

— Я люблю «Орленка»,— говорит Симон.— Это такая глупость. Просто потрясающе. А мы, маленькие людишки без чинов и орденов, шагаем и шагаем под барабанную дробь — там-там-тра-та-та-там.

Жюстина смеется.

— Вот из-за таких дурней, как ты,— шепчет она,— немцы нам и вернули пепел Орленка, а из-за таких, как я,— переименовали театр Сарры Бернар.

Симон зажимает ей рот рукой.

— Да замолчи же наконец.— Он обнимает ее за плечи и, прижавшись щекой к ее щеке, касаясь лбом холодного стекла, говорит: — Мы не можем выйти из вокзала вместе. Если комендантский час начинается в одиннадцать, мы можем встретиться возле уборной, что напротив Зоологического сада. Если же он начинается раньше, мы встретимся в зале ожидания.

Жюстина молчит.

— Вот и Париж,— говорит она.

— Да, вот и Париж,— шепотом вторит он ей.

...Больше стало синих лампочек. Пошли глухие стены, такие серые, такие облезлые, что и при дневном свете они так же сливаются друг с другом, как сейчас. Надо быть по-настоящему влюбленным в этот город, чтобы снисходительно смотреть на этот пригород, до того жалкий, что война почти ничего не прибавила к его нищете. Она даже скрасила его, окутав той же атмосферой таинственности, что и сады Тюильри, и остров Ситэ. Покров ночи, прорезанный огоньками синих лампочек, накрывает как богатые, так и бедные кварталы, без всякого различия. Но это только так говорится. Расплачивается за все опять-таки Париж бедняков. Во время бомбежек погибают прежде всего те, кто живет подле сортировочных станций и заводов. Следовало бы подсчитать потом, сколько погибло от бомбежек людей по социальным категориям...

— О чем ты думаешь?

— О социальных проблемах.

Жюстина состроила детскую гримаску.

— А в мирное время... ты тоже занимаешься социологией?

— Нет, историей. Во всяком случае, хотел заниматься. А теперь...

Он берет в свои ладони руку Жюстины.

— Я люблю Париж,— говорит он.— Люблю его больше Франции. Ведь Франция — это в конечном счете идея, абстракция. Ты понимаешь, что я хочу сказать? А вот Париж...

— Это потому, что ты провел здесь юность.

— Да, конечно. Но видишь ли, все, что было до войны... я никак не могу связать это с настоящим... Только здесь, в Париже, я нахожу нити прошлого. Но не будем об этом говорить.

Жюстина пожимает руку, в которой лежит ее рука.

— Ты давно здесь не был?

— Да, со дня перемирия. Все это время я жил в южной зоне.— И вдруг он добавляет: — Знаешь, давай выйдем из вокзала вместе.

Она прижимается губами к самому его уху:

— У тебя нет при себе ничего компрометирующего?.. У меня нет.

— У меня тоже.

— Значит, мы свободны, как птицы.

— Как птицы.

Он пригибается к ее уху:

— Как тебя зовут по документам?

— Это тебе не обязательно знать. Больше того: ты даже не должен этого знать. Мы ведь не знакомы.— Она смеется.— Ты пристал ко мне в поезде. Ты ловелас. Немцам это нравится. Это им понятно. Лучшего объяснения для них не придумаешь. Они бы с удовольствием поменялись с тобой местами.

— А ты не отличаешься скромностью. И ты права. Я сейчас схожу за чемоданом и догоню тебя на перроне. Пристану к тебе. Буду назойлив. Буду отчаянно за тобой ухаживать. Меня интересуют только женщины — значит, политикой я не занимаюсь. Это вполне логично.

Она кивает.

— Ты мне нравишься: ты такой веселый...

— Вот тут ты ошибаешься. Глубоко ошибаешься. Если бы ты знала, до какой степени ты ошибаешься!

Он на секунду задерживает ее нежную руку в своей, потом выпускает ее пальцы и уходит, не обернувшись. Люди на его пути возмущаются. Все до предела взвинчены. От усталости и страха стали злыми. Ненавидят друг друга.

Купе постепенно опустело. Кавалер ордена Почетного легиона сидит в коридоре на чемодане. Он болтает с полицейским, уже надевшим берет. Он говорит:

— Что поделаешь, так уж у нас повелось во Франции. Всем на все наплевать.

— Извините,— говорит Симон.

— А-а, вот вы где! Попомните, что я вам сказал: кто слишком много болтает...

— Что, что? — переспрашивает Симон.

Полицейский поворачивает к нему бледное лицо, которое кажется еще меньше под огромным, лихо надвинутым на лоб беретом.

— Я знаю, мосье не любит сардины в масле. Что ж, пусть в таком случае делает как все. Пусть жрет брюкву...

— Именно это я и делаю,— сказал Симон.

— Что? — вмешался в разговор кавалер ордена Почетного легиона.— Вы что, издеваетесь над нами, что ли?

— Оставьте,— заметил полицейский.— Мы уже подъезжаем.

— Все они на один лад скроены,— вздохнул кавалер ордена Почетного легиона.— Бедная Франция!

Полицейский пожимает плечами. Сразу видно, что Франция — это его забота, но уж очень много у него с ней хлопот.

Кавалер ордена Почетного легиона бурчит себе под нос:

— Мерзавец! Нетрудно догадаться, где его дружки... В Лондоне или в Москве, конечно.

Он сказал это в расчете на поддержку, но, видимо, хватил через край. Вокруг тотчас воцаряются молчание и страх. Пройдут годы. И в один прекрасный день этот тип заявит: «Во время оккупации я не давал наступать себе на ноги!» Чем напичкана эта голова? Возможно, он просто не любит людей. Люди ему осточертели; все они одним миром мазаны. А возможно, он хочет отвлечь внимание от себя, так как везет полный чемодан масла.

Поезд останавливается под навесом. На перрон высыпают пассажиры, которых никто не встречает. Они расходятся, перешептываясь, охая. Симон слышит, как какой-то служащий говорит в ответ на чей-то вопрос:

— Нет, нет, никаких чрезвычайных постановлений. Комендантский час начинается в одиннадцать. Советую вам поторапливаться. Они немного нервничают, но никаких чрезвычайных постановлений нет.

Громкоговоритель орет по-немецки о «разрешениях на въезд». Два жандарма в касках смотрят на стадо штатских. Один из них держит на поводке овчарку, лежащую у его ног. За жандармами, метрах в пятидесяти,— Жюстина. Она поставила чемодан, делая вид, будто устала и ищет, кого бы попросить помочь. Симон прежде всего обращает внимание на то, чего он до сих пор не видел: ее бедра, ноги. Обидно, если что-то произойдет до наступления ночи.

— Разрешите помочь вам, мадемуазель?

— Нет, благодарю вас. Если бы у меня в чемодане было что-то компрометирующее, я бы с радостью приняла ваше предложение, а так...

— Сумасшедшая! Пошли!

— Почему сумасшедшая? Наоборот, это очень мудро. Я всегда в таких случаях выбираю человека незнакомого, причем тщательно выбираю. Скажем, какого-нибудь парня со значком коллаборационистской организации. Представляешь, какую этот парень корчит рожу, если что-то случается. «Да говорю же вам, что я тут ни при чем. Вы что, не видите, какой у меня значок? Да я раньше никогда в жизни не встречал эту девчонку...» И так далее, и тому подобное.

Она смеется. Они подходят к выходу, и сердце у нее, наверно, тоже сжимается в тревоге перед этой минутой, которая решила участь стольких людей. Но внешне все спокойно. Люди выходят молча, в полной тишине: слышно шарканье ног, стук чемоданов, опускаемых на землю, чтобы достать билет.

— Что ты сказал?

— Ничего.

— Нет, ты что-то сказал.

— Уверю тебя, что нет,— шепчет Симон.

ЛОВУШНА



Он только хотел было сказать: «Ты в самом деле свободна сегодня вечером? И ты уверена, что тебе хочется провести его так, как мы решили? Зачем только люди куда-то ездят? Раньше никогда столько не ездили. Ведь горе всюду одно — только в разных обличьях». Но слова застряли у него в горле. Он лишь выдавил из себя еле слышно: «Вот оно! Вот!», внезапно увидев, что от неизбежного не уйти.

Впереди, в нескольких метрах от них, полукругом стояли солдаты в сапогах, держа палец на спусковом крючке автомата. Они в форме СС, с дурацким черепом на рукаве. В полукруге оставлен узкий проход — там стоит человек в штатском. Штатский говорит: «Вы — в сторону». Снова слышится: «Вы — в сторону». И всякий раз после этого один из пассажиров отделяется от остальных и уходит куда-то между двумя шеренгами солдат с автоматами, которые стоят на чуть большем расстоянии друг от друга, чем

в полукруге. Остальные пассажиры направляются к дверям, над которыми значится: «Ausgang» — «Выход».

Симон слышит: «Вы — в сторону». И он сворачивает в проход между двойным рядом солдат с автоматами. Он несколько не удивлен. Ему даже кажется, что он сам на это напросился, завернув преждевременно, не дожидаясь решения эсэсовца, точно лунатик в ловушку. Он как бы решил испытать судьбу.

Однако он успел заметить, что Жюстина обернулась и вроде бы легонько кивнула ему, а может быть, даже улыбнулась. Но она уже перестала для него существовать. Камилла смотрит на него, и в ее нежном затуманенном взоре Симон видит картины своей жизни, озаренные светом этой минуты. Шагая между двумя шеренгами вооруженных солдат, он идет под февральским дождем по парижской улице. Он поднимается по лестнице «Трех волхвов» в вечер премьеры «Потемкина». В Камилле воплощены мечты о будущем, которому не суждено стать настоящим. Он слышит безмолвный крик восставших матросов: «Братья!» Смотрит на расписание поездов, которое однажды они изучали с Камиллой, когда перед войной впервые отправились вместе на Средиземное море. Они всюду старались поспеть. В воздухе пахло летом, а на террасах ресторанчиков — анисовой водкой. Война застала их там в конце августа, отдых был уже испорчен, и вот настал день, когда им пришлось расставаться. Симон на перроне разыгрывал полнейшее безразличие — «прощанье по-японски», как называл он это про себя, ибо однажды видел в журнале фотографию японского офицера, прощавшегося с женой. Согнувшись в глубоком поклоне, она стояла на ящике из-под мыла с надписью: «Мыло люкс», выведенной черными буквами...

У входа в зал ожидания, под резким, слепящим светом, озарявшим бледные испуганные лица, — снова проверка. Симон не оказался в числе счастливцев, которым разрешили уйти. Он услышал:

— Пройдите сюда.

В помещении стояли длинные черные столы. Пахло дезинфекцией.

— Чемоданы на стол! Каждому стать у своих вещей!

Здесь тоже были эсэсовцы и люди в штатском. Они прогуливались по залу, ко всему безразличные, курили, болтали. Их лица не выражали ни малейшего интереса к тому, что происходит. Еще нескольким пассажирам было велено

забрать свои чемоданы и уходить. Осталось человек десять. Им приказали:

— Открыть чемоданы! — Затем: — Руки на голову!

Столы, на которых лежали пожитки пассажиров, образовывали прямой угол. Симон увидел напротив толстяка с розеткой Почетного легиона. Ручки у него были коротенькие, и ему стоило большого труда скрестить их на голове. На лице его было написано смятение. Когда к нему подошли сзади эсэсовцы и быстрыми, точными движениями портного, снимающего мерку, принялись обыскивать, толстяк закрыл глаза. Губы его шевелились. А Симон, как только ему велели положить руки на голову, сразу успокоился, словно этот жест напомнил ему детство, школьный двор, где вот так же пахло дезинфекцией, но, кроме того, еще пахло мелом и черным лаком новеньких пеналов. Симон подумал: «В конце концов, у меня все в порядке».

Сыщик в штатском рылся в его чемодане; по бокам стояли два эсэсовца с сигаретами в зубах. Он посмотрел на свет рубашку, затем с помощью градуированной линейки удостоверился в том, что у чемодана нет двойного дна.

— А это что? — спросил он, протягивая Симону перевязанный бечевкой пакет.

— Это... это книги.

— А может быть, листовки? — заметил один из эсэсовцев, швыряя в сторону сигарету. — Развяжите...

Симон внезапно вспомнил, что в последнюю минуту захватил для Бюзара «Борьбу с ангелом» Мальро. Эта книга недавно вышла в Швейцарии, и ее без труда можно было найти в бывшей южной зоне. И как только он не подумал, что такая книга, изданная в Швейцарии и подписанная этим именем, может в случае серьезного обыска навлечь на него подозрение? Развязывая бечевку и ощупывая непослушными пальцами плотную бумагу дорогого издания, Симон внезапно понял, чем объяснялась его неосмотрительность. Такие вещи трудно объяснить, но не трудно понять, так как это плод длительной работы, происходившей в сознании без вашего ведома... А неосмотрительность его объяснялась тем, что, прочитав книгу, он не обнаружил в ней, как и сказал Бюзару, ничего особенного. Он вспомнил даже, что был немало удивлен, когда «Леттр франсез», выходившая в подполье, в том самом номере, где было опубликовано последнее письмо ее основателя Жака Декура, расстрелянного фашистами, уделила столько места — целую

страницу — разбору «Орешников Альтенбурга», первого тома «Борьбы с ангелом». Сам он тщетно пытался найти здесь то, что нашел в свое время в «Условиях человеческого существования», — книге, которая, как и «Потемкин», неразрывно связана в его памяти с порой, когда формировались его убеждения. Он тщетно пытался найти в «Борьбе с ангелом» то, что ему так необходимо сейчас, чтобы преодолеть полицейские кордоны, чтобы носить чемоданы, чтобы не тосковать от неизбежного для подпольщика одиночества. Обнаружил же он в ней лишь длинные и порою скучные рассуждения о смерти. А разве можно помочь человеку жить рассуждениями о смерти? Смерть, очевидно, не такое уж страшное дело, раз столько людей без дрожи смотрит сегодня ей в лицо. Тем же, кто ее боится — а именно к их числу принадлежит и он сам, — надо помочь преодолеть этот страх, а не толкать их в паскалевский ад («который представляется в виде великого множества людей, закованных в цепи...»), где каждый знает, что если сосед исчез, то теперь очередь за ним.

Полицейский в штатском протянул руку с сигаретой. Симон подал ему книгу. Полицейский стал медленно переворачивать страницы:

— Издано в Швейцарии?

— Да, но книга продается в южной зоне.

— Странно.

— Я купил ее у букиниста.

Полицейский пожал плечами, но это ровно ничего не значило. Полицейские часто пожимают плечами, как бы говоря, что их не проведешь — уж они-то знают, что все вокруг лгут.

— О чем здесь говорится?

— Это философская книга.

— Политики нет?

— Нет.

— Но ведь Андре Мальро — коммунист.

— Нет.

— Откуда вам это известно? Вы что, знаете, кто коммунист, а кто нет?

— Нет, конечно.

— Тогда что же вы говорите?

— ...

— Можете опустить руки, — сказал полицейский.

Он пробежал глазами несколько страниц. Между его

пожелтевшими пальцами медленно ползли вверх кольца дыма.

— Эта книга о Германии? Нет? Однако она об Эльзасе. А я как раз из Эльзаса.

— ...

Он сказал по-немецки двум эсэсовцам в форме, которые со скучающим видом по-прежнему стояли рядом с ним, что он больше в них не нуждается; они могут заняться другими задержанными.

— Книги я у вас отбираю, — сказал он. — Провоз книг запрещен.

Он с усмешкой посмотрел на Симона. Или, быть может, это дым заставил его прищуриться?

— Между нами говоря, не понимаю, почему запрещают провозить книги. Вот вы, например, встречали когда-нибудь человека, который под влиянием книги переменял бы свои убеждения? Люди не потому отказываются от своих мнений: Вы знаете, почему они это делают?

— ...

— Ну так я вам скажу: полиция заставляет людей менять убеждения. Для того она и нужна.

Громкий смех заставил его обернуться. Один из эсэсовцев извлек из чемодана кавалера ордена Почетного легиона свиной окорок. Он замахнулся им, как дубинкой, словно собираясь прикончить толстяка, а тот, побледнев как мел, бормотал:

— Господин начальник, это же для личного потребления!

— Ай-яй-яй, — заметил штатский, — занимаетесь спекуляцией?! И вам не стыдно?! — И он ткнул сигаретой в розетку Почетного легиона. — Да, человек, имеющий такую награду, должен бомбы возить или листовки! Понятно? Я велел привести сюда всех, у кого есть какие-либо знаки отличия. Но вовсе не за тем, чтобы извлекать из ваших чемоданов окорока. Постыдились бы! — он сокрушенно вздохнул. Казалось, он был действительно огорчен. — Нехорошо это, мосье...

— Но, господин начальник...

— Вы будете задержаны за спекуляцию. Для человека с таким орденом это печально и весьма огорчительно. — И, повернувшись к Симону, он с легкой усмешкой добавил: — Посмотрите на этого господина — он не возит окороков. Этот господин возит запрещенные книги...

Счастливая улыбка появилась на побледневших губах толстяка. Это была улыбка человека, очутившегося на дне пропасти и вдруг увидевшего проблеск дневного света.

— Ничего удивительного!.. — поспешил заявить толстяк, чуть не до крика повысив голос. — Если бы вы только слышали, что он говорил в купе!..

— Что?! — воскликнул штатский. — Что?!

И он поспешно обернулся, точно сзади на него вдруг надвинулась опасность.

Симон сразу утратил способность соображать. Сердце забилось тяжело и глухо, как несколько минут назад, когда он подходил к цепи полицейских.

— Да, господин начальник, он говорил, что русские выигрывают войну и что вам здорово достается. Он сказал это при всех пассажирах, а как только прошел патруль, проверявший документы, сразу побежал кого-то предупреждать...

Штатский бросил через плечо несколько слов по-немецки, которых Симон не понял. Один из эсэсовцев сорвался с места и чуть не бегом, как будто слова доносчика послужили сигналом тревоги, обогнул стол, на котором стояли чемоданы. Взгляды всех были прикованы к Симону. Эсэсовец сделал ему знак положить руки на голову и следовать за ним.

Симон видел устремленные на него взгляды, видел зеленую дверь, на которой было написано что-то вроде «Вход воспрещен», но все это было словно книга, которую не можешь прочесть, словно работа диковинной машины, игра, правил которой не знаешь. Его оставили одного в маленькой комнате, где тускло горела желтая лампочка, освещающая целый лес почерневших деревянных полок, — видимо, раньше здесь помещалась камера хранения. На полках лежали чемоданы и пакеты с этикетками. Эсэсовец закрыл за собой дверь. Симон стоял, держа руки на голове. Внезапно он услышал собственный шепот: «Ну, теперь конец, теперь конец! Ах, какая глупость! Какая глупость!»

И тут, как это бывает после катастрофы, когда сначала вспоминаешь мелкие детали, которые, наверно, не остались бы в памяти, если бы не попались на глаза в ту минуту, когда произошло несчастье, он вдруг увидел счастливую улыбку доносчика и, пробормотав сквозь стиснутые зубы «Мерзавец! Мерзавец!», почувствовал неизъяснимую грусть при мысли, что существуют такие люди. Затем,

инстинктивно готовясь к самозащите, Симон попытался вспомнить, произносил ли он в купе слово «русские» или «Россия». Ему казалось, что он говорил: «они», или «те», или «другие», как теперь принято было говорить на людях, чтобы не слишком выдавать свои подлинные настроения. Но какие бы слова он ни употребил, доносчик в общем-то, конечно, не ошибся, и едва ли можно рассчитывать на то, что, попав под арест за спекуляцию на черном рынке, он откажется от своих слов. Обиднее всего, что его арестовали при таких банальных и даже смешных обстоятельствах. Симон вспомнил, сколько людей вот так же случайно попадали в облаву и исчезали навсегда. Он понимал, что надо избавиться от мысли, будто с ним произошло нечто нелепое. Он опустил руки, словно внезапно осознав, что, сохраняя эту унижительную позу сейчас, когда его никто не видит, он как бы признает свое поражение и заранее приемлет все, что за ним последует. А опустив руки, Симон сразу стал самим собой. Он снова попытался вспомнить, что именно говорил в купе. Это ему не удалось, но, без конца повторяя фразу, которую приписал ему доносчик и каждое слово которой, конечно, на всю жизнь останется у него в памяти: «Он говорил, что русские выиграют войну и что вам здорово достается...» — Симон невольно задумался над смыслом этих слов; память подсказывала, какую огромную роль сыграла в его жизни Россия, и мало-помалу им овладела восторженная приподнятость, заставившая отступить чувство тревоги и одиночества, парализовавшее было его. Слово «братья», которое беззвучно произносили матросы «Потемкина» на немом экране, невысокая арка в Негорелом на границе, отделяющая страну его мечты, лицо Камиллы напротив него в красном громыхающем трамвае, увешанном гроздьями людей в украинских рубашках, терпеливый голос Прево, продолжающего из небытия свой разговор с ним, прерванный на берегах Луары, слова Саши Бернштейна: «У вас на Западе такого хлеба нет» — все это как бы делало Симона одним из борцов той армии, в которой он так несправедливо усомнился летом 1941 года, когда слова «непобедимая Красная Армия» вызывали чувство огорчения и досады, — той армии, которая, по последним сообщениям, освободила Одессу.

Открылась дверь. Симон тотчас снова положил руки на голову. Вошел полицейский в штатском, закрыл за собою дверь.

— Ну-с?..— произнес он и покачал головой, щурясь от дыма сигареты.— Ну-с? Хороши же твои соотечественники, а? Вот проститутки! Или ты иного мнения?

— Не все же такие...

— А я тебе говорю — все. И потом, когда человек сдрейфит, он всегда себя так ведет. А дрейфят сейчас все... Может, скажешь, что ты не трусишь? Вот сейчас мы увидим, трусишь ты или нет... Опустя руки. Теперь смотри...

Полицейский в штатском направился к стене напротив полка, достал из кармана ключ и открыл дверь. В комнату ворвался свежий ночной воздух. Симон увидел слабо освещенный двор, заставленный багажными тележками.

— Теперь можешь бежать. Беги. А знаешь, что ждет тебя за попытку к бегству?

— Знаю.

— И все же попытаешься бежать?

— Да.

— Значит, ты в самом деле не дрейфишь! Ладно, проваливай!

Симон пристально смотрел на пустынный двор. До него долетали звуки привокзальной жизни: где-то вдали грохотали, маневрируя, поезда, пыхтели паровозы. Все существо Симона пронизывала уверенность, что смертный час его настал. Симон сотни раз слышал, что полицейские, развлеченные ради, насильно заставляют заключенных бежать, а потом стреляют по ним, как по движущейся мишени. Должно быть, где-то в глубине двора его поджидают эсэсовцы, держа палец на спусковом крючке автомата. Симон снова подумал о нелепости случившегося и в изнеможении закрыл глаза. Затем медленно пошел вперед. Так надо. Он чувствовал, как по груди его стекает холодный пот и сердце останавливается, словно он вот-вот лишится чувств.

Тут до него донесся голос полицейского, который кричал, а может быть, и не кричал, может быть, говорил совсем рядом и очень тихо: «Да убирайся же отсюда, болван, убирайся скорее!»

Когда Симон перешагнул через порог, жизнь вместе со всеми ее надеждами сразу вернулась к нему. Двор был пуст. Симон повернул влево и очутился на насыпи у вокзала. Какие-то люди пробежали мимо него в темноте. Он внезапно вспомнил, что ему не вернули чемодана. Но он продолжал медленно брести, как если бы свобода еще не принадлежала ему.



перед ним стояла Жюстина. Он увидел, что она очень бледна.

— Я чуть не умерла от беспокойства,— сказала она.

Он взял ее под руку.

— Пойдем отсюда. Я тебе все расскажу, только скорее пойдем отсюда.

Он совершенно обезумел от счастья.

— Я жду тебя уже десять минут.

— Всего только десять минут?

— Где твой чемодан?

— Его у меня отобрали.

Они вышли на площадь, где днем обычно стояли извозчики и велотакси, заменявшие автомобили. Глубоко вдохнув свежий воздух весенней лунной ночи, Симон ощутил запах конского навоза — так, должно быть, пахло в свое время в Париже, в том Париже, что запечатлен на старинной фотографии, где его отец в канотье сидит в ресторане на авеню Мэн.

— Придется бежать,— заметила Жюстина.— В нашем распоряжении всего десять минут. У меня дома нет ни крошки, но выпить найдется.

Симон рассказал ей, что произошло.

— И все из-за какого-то Мальро! — воскликнула она.— Видно, они здорово нервничают!

У подножия лестницы они заметили элегантный силуэт одного из связных Бюзара. Он нес два новеньких чемодана из великолепной кожи, каких давно тут никто не видел. На голове его красовалась шляпа от Идена, и от него исходил тонкий аромат одеколона «Крейвен А».

— Как подумаю, что приходится работать с этими сумасшедшими...— заметил Симон.— Хотя, конечно, я люблю Бюзара. Как-то бодрей себя чувствуешь от одного сознания, что он существует.

— Он ли, другой ли — все рискуют одинаково,— сказала Жюстина.— Все дело в везении, а Бюзару везет.

Вокруг них скользили тени: одни тащили пакеты, другие везли тележки, третьи подталкивали тачки или детские колясочки. «Племя тряпичников... В свое время они считали, что ловко устроились, поселившись в столице самой

приятной для жизни страны. А сейчас мечтают о масле и сале», — подумал Симон.

— Ты думал обо мне? — спросила Жюстина.

— Нет.

— Мне нравится, что ты откровенен. А о чем же ты думал, когда считал, что песенка твоя спета?

Он сказал, что, собственно, ни о чем не думал, вот только когда тот мерзавец упомянул о России, он подумал, чем была в его жизни Россия.

— Вот видишь, какая вышла поучительная история! Настоящая пропагандистская листовка, верно?

— А что же тут плохого? — сказала она. — Меня это нисколько не коробит. Я верю тому, что пишут в листовках. Я тебе уже говорила, что верю в силу политики.

Они молча перешли через мост. Некогда воздух здесь был отравлен бензином, а сейчас пахло пресной водой и цветущими каштанами. Когда они проходили мимо решетки Зоологического сада, Симон спросил:

— Как, по-твоему, есть там еще хищники?

— Не думаю. Видишь ли, чтобы прокормить сейчас льва... Ты представляешь себе, сколько всего надо! Последний раз я видела льва в тридцать девятом году, в Ажане, в маленьком цирке — это кажется было в самом начале войны.

А как началась война, она, собственно, не помнит. С детством она распростилась внезапно, в 1942 году, когда забрали ее родителей. Они имели глупость вернуться в Париж. Она носила желтую звезду.

— Вот как! — сказал Симон. — Бедная моя кошечка!

Ему вдруг стало стыдно, что он не нашел других слов. Он взял ее чемодан. Они шли под руку по улицам, прилегающим к Зоологическому саду, которые и раньше производили впечатление глубокой провинции, а сейчас и вовсе словно вымерли.

— Отцу казалось, что его не тронут, потому что он пошел добровольцем в девятьсот четырнадцатом и у него был орден Почетного легиона, полученный за военные заслуги, — вполголоса продолжала Жюстина. — Ты представить себе не можешь, до чего были наивны евреи из Восточной Европы. Отец мой, бедняга, обожал «Французскую республику». Он всю жизнь говорил только по-французски. Он еще ребенком пел «Марсельезу». Но не так, как ее поют у вас. В Салониках верили в каждое слово этого гимна.

Свобода, дорогая свобода! Отец верил, что это так, и считал, что есть вещи, которые не могут произойти во Франции. Он верил, что дело Дрейфуса положило конец этой свистопляске. Он говорил, что только в такой стране, как Франция, участь одного несправедливо осужденного человека может волновать всех. Бедняга...

В голосе ее послышались слезы.

— Не надо об этом вспоминать,— сказал Симон.— Ведь все равно ничего не изменишь.

— Не так-то это легко. На свете найдется достаточно людей, которые все забудут. В том числе и среди евреев. Успокоятся. Что поделаешь, люди должны успокаиваться, иначе они не смогут жить...

— Так-то оно так, только ты неправильно разделяешь людей,— заметил Симон. И голос его невольно зазвучал сурово.— В действительности люди делятся на богатых и на бедных, между ними проходит главная демаркационная линия. Я не говорю: на «капиталистов» и всех прочих, потому что это звучит немножко как в листовках, верно? Хотя ты сказала, что тебе нравятся листовки. Еврей, не-еврей— такое деление долго не продержится. Немец, не-немец— такого тоже не будет. Все это пройдет. Вот в чем я глубоко убежден. А демаркационная линия между капиталистами и всеми прочими... это другое дело...

— Ты коммунист?

— Я... право, не знаю. Я не состою в партии... но... практически — да.

Жюстина сказала, что ей давно хочется вступить в партию и что когда-нибудь она это сделает.

— Надо быть логичным,— добавила она.— Всему миру известно, что только коммунисты — люди по-настоящему серьезные. Если думаешь, как они, то надо и поступать, как они.

— Честное слово, ты мыслишь, как политический деятель! — заметил Симон.

— Нет, просто меня это интересует. Почему ты всегда говоришь «немцы», а не «боши»?

— Да, я в самом деле так говорю. Но только потому, что не люблю слово «боши». Во времена моего детства оно было в нашем доме под запретом. Мой отец считал, что это ложный патриотизм. Каких только глупостей не писали, как только не склоняли это слово в четырнадцатом — восемнадцатом годах!.. Русские говорят: «Смерть

немецким оккупантам!» Вот это мне по душе. Это правильно...

Оба замолчали. Симон взглянул на светящийся циферблат своих часов и ускорил шаг.

— Надо поторапливаться,— заметил он.

Деревянные подметки Жюстины гулко стучали по асфальту.

— Как ты можешь ходить в таких туфлях?

Что подделаешь, сказала она, человек ко всему привыкает, и потом, это довольно красиво. Во всяком случае, только в Париже люди могут в разгар войны заниматься изобретением подобных безделок, правда? Но вот и пришли... Симон различил в темноте силуэт дома, какие строили в начале века,— «богатого дома», как принято говорить. Жюстина постучала ключом по железной ставне, закрывавшей окно привратницы.

— К счастью, дверь открывается автоматически,— заметила Жюстина.

— А привратница — что она о тебе думает?

— Она славная. Я как-то раз дала ей яиц. Для нее — я работаю в провинции, а в Париж приезжаю примерно раз в месяц. Поэтому мои друзья, хозяева квартиры, живущие в южной зоне, и дали мне ключ...

— Чему только сейчас не верят!

— Но привратница-то не верит этим басням! Просто она славная женщина.

Дверь автоматически открылась.

— Сейчас я узнаю, как твоя фамилия,— заметил Симон.

— Не шуми, пожалуйста.

Жюстина звонко произнесла какую-то фамилию, которую Симон тут же забыл. Они стали ощупью подниматься по лестнице, с которой давно были сняты ковры. На четвертом этаже они остановились передохнуть. Симон поставил чемодан, взял Жюстину за плечи и притянул к себе. От нее пахло сейчас иначе, чем в поезде. Свежий воздух ночи, пропитанный речными испарениями и ароматом каштанов в цвету, выветрил вагонные запахи.

— До чего же меня тянет к тебе! — сказал он.

— Ты с ума сошел! — воскликнула она.

Но он играл в одержимость.

— Занятно,— прошептал он.— Никто не знает, где мы.

Они словно во сне поднялись еще на один этаж. Жюстина стала отпирать дверь, а он зажег спичку и при свете ее посмотрел на молодую женщину. Сейчас у нее было совсем другое лицо. Оно не было похоже ни на то, какое он видел на обеде в Тулузе, ни на маску в коридоре поезда, — нет, такое лицо, наверно, бывало у нее, когда она оставалась одна и, стерев помаду, сидела у горящего камина. И это очень все осложняло.

В прихожей на столике стояла свеча в фаянсовом подсвечнике. Симон зажег ее, и из позолоченной рамы, с фотографии, украшенной автографом, на него глянула надменная физиономия герцога де Гиза.

— Ого!

— Здесь все так. Вот увидишь... Это квартира монархистов...

— Как же ты ее раздобыла?

— Через агентство по найму квартир.

— Вот видишь, какое у нас национальное единство!

— Ты шутишь, а ведь это так. В спальне у них висит распятие.

— Ты там спишь?

— Нет. Последний раз я спала на диване в гостиной. Меня пугает это распятие... Но я бы с удовольствием спала под ним. Совсем нагая.

— Какая странная мысль! — заметил Симон.

Ему не понравились ни сами слова, ни тон, каким они были произнесены.

— Иди сюда, — сказала Жюстина. — Не шуми и постарайся ничего не разбить.

Она сняла туфли на деревянной подметке.

Ковры были скатаны и лежали вдоль стен. Паркет трещал под ногами.

— Почему у тебя вдруг возникла такая странная мысль? — спросил Симон. — Я имею в виду распятие...

Она промолчала. В эту минуту она тщательно обследовала внутренность пыльного буфета в стиле эпохи Возрождения.

— Открой-ка, — сказала она, протягивая ему бутылку и пробочник. — К счастью, у меня есть сигареты...

Симон открыл бутылку белого вина и наполнил два хрустальных бокала, предназначенных для торжеств.

— За нашу любовь! За успех!

Она рассмеялась и поцеловала его в губы. Пламя свечи

отбрасывало ее колеблющуюся тень на разорванный в нескольких местах гобелен.

Они закурили сигареты и, стерев салфеткой пыль, сели на массивный дубовый стол.

— Да, есть вещи, которые со временем трудно будет понять... — заметил Симон. — Каких только безрассудств ни творили люди ради окурка! Я, например, подбирал окурки в сточных канавах. Но теперь и там их не найдешь. А у тебя есть что курить?

— И немало, — с гордостью сказала она.

— Ты выкуриваешь всю сигарету целиком?

— Даже если бы мне полагалась одна сигарета в месяц, я и то выкуривала бы ее всю сразу.

— Любопытная черта, — рассмеялся он, — она о многом говорит.

— А если бы у меня была всего одна пачка, я бы тоже выкурила ее сразу, сигарету за сигаретой. И окурки оставляла бы обычные, довольно большие. Словом, курила бы так, точно нет войны.

Он сказал, что это ему по душе: хорошо, что она не принадлежит к числу тех, кто режет сигареты на кусочки и хранит окурки в коробочке, хотя, откровенно говоря, он сам частенько так поступал. Жюстина заметила, что если бы она не принадлежала к числу тех, кто за один день выкуривает месячный табачный паек, она не была бы сейчас здесь, с ним, на этой тайной квартире, и что вообще...

— Да, вот до такого Стендаль, пожалуй, не додумался бы! — сказал он.

— Отчего же, — возразила она. — Если бы он был заядлым курильщиком и ему нечего было бы курить, то, наверно, додумался бы!

— Через десять лет, — сказал Симон, — все это покажется совершенной нелепостью. Людям непонятно будет, в чем заключался героизм человека, отказавшегося от последней сигареты, чтобы спеть «Марсельезу»... А ты сама до войны могла бы увидеть в этом что-то героическое? Или, скажем, представить себе, что радость любви можно сравнить с радостью, какую доставляет пачка сигарет, выкуренных спокойно за один вечер?.. Ах, нет, мы станем выдуманными героями... Героями безупречными...

— Откуда такая горечь?

— Нет, это не горечь. Я просто хочу сказать, что

людям нужны поучительные истории. Я не виню их за это. Мне такие истории тоже нужны.

Они засиделись за беседой и выпили всю бутылку, куря сигарету за сигаретой. У обоих кружилась голова. Она рассказывала ему о своем детстве, затем о различных происшествиях в их организации — в Тулузе, в Лионе, в Париже, в Марселе; все это больше походило на безобидные сплетни, словно речь шла не о юношах и девушках, которые с риском для жизни перевозили бомбы и листовки, а лишь о том, как бы получить продвижение по служебной лестнице или избавиться от неугодных им людей, о начальниках, злоупотребляющих своим положением. Симон рассеянно слушал Жюстину. Он смотрел на нее из-под полуопущенных век и при свете свечи видел женщину, совсем непохожую на ту голубую маску, которая привлекла его внимание в коридоре поезда, — теперь она отчасти утратила свою безупречную красоту, как он это про себя назвал, и стала более человеческой, более земной. Уже сейчас видно было, где через десять или через двадцать лет — в зависимости от того, как сложится ее жизнь, — пролягут возле глаз морщинки. Жюстина забралась на стол с ногами и сидела, упершись подбородком в колени, так что видны были плиссировка и кружево нижней юбки. Неожиданно Симон сказал:

— Ну хватит, мы уже решили все вопросы.

Он обнял ее и поцеловал. Дешевая свеча потрескивала, она то вспыхивала, то почти гасла. Жюстина высвободилась из его объятий, открыла дверь в спальню, стащила покрывало с кровати и вытянулась на ней, сложив руки крестом, закрыв глаза. Свеча через открытую дверь освещала желтое распятие и стеганое одеяло того же цвета в кружевном пододеяльнике. Голова Жюстины лежала в окружении вытканых птиц и мельниц.

Свеча стала догорать.

— Послушай, дорогой, — сказала Жюстина. — Я не знаю, где тут лежат свечи, поэтому давай скорее устроиваться на ночь.

Она подбежала к зеркальному шкафу. Когда она открыла дверцу, комнату наполнил запах лаванды. Симон смотрел, как Жюстина ходит по комнате, любовался ее быстрыми, точными движениями. Ее силуэт смешно скользил по фамильным портретам.

— Встань же наконец, султан, — сказала она.

Симон помог ей расстелить простыни. Они, видимо, давно лежали без употребления — складки никак не расхотелись. Жюстина задула свечу, от которой пахло церковным воском, и они долго лежали рядом, едва касаясь друг друга. Симон пытался вспомнить уличные шумы Парижа, заглушенные войной. На ночном столике часы их отстукивали минуты, которых оставалось не так уж много.

— Расскажи мне что-нибудь, — попросила она, — точно мы с тобой были знакомы когда-то и встретились через много лет.

— Если бы мы встретились с тобой через много лет, я, наверно, ничего бы тебе не стал рассказывать...

— А представь себе, что ты все же хочешь мне что-то рассказать...

— В таком случае надо сначала придумать нам какое-то прошлое.

— Придумай.

— Так вот, лет двадцать назад, во время оккупации, я ехал из Лиона в Париж, и в поезде...

Он внезапно умолк. Она спросила, почему он не рассказывает дальше. Он молчал. Он не мог ей сказать, что, произнеся эту фразу, понял, что только о Камилле и только с Камиллой мог бы так говорить. Жюстина была для него чем-то вне времени и пространства. У нее не было ни прошлого, ни будущего. Он мог без боли смотреть на ее виски, которых первыми коснется старость.

— Забудем о прошлом, — наигранным тоном сказал он.

Она рассмеялась и, склонившись над ним, покрыла его лицо поцелуями. Он сжал ее в объятиях. Наслаждение, которое он познал с ней, показалось ему ни с чем не сравнимым. А когда она наконец заснула и он отодвинулся к краю кровати, на прохладную простыню, он подумал: это ощущение счастья объясняется, видимо, тем, что он не увидит, как она будет стареть, не увидит, как она будет умирать... словом, объясняется тем, что она не представляет для него проблемы. Впервые он проведет всю ночь с другой, не с Камиллой. Он вспомнил, чем была для них ночь в гостинице «Три волхва». Если бы он был тогда таким, как сейчас, Камилла не задержалась бы в его жизни и он лишь с нежностью вспоминал бы о ней. Он не жалел, что пустился с ней в плаванье на корабле, вспенивавшем, словно «Потемкин», воду. Он в любую минуту мог вызвать перед своим мысленным взором образ прямой дороги,

по которой он будет идти меж елей до самого конца жизни. Только сейчас эта картина стала казаться ему чересчур романтической. Он не без грусти взирал на нее, и грусть эта была рождена не воспоминаниями — скорее, то была грусть от сознания понесенного поражения, а в чем оно заключалось — Симон и сам не знал. «Как бы то ни было, — подумал он, — а я люблю ее, в ней моя жизнь, и никогда между мной и любой другой женщиной не возникнет таких уз, которые порой причиняют мне боль, душат меня. На стороне Камиллы всегда будет преимущество совместно прожитых лет — и каких лет!.. Невозместимых. Лет, насыщенных мечтами. Но вот я здесь. Я познал наслаждение с Жюстиной, и я не чувствую укоров совести».

Он забылся тревожным сном. На заре их разбудило громкое чириканье воробьев на Винном рынке. Из сумрака проступали очертания фамильных портретов этой семьи католиков и монархистов. Первая мысль Симона была не о Жюстине, а об отобранном у него чемодане. Он остался буквально безо всего. Даже бриться надо идти в парикмахерскую. А как он без талонов купит себе рубашку? Он посмотрел на Жюстину. Глаза ее были широко раскрыты, она лежала, заложив руки за голову. Ясное весеннее солнце придавало такую прелесть ее облику, что у Симона даже дух перехватило. Он чуть не сказал ей: «Я люблю тебя», не будучи в силах придумать в эту минуту очарования более подходящих слов, но, вовремя спохватившись, сказал лишь:

— Доброе утро! Ты прекрасна! — И игривым тоном добавил: — Ты прекрасна, моя Жюстина! Жюстина, ты прекрасна, как нарождающийся день!

Она даже не улыбнулась.

— Нет, это литературщина. Это дурной стиль.

Он согласился с ней, но заметил, что он тут ни при чем — это книги испортили ему вкус. Произнося: «как нарождающийся день», он вспомнил, что на сегодня у него назначено свидание с человеком, с которым ему предстоит работать в Париже, и на него словно навалилась тяжесть.

— Что ты обо мне думаешь?

Жюстина лежала все так же неподвижно, с застывшим лицом и смотрела в потолок.

— Станный вопрос! — заметил он. — Я многое о тебе думаю — во всяком случае, многое выдумываю... Ведь у нас еще так мало общих воспоминаний!

— А ты считаешь, что воспоминания — это так уж важно?

— О да, — сказал он. — Очень важно. Даже когда они ничего не стоят. Даже когда они мучительны. Без них не обойтись...

Жюстина молчала. Симон лежал, прислушиваясь к шумам города. Война изменила характер парижских шумов — город стал сейчас таким, каким был лет двадцать или тридцать назад; голос Парижа звучал, как в дни детства Симона. Это был Париж, где существовали лошади и телеги.

— Какая-то я шалая, — убежденно прошептала Жюстина.

— К счастью.

— Да, так говорят. Раньше, до войны, тоже бывали шалые люди, но не такие, как я. А я становлюсь шалой, когда начинаю думать, что хватит с меня такой жизни. Надоел мне этот вечный страх. Надоели поезда и то, что люди вдруг исчезают куда-то. Боже мой, когда же все это кончится?..

— Конец уже виден, — сказал он, потрясенный внезапною происшедшей в ней перемены. — Быть может, когда-нибудь мы пожалеем об этих годах, о нашей нынешней жизни...

— Наверно. Почему бы и не пожалеть? Человек обо всем жалеет...

Симону вдруг стало радостно при мысли о том, что в одиннадцать часов ему надо встретиться в Пале-Рояле с каким-то человеком и что он прогуляется по Парижу пешком. Он пойдет по набережным. Вновь увидит абсиду собора Парижской богородицы...

— Что ж, — сказал он, — мне пора.

— Да, конечно. Я знала, что настанет минута, когда я услышу эти слова.

Он обнял ее. Сказал, что они еще увидятся. Сказал, что жизнь длинная и что не надо быть дурочкой. В поезде она показалась ему искушенной женщиной, которая прекрасно знает, чего хочет, а сейчас она ведет себя как девочка, и напрасно, потому что это только осложнит им обоим жизнь. Он не видел ее лица. Она спряталась под одеяло. Потом легонько оттолкнула его, провела пальцами по его волосам и сказала:

— Ты слишком много говоришь. Давай позавтракаем

вместе? Я знаю один хороший ресторан, совсем такой, как до войны...— Она рассмеялась.— Но, собственно, почему я так говорю? Ведь до войны я ни разу не была в ресторане... Впрочем, это не совсем верно. Была раза два с родителями. Официант еще спросил тогда: — А девочка что будет пить? Минеральную воду? Но я не считаю, что это называется быть в ресторане...

Симон улыбнулся.

— Я, наверно, тогда даже не взглянул бы на тебя, если б встретил на улице. Если бы я ехал на велосипеде, я бы крикнул: «Посторонись, девчужка!» Да, мальчикам и девочкам твоего возраста не повезло... Ведь до войны они даже не успели попробовать, что такое жизнь... А что ты дальше собираешься делать?

— Мосье, видимо, изволит шутить? О каком «дальше» идет речь? Когда это — «дальше»? После победы?

— Ты не веришь в нее?

— Почему же, верю. Но я убеждена в том, что если это затянется надолго, я не увижу победы. Можно проскочить раз, десять раз, но не сто раз...

Симон сжал ладонями ее голову и притянул к себе.

— И все же ты ведь не очень боишься? Вчера на вокзале ты была просто великолепно. На твоём лице ничего нельзя было прочесть — ну ровно ничего.

— Да. Возможно. Я умею это делать. Но в глубине души мне страшно, все время страшно... Я только притворяюсь, но на самом деле не могу привыкнуть. Жюстина, которую ты встретил в поезде, вся искусственная... Но то Жюстина. А ведь я не Жюстина. Я — Лоранс. Но я люблю Жюстину. Хотя она причинила мне немало зла. И все же я не Жюстина... Знаешь, почему я выбрала это имя?

— Из-за «Жюстины» де Сада?

— Конечно. Но все-таки почему?

— Не знаю,— сказал он,— но позволь вернуть тебе комплимент, который ты мне недавно сделала: по-моему, это тоже литературщина... И даже излишняя.

Она поцеловала его в волосы.

— И ты прав. Это не только литературщина, но и дурной вкус. И все же я выбрала это имя из-за «Жюстины» де Сада. Я выбрала его потому, что в нем есть что-то театральное. Так мне легче, понимаешь... Получается, что не я все делаю, а Жюстина. Я же только смотрю на эту сумасшедшую и дрожу от страха...

— А кто захотел, чтобы я пришел сюда — ты или Жюстина? Когда я поцеловал тебя в поезде, ты или Жюстина сказала мне «да»?

— Жюстина. Но сейчас уже я хочу, чтобы ты был со мной и чтобы ты вернулся ко мне...

Он сказал, что она прелесть, но яркий, по-летнему яркий свет, заливавший комнату, проникая сквозь щели в металлических ставнях, властно звал его на улицу, и у него было только одно желание — поскорее увидеть Париж. Любопытство, которое ощущал в эту минуту Симон, было, пожалуй, еще более острым, чем то, какое он, наверно, испытывал бы, проснувшись в номере отеля прославленного, но неизвестного ему города.

Он сказал, что должен торопиться. Они встретятся в Люксембургском саду, как только он договорится обо всем с тем человеком, и пойдут вместе завтракать в известный ей ресторан. Симон хотел было открыть ставни, но Жюстина сказала, что не стоит. Окно выходит во внутренний двор, и соседи привыкли к тому, что ставни в этой квартире уже многие годы не открываются. В ванной на століке, накрытом кружевной салфеточкой, Симон обнаружил опасную бритву и, намылившись марсельским мылом, побрился. Жюстина с восхищением смотрела на него.

— Где ты этому научился? Я и не подозревала, что есть еще люди, которые умеют это делать!

Он рассказал ей о Бейсаке. Однажды он нашел там опасную бритву своего деда и научился ею бриться. Жюстина заметила, что ей хотелось бы побывать в Бейсаке. Симон промолчал. Это уж слишком. Ей не место в Бейсаке. Она проводила его до двери. Он поцеловал ее под портретом герцога де Гиза и весело сказал: «До скорой встречи!», словно это уже вошло у них в обыкновение.

СВИДАНИЕ В ПАЛЕ-РОЙАЛЕ



Как-то выглядит Париж? — думал Симон. — Едва ли он изменился, если не считать, конечно, следов войны и оккупации... А вот я изменился...» И спускаясь по лестнице, он подумал, что изменилось прежде всего его отношение к смерти: он сроднился с ней. «Раньше, когда я гулял по

Парижу, я понятия не имел о том, что такое время. Теперь я знаю, что время так и течет у меня между пальцев. Запас отведенного мне времени непрерывно истощается, и он невозместим. Настанет день — возможно, это произойдет сейчас, во время свидания в Пале-Ройяле, — когда у меня вдруг, одним махом, отнимут все оставшееся время».

На улице его встретило такое веселое солнечное утро, что мрачные мысли тотчас же рассеялись. «Я веселый меланхолик», — подумал Симон. Он прикинул, как лучше идти к Пале-Ройялю, но тотчас понял, что путь, подсказываемый сердцем, отнюдь не тот, который диктуется осторожностью. Париж стал городом-западней, городом стратегическим, где следует избегать определенных мостов, определенных площадей, ибо там скорее всего можно нарваться на патруль. Появилась карта Парижа, соответствовавшая не истории этого города, а истории, которая творилась сейчас. Эта карта была составлена одновременно вражеской полицией и подпольщиками, сообразно их представлениям об опасных кварталах. Выбор маршрутов и мест свиданий зависел от принадлежности к той или иной организации. Так, коммунист, направляясь от Винного рынка к Пале-Ройялю, избрал бы совсем иной маршрут, чем участник движения Сопротивления из правых, привыкший к богатым кварталам и склонный назначать свидания на Елисейских полях. Симону ужасно хотелось пойти через Птичий рынок. Он мечтал посмотреть на ларьки, где его отец в свое время покупал то, без чего не обойтись обитателю предместья, вроде, например, розовых кустов, которые, если их неудачно подстричь, быстро превращаются в колючий шиповник. Туда несколько лет спустя он не без тайного умысла привел как-то в субботу Камиллу, чтобы она могла составить себе представление об укладе их жизни в Сен-Реми — простом, почти крестьянском. Она бродила по рынку, восхищаясь крошечными черепахами, любуясь аквариумами, где среди водорослей плавают эскадры рыбок величиной с булавочную головку, а он думал о том, что настанет день, когда он принесет с этого рынка ребенка, у которого, как у нее, будут глаза с поволокой, канарейку в белой деревянной клетке. Но этот день, вероятно, никогда не наступит, а сейчас Симон не может даже пройти мимо этого рынка, так как рядом, на набережной, находится полицейское управление. Симон попытался утешиться мыслью, что сейчас,

из-за войны, эти лавчонки, наверно, опустели. И он двинулся в путь по левому берегу Сены.

Он лишь мельком взглянул на лотки букинистов, к которым не заглядывал раньше из-за отсутствия времени и денег и возле которых сейчас с раздражением увидел солдат и офицеров оккупационной армии. Наверно, они воображают, что таким образом можно вобрать в себя все культурное наследие Запада! А может быть, они втайне восхищаются этим?

Вот и Лувр, вот Королевский мост, вот триумфальная арка на площади Карусель; к тому же апрельский воздух так прозрачен, а тело Симона еще хранит память о наслаждении новой любви! Сколько таких минут выпадает человеку в жизни? Совсем немного. Но счастье недолго переполняло Симона. Раньше здесь было полно цветов, над газонами были натянуты сетки, защищавшие их от воробьев, а надписи на триумфальной арке гласили, что она установлена в честь молниеносного завоевания Германии наполеоновскими войсками. Сейчас клумбы были перепаханы, надписи закрыты мешками с землей, а с балконов на улице Риволи свисали знамена со свастикой или с мальтийским крестом. Редкие прохожие шли по мостовой, так как вдоль тротуаров тянулись деревянные барьеры, за которыми, широко расставив ноги, стояли часовые в касках, держа палец на спусковом крючке автомата. Черные буквы по белому полю предупреждали, что «по нарушителям» будет немедленно открыт огонь. «И почему этот чудак,— подумал Симон,— назначил мне свидание в таком месте? Он просто сумасшедший! Интересно, на что я еще наткнусь?» Выйдя на площадь перед «Комеди франсез», он сверил свои часы с уличными и обнаружил, что его часы отстают на восемь минут. Состояние неуверенности испортило все удовольствие, какое обычно доставляли ему фонари с белыми шарами, несмотря на присутствие несчастного Мюссе, такого бесконечно больного в своем каменном кресле. Вид этих фонарей наводил на мысль о сумасбродном веселье, шумных празднествах, театральных кулисах. Тревога исподтишка прокралась к нему в душу. Мимо проехали молоденькие велосипедистки в легких юбочках, разлетавшихся на ветру, обнажая голые ноги; они наслаждались свежестью утра, пустынностью широкой авеню Оперы, и Симон подумал, что, пожалуй, самым трудным в жизни подпольщика является то, что она протекает среди мирных декораций, де-

корадий счастья и любви, декораций, которые почти ничем не напоминают об опасности, и если бы не присутствие вражеских солдат, их блокгаузов и их знамен, можно было бы даже забыть, почему и зачем ты здесь.

Симон опасливо пересек площадь, вошел в Пале-Ройаль и, не заходя под аркады, сел на скамейку в саду. Напротив, по другую сторону решетки, разгуливал какой-то тип с пухлым портфелем под мышкой. К нему подошел другой такой же праздный прохожий. Они стали рядом, плечом к плечу, и принялись рассматривать какие-то бумаги. Ярость Симона против этого Вендекса — одно имя чего стоит! — который назначил ему свидание в такой мышеловке, с каждой минутой возрастала. Он посмотрел на часы и решил, что подождет ровно три минуты сверх назначенного времени и уйдет. «Во всяком случае, — подумал он, — это не коммунист. Никогда коммунист не назначил бы здесь свидания». К человеку с портфелем подошел другой прохожий, и повторилась та же сцена. Видимо, тут было что-то, связанное с фальшивыми документами. Человек с портфелем выдавал документы вкрадчивыми жестами беспатентного торговца галстуками.

Симон поспешно встал, пересек сад и пошел по галерее Монпансье. Он пройдет туда и обратно и уйдет. В случае провала этого свидания у него для страховки назначена встреча на завтра в Шампионне, более удачном с его точки зрения месте. Из глубины галереи навстречу ему шел высокий человек. Симон хотел было обернуться, но побоялся, что это будет замечено. Он продолжал идти навстречу высокому человеку с тем же чувством, какое испытывал, когда шел по перрону вокзала, — с чувством, что он идет прямо в ловушку, как вдруг он признал в этом человеке Казо. От удивления Симон даже перестал злиться.

— Вот это да! — воскликнул он.

Казо слегка помедлил, затем быстрыми шагами, улыбаясь, подошел к нему и, протянув руку, произнес фразу, по которой Симон должен был признать Вендекса:

— Не могли бы вы сказать мне, где находится отель «Божоле»?

Оба заговорили разом: «Это ты! Ты!» — «Ну и ну!» — «Вот это да!..»

— А ты совсем не изменился, — заметил Симон.

— Да, — признался Казо, — настолько не изменился, что

даже противно! Мою рожу эти господа отлично знали еще до войны.

И все же он изменился. Не столько в деталях внешнего облика, хотя у него появились — в целях маскировки — черные усы и он стал носить более сильные очки из-за возросшей близорукости, — сколько в чем-то другом; в нем произошло бесконечное множество каких-то изменений, незаметных для тех, кто жил подле него все эти годы, и, однако, превративших его совсем в другого человека. Симону потребовалось несколько минут, прежде чем он привык к этому новому Казо 1944 года, который заменит в его памяти Казо прежних лет, того Казо, что ел колбасу из Верхней Гаронны и декламировал: «Так мускус, и бензой, и нард, и фимиам...»

— Пойдем-ка отсюда, — сказал Симон. — Мне здесь не нравится.

— Мне тоже, — признался Казо. — Я, кстати, здесь никогда не бываю. Ты, надеюсь, понимаешь, что не я выбрал это место для встречи. Свидание было назначено другим человеком, и я уже ничего не мог изменить. — Он почти совсем утратил свой южный акцент. — Мы, — добавил он, — мы так не работаем...

— Кто это мы?

Он засмеялся.

— Понимай, как знаешь. Ты... ты плаваешь все в тех же водах?

— А по-твоему, то, что произошло, могло заставить меня измениться?

— Здорово все-таки получилось, дружище! — воскликнул Казо. — Ну и повезло же мне. А я думал: кого-то на этот раз пришлют? Бойскаута? Как это вышло, что мы с тобой столько времени не виделись?

— Такова уж наша жизнь, — заметил Симон.

— Сейчас мы пойдем на квартиру, я покажу тебе, в чем будет состоять твоя работа, а потом поедим вместе...

Симон сказал, что, к сожалению, он занят.

— Уже деловой завтрак? Интригуешь? Подбираешь кандидатуры супрефектов?

— Нет, — сказал Симон, — супрефектш...

— Однако ты времени зря не теряешь...

Они расспрашивали друг друга о жизни, о делах, выясняя, кто кем стал, и оба про себя подумали, — хотя оба промолчали, — что, собственно, не стали ничем. Атмосфера

предвоенных лет, а потом сама война лишили их юности. Если не считать короткого лета 1936 года, которое навсегда останется в их памяти, того лета, когда над заводами развевались красные и трехцветные флаги, на площадях были воздвигнуты трибуны, шли колонны демонстрантов, когда на этом празднике, огни которого почти сразу же погасли, они видели рядом Тореза и Блюма,— если не считать этого короткого лета, оба жили все эти годы в тревожном предчувствии неизбежной катастрофы. Казо, который был тогда классным наставником, с головой ушел в профсоюзную деятельность. Симон признался, что главным образом читал газеты и много времени уделял личной жизни. Казо сказал, что помнит Камиллу. Сам он так и не женился. Он как раз собирался жениться, когда разразилась война. Симон впервые пытался рассказать кому-то другому, чем была его жизнь «после «Потемкина», как он это называл. И ему стало страшно оттого, что уже так много прожито. Оба, как всегда в подобных случаях, произносили какие-то имена: ну а этот? ну а тот? — и неизменно убеждались, что с каждым из этих людей произошло именно то, чего следовало ожидать. «Вот видишь, я же говорил...» На несколько секунд ожили, наполнились красками жизни, забытые лица. Казо рассказал, что он как-то встретил Лебра, их бывшего преподавателя из Сен-Реми.

— Да, Лебра «в порядке»! Еще бы. Знаешь, что он мне сказал? Он сказал: «Я делаю максимум... максимум возможного, поймите меня...» Ну а поскольку трудно сказать, что же возможно...

— Он, конечно, ведет дневник,— заметил Симон.— И после освобождения опубликует его. Выступит в качестве свидетеля нашей эпохи...

Но оба были довольны, что Лебра оказался «в порядке».

— В конце концов,— заметил Симон,— ведь это он научил нас родному языку.

— Да, конечно, но это не может служить оправданием пуганице, которая царит в его мыслях.

Симон промолчал. Он нередко с увлечением слушал в Сен-Реми мечтательные разглагольствования Лебра, в чем изображении революции представляла в виде некоего расплывчатого сияния. Правда, Лебра признавал, что сияние это исходит с Востока... как с Востока встает солнце...

— Лебра...— с грустью промолвил он.— Лебра... Вообще-то говоря... все мы были тогда под обаянием «высоких слов». Я— во всяком случае. Мы учились понимать высокие слова. Потом пришлось переучиваться, а теперь... Ах, до чего же это трудно...

— Не так уж трудно, когда у тебя есть ключ.

— Какой ключ?

— Марксизм,— сказал Казо.

Глубокая убежденность, прозвучавшая в его голосе, тронула Симона. При других обстоятельствах эта уверенность вызвала бы у Симона некоторое раздражение, но в то утро, в оккупированном Париже, Казо имел право так говорить.

Они подошли к дому из грубо обтесанного камня, на фронте которого по всем этажам висели гирлянды из роз и какие-то другие загадочные лепные украшения. Дощечка над входом гласила, что это пышное здание является собственностью одной из страховых компаний.

— При такой вывеске мы можем быть спокойны,— пошутил Симон.— А как насчет привратниц?

— Они не в курсе дел, но вполне приемлемы. И потом, у нас неплохая ширма: бюро по изучению состояния рынка, которое существует и поныне или, во всяком случае, существовало еще совсем недавно. Владелец его уехал в южную зону. Кроме того, на третьем этаже живет зубной врач. Он может служить алиби...

Квартира была того же типа, что и у Жюстины: при входе стояли средневековые латы— вероятно, для того, чтобы создать у клиента ощущение безопасности; они играли здесь ту же роль, что и приставка «де», которую часто прибавляют к своим фамилиям агенты по страхованию жизни.

— Удивительная вещь,— заметил Симон,— почти все тайные квартиры обладают «семейным сходством».

Оба позубоскалили на этот счет. Казо заметил, что здесь нет ничего удивительного.

— Это не случайно. Люди, которые помогают нам, предоставляя свои квартиры, располагают крупными средствами и живут в обширных апартаментах. Будучи людьми богатыми и к тому же патриотами, они, как правило, придерживаются определенных традиций. Вот почему можно без труда представить себе, как обставлены эти квартиры...

Интересно, счастливы ли были люди, которые здесь жили? Симон утверждал, что нет. А Казо с ним не соглашался.

— Такие люди живут, не ведая душевного разлада. А это главное. Они считают, что их образ жизни — наилучший. А вот мы — мы не знаем, как мы живем. Завязывая галстук, я всякий раз говорю себе, что мой отец не знал даже, с какой стороны приступить к такому делу. Ему это не было нужно. Два-три раза в год, отправляясь на похороны, он надевал черный галстук с готовым узлом.

Симон удивился откровенности Казо. Он не мог припомнить, чтобы Казо смотрел на что-нибудь не с «политической», а с иной точки зрения. У Симона даже мелькнула мысль, что они могут стать друзьями. Он помог Казо разложить папки на столе в стиле ампира, стоявшем перед камином. В одной папке лежала почта из Лондона. Симон перебирал листы тончайшей бумаги, на которой телеграфным стилем были изложены трагические истории человеческих жизней. Он представил себе, как эту почту готовили там, в Англии: машинистка, офицеры разведки, чашки с чаем, запах трубочного табака.

— В прошлом месяце в Париже мы им дали жару, — заметил Казо. — Ты слышал про дело на улице Архивов?

Симон сказал, что в южной зоне об этом не было разговоров. А в Париже об этом кричали заголовки всех газет. В грузовик вермахта среди бела дня была брошена граната. Оцепили весь квартал. «Пари-суар» поместила фотографию одного из арестованных патриотов. Она хранится здесь, в папке.

— Не узнаешь? А ведь ты его знал...

На черно-белой фотографии — рассеченное лицо, изуродованное, распухшее, как у человека, умершего неделю назад.

— Нет, — сказал Симон.

— Это Гранж. Неужели ты не помнишь Гранжа, одного из руководителей Союза молодежи? Поля Гранжа? Но уж фамилию-то его ты, во всяком случае, должен знать! Он воевал в Испании. В свое время был довольно известен...

— Да, да, конечно, — сказал Симон. — Постой-ка...

Однажды утром, в воскресенье, через двор вокзала Аустерлиц шли люди с пением «Интернационала». Усталые, лихорадочно возбужденные. Симону показалось тогда, что, проходя мимо, они с укоризной смотрели на случай-

ных очевидцев демонстрации. Или, может быть, он увидел в их взглядах укор, потому что сам укорял себя в душе?

— Гранж?.. Гранж...

И Симон внезапно вспомнил Поля по той же ассоциации, которая привлекла его внимание к фамилии Поля в тот вечер, когда показывали «Потемкина» и Казо крикнул: «Эй, Гранж!» Он запомнил эту фамилию, потому что и Борд и Гранж на разных наречиях означают одно и то же — гумно.

— Ну конечно,— воскликнул он,— конечно, я его помню! Ну да, Гранж! Поль Гранж, а подружку его звали Полеттой, Поль и Полетта... Ты познакомил нас после показа «Потемкина».

Казо сказал, что он этого не помнит. Однако самый вечер, несмотря на то, что он много раз видел «Потемкина», Казо отлично помнил.

— Ты, конечно, помнишь об этом вечере, потому что там был Андре Жид...

— Боюсь, что да,— признался Казо.— Ну и подлец же... Как подумаю, что он тогда для нас значил!

— Вы просто немножко поторопились... Позволь тебе сказать, что было просто наивно думать, будто Андре Жид может быть верен какой-либо идее больше двух-трех лет.

Казо пожал плечами.

— Не он единственный...

— Собственно, мы одного тогда не поняли,— продолжал Симон,— не знаю, почему я сказал «вы», ведь я тоже на эту удочку попался... Так вот, мы не поняли того, что Андре Жид принадлежал прошлому. Прежде чем пускать этого человека на наши трибуны, надо было почитать его книги! Как подумаю, что именно он произносил надгробную речь на похоронах Горького... на Красной площади... Фантастика да и только!

Вырезанный из «Пари-суар» снимок сопровождали несколько строк текста, написанных от руки явно измененным почерком. Несколько сухих фраз, в которых заключался отчет о событии.

— Известно, что с ним стало?

— Нет,— сказал Казо.— Но ты же понимаешь: арестован с оружием в руках... Посмотри, во что они его превратили. Я бы сам его не узнал. Мне сказали, что это он...

Они вместе просмотрели дневную почту. Казо вскрывал конверты, склеенные друг с другом гармошкой при помощи

липкой бумаги. Он объяснил Симону, что значат некоторые служебные сокращения, которые надо ставить на вторых экземплярах перед их отправкой дальше. Симон рассеянно слушал. Занавеси на окнах были наполовину задернуты. Он думал о губах Жюстины, о ее руках, о ее прохладных коленях.

— Тебе скучно?

— Нет, нет, продолжай...

— Ты считаешь, что все это ненужная канцелярщина?

Но должен же кто-то этим заниматься...

Завыли сирены. Приятели подошли к окну и, раздвинув занавеси, увидели очень высоко в небе бомбардировщики, походившие на блестящие точки. Им показалось, что взрывы раздались где-то очень близко. Задражали стекла.

— Это ничего не дает,— заметил Казо.— Как подумаю, что наши могли бы делать это более умело, будь у них все необходимое... Завтра мы, должно быть, услышим, что произошло!

Завтра в газетах появятся фотографии убитых. Фотографии погибших железнодорожников, безвестных людей, живущих в маленьких домиках разбомбленного пригорода. Кардинал приедет благословить их останки.

Новая волна взрывов, более сильная, с оглушительным треском прокатилась по городу. Небо над Парижем превратилось в грохочущий купол. Раздался звук осыпающегося щебня.

— Русские так не бомбят,— заметил Казо.— Они делают это лишь в случае крайней необходимости.

— А может быть, это как раз и есть такой случай...

— Возможно...

Казо закрыл папку с надписью: «Корреспонденция за день».

— Ты обнаружишь здесь, конечно, немало всяких ахинеи... Вряд ли нужно говорить тебе об этом. В движении Сопротивления с этой весны появился такой народец!.. Уже формируются министерства и префектуры. Планы, контрпланы, сплошная мышьяная возня! Запрещение нищенства после пяти часов вечера... Если они считают, что этот винегрет так уж необходим, пусть делают его сами... А ты поступай, как находишь нужным...— он поморгал близорукими глазами за толстыми стеклами очков,— как тебе подсказывает политическое чутье.

Казо положил папку на стол и снял очки. Закрыв глаза, он протер стекла клетчатым платком.

— Значит, ты так и не вступил в партию?

— Нет. Но сердцем...

Казо сделал гримасу, покачал головой, надел очки, сунул платок в карман, вытащил сигарету, разрезал ее и протянул половину Симону.

— Тебе смешно?

— Почему?

— Потому что я сказал — сердцем. Ты не веришь?

— Почему же, верю! Конечно, верю. Но ведь не могу же я сказать, что между членом партии и не членом партии нет никакой разницы! Что бы ты подумал обо мне, если бы я сказал тебе такое? Ты ведь и сам так не считаешь!.. Конечно, это не одно и то же.

Симон согласился, что это не одно и то же. Он рассказал Казо о своих беседах с Прево зимой тридцать девятого года. Казо без особого волнения выслушал известие о смерти Прево. А ведь он его хорошо знал.

— Что поделаешь! А ты знаешь, как он погиб?

Симон сказал, что Прево погиб у него на глазах, но не сказал как. Ему казалось теперь, что такая смерть — под грузовиком — не может считаться достойной на войне, которая ведется сейчас. А может быть, в глубине души Симон боялся принизить в глазах Казо собственный боевой опыт...

— Словом, Прево так и не удалось тебя убедить... Не мог этого сделать ни Прево, ни все то, что было потом! Что ж...— Казо приподнял плечи и посмотрел в потолок, словно Симон вдруг перестал его интересовать.— Что ж, должно быть, ты еще не созрел для такого шага! Но как же убедить тебя?

Симон пояснил, что он вовсе не считает свое поведение правильным. Нет. Он отнюдь не собирается оправдывать себя, просто ему хочется быть честным перед самим собой. Он боится, что не сумеет дать того, чего потребует от него партия.

— Я предпочитаю,— в заключение сказал он,— быть хорошим сочувствующим, чем посредственным коммунистом.

— Знакомая формулировка,— заметил Казо важным, несколько назидательным тоном, каким он обычно говорил, что марксизм — это ключ к пониманию, только на

этот раз Симон слушал его с раздражением.— Хочешь, я скажу, чего тебе недостает? Тебе недостает классового сознания...

Симон возмутился.

— Надеюсь, ты не станешь рассказывать мне о галстике твоего отца и о твоём крестьянском происхождении? Прошу тебя, не надо... Мы с тобой оба интеллигенты, и притом одной закваски... Во всяком случае, обещаю тебе подумать.

А может быть, Казо и прав? Может быть, ему и в самом деле еще не удалось избавиться от того, что он сам называл «миром Сен-Реми» — миром, где ничего не происходило, где мысли застывали, где восторг мог в одну минуту смениться разочарованием, где все в конце концов сводилось к чтению газет и обсуждению прочитанного. Быть может, для того, чтобы по-настоящему все понять, надо годами вешать табель на заводе, ничего не ожидая для себя, чтобы единственной надеждой, единственным чаем была победа твоего класса?

— Ты считаешь меня обывателем?

— В этом вопросе — да.

— В таком случае, что же делать?

— Ты сам прекрасно знаешь.— И Казо ткнул пальцем в сердце Симона.— Но ты романтик... Ты так и застрял на эпохе «Потемкина». На девятьсот пятом году... «Броненосец «Потемкин», конечно, фильм хороший, но это все-таки только фильм...

— Мы еще поговорим об этом,— сказал Симон. И, понизив голос, добавил: — Но мне, мне нужен «Потемкин»...

Он не сказал Казо, что для него «Потемкин» не просто корабль из Одесского порта, для него это пламя, пламя, которое, очевидно, до последней минуты горело в сердце такого вот Поля Гранжа и которое нельзя возместить одним классовым сознанием.

Казо сжигал конверты в камине стиля эпохи Возрождения.

— Не забывай всякий раз хорошенько перевернуть пепел,— бесстрастно заметил он.

— Хорошо, шеф,— сказал Симон.

«В сущности,— подумал он,— мы ведь никогда не были друзьями. Я восторгался им, но друзьями мы не были. Он всегда прав, только кому нужна такая правота? Работать с ним будет не очень-то весело».

Он извинился, сказав, что ему пора идти. Он вернется к вечеру. Казо заметил, что его здесь уже не будет. И дал Симону ключ.

— Встретимся здесь завтра утром. Ты идешь перекусить со своей супрефектшей?

— Да, с супрефектшей,— ответил сквозь зубы Симон.

— Привет,— сказал Казо. Он помолчал и, указав на собственное сердце, добавил: — Вообще-то не слишком полагайся на него...

Симон чуть заметно пожал плечами. «Работать с ним будет не очень-то весело!»

ИГРА В ПРАВДУ

Жюстина ждала у решетки Люксембургского сада, где шпалерами тянулись знаменитые грушевые деревья и опытные ульи. Симону прежде всего бросилось в глаза ее короткое платье в крупных желтых и красных цветах, которое он нашел немного кричащим. Не понравилась ему и прическа — рыжеватые волосы. Жюстины лежали по плечам, а спереди были приподняты в виде пышного кока, — но такова была мода. В больших глазах Жюстины отражалось солнце, однако она не мигала.

— Какая ты красивая!

Жюстина радостно улыбнулась. Так приятно ждать, сказала она, когда знаешь, что предстоит недельное свидание.

— Ну что ж,— сказал Симон,— давай хоть поцелуемся для виду. Держись естественнее! — Он обнял ее и закрыл глаза. Она была вся пропитана солнечным теплом. — Какая погода! — воскликнул он. — Вот увидишь, они скоро высадятся!.. Ты хочешь есть? Я, например, предпочитаю погулять... А что, если мы зайдем к тебе? Поесть мы успеем и после войны... А вот любовь...

На лице ее вдруг снова появилась маска, как тогда, в поезде. Симон впервые видел ее такой при дневном свете.

— Ты сердишься?

— Нет, не сержусь. Я просто хочу есть.

— У тебя словно два разных лица. Сейчас у тебя было такое лицо, как в поезде, когда мы встретились...

— У меня оно всегда такое, когда я на людях...

Они пошли к бульвару Монпарнас.

За проволочной сеткой солдатенхейма сидели военные и тупо тянули пенистое пиво. Какой-то немец-летчик улыбнулся Жюстине.

— Что ты думаешь, когда видишь вот такую улыбку?

— Как правило — ничего. О чем тут можно думать? Но если бы какая-то мысль у меня и возникла, то прежде всего это была бы мысль о моем отце и моей матери, которых они убили.

— А как по-твоему, у француженки может быть роман с немецким солдатом?

— Нет.

— Ни при каких обстоятельствах?

— Нет... — Она помедлила. — Если, конечно, эта женщина не считает, что любовь важнее всего...

— А ты этого не считаешь?

— Нет... А ты?

— Тоже.

Она рассмеялась, и маска с ее лица исчезла.

— Мне нравится, что мы думаем одинаково о самом важном.

Он взял ее под руку и прижал к себе.

— Давай продолжим игру в вопросы и ответы, хочешь? — спросил он. — Но условимся, что отвечать можно только «да» или «нет». Согласна?..

— Это старая штука. Ты предлагаешь сыграть в правду?

— Нет. Игра в правду, — это детская игра. Моя — более усовершенствованная: тут можно и солгать...

— В таком случае начинай.

— Значит, ты не считаешь, что любовь важнее всего?

— Нет.

— В таком случае ты считаешь самым важным в жизни то, чем ты сейчас занимаешься?

— Да.

— Если бы немцы выиграли войну, у тебя было бы желание жить?

— Нет, — сказала она. — А у тебя?

— Нет.

— Но ты все-таки будешь жить?

— А ты?

— Ты нарушаешь правила, — сказала она. — Видишь, ненадолго хватило у нас терпения вести игру...

— На этот вопрос невозможно ответить,— сказал он.— Если бы немцы выиграли войну, это было бы не навсегда.

— Ты уверен, что не навсегда?

— Да.

— Ты считаешь, что справедливость всегда торжествует?

— О нет,— сказал он,— нет... Но я считаю, что история идет в определенном направлении, а они пытаются повернуть ее вспять...

— А вот русские... Ты всегда верил, что они выиграют войну?

— Да.

— Не может быть. Вначале этому трудно было поверить. И никто этого не думал...

— Вот тут ты ошибаешься,— сказал он.— Ты была тогда совсем девочкой. Ты ничего не знала. Я видел одного парня в июле сорок первого года... Он не только не сомневался в том, что русские в конечном счете победят, но всякий раз, как немцы наступали, потирал руки. И говорил: «Вот здорово! Сами лезут в западню! Вот здорово!»

— И ты этому верил?

— И да и нет. Давай прекратим игру. Как ни удивительно, но я верил. Не разумом. Я верил... это трудно выразить словами...

— Ты верил сердцем?

Симон вспомнил, что сказал по этому поводу Казо, и запротестовал:

— Нет, нет. Это было что-то другое. Ты представить себе не можешь, чем была для нас Красная Армия. Что она собой олицетворяла... Чтобы Красную Армию кто-то мог победить... Люди, думавшие как я, видевшие мир таким, каким видел его я в свои двадцать лет или каким я его себе представлял, не могли в это поверить... Это была нелепость. Я говорил себе: «Этого не может быть. Что-то должно случиться, что-то совершенно неожиданное...» Не мог я поверить, что история вдруг повернет вспять. Так не бывает... Во всяком случае, не в таком масштабе. Отдельные мелкие случаи движения вспять, конечно, возможны, но не в таком масштабе и не навсегда. Вот во что я верил и во что верю сейчас. В это я верю...

— Но это же чистейший идеализм! — без тени улыбки заметила она.

Он рассмеялся.

— Сразу видно, что ты совсем недавно занималась философией. Ты славная...

Он хотел было поймать губами ее ухо, но она резко отстранилась.

— Я этого не люблю. Не люблю, когда мальчишки считают девушек идиотками. Ты разочаровываешь меня.

Он попросил у нее прощения.

— И все же,— заметил он,— идеализм — это нечто совсем другое. Ты все перепутала.

Они сели на скамейку и стали наблюдать за прохожими на бульваре. Перед витриной со скверной мазней собралась небольшая толпа, в том числе и немецкие солдаты, которые мечтательно глазели на цветы и на обнаженных женщин, возлежащих на мехах.

— Противно все-таки,— заметил, понизив голос, Симон.— Посмотри на них: они нисколько нас не боятся. Мы ничего не сделали для того, чтобы они нас боялись. Знаешь, о чем сейчас думают эти парни? Они думают о том, что после войны вернутся сюда пить пиво и любоваться женщинами. Мы не сумели превратить их жизнь в ад... Я, конечно, говорю о нас, французах...

Он рассказал Жюстине о Поле Гранже.

— Если бы в Париже нашлась тысяча парней вроде него, все было бы иначе. Но, видимо, это невозможно, это нелегко в такой стране, как наша... Люди стали что-то уж очень цепляться за жизнь...

Жюстина заметила, что она не так уж цепляется за жизнь.

— Но ведь у тебя есть ребенок...— сказал Симон.— Если, конечно, это правда...

— Что значит — если это правда? Разве можно такое выдумать?

Этот серьезный, интимный тон не показался ему неуместным. У него было такое ощущение, словно со времени их встречи в лионском поезде прошли тысячи часов и бесчисленное множество ночей.

— Как быстро мы шагаем,— заметил он.

— Когда я ждала тебя у вокзала,— сказала она,— и думала, что тебя задержали, мне вдруг стало так страшно за тебя — я решила даже, что я тебя полюбила. Возможно, любовь и в самом деле может длиться лишь несколько минут. А все остальное — лишь воспоминания об этих минутах.

Он промолчал. Эта фраза неожиданно вызвала к жизни образ Камиллы, возникший перед ним как упрек. Он не желал слышать таких слов ни от кого, кроме Камиллы. Но ведь он их уже услышал...

— Возможно,— сказал он.— Возможно. Но ведь у нас с тобой пока еще нет никаких воспоминаний...

— Ты так думаешь? А может быть, у нас их уже много. Гораздо больше, чем было бы в обычной жизни...

Он сказал, что да, возможно.

«Возможно, и в самом деле никогда уже не будет таких чудесных часов, как те, что они вырвали сейчас у судьбы. Возможно, до самой смерти не будет. Сколько всяких «возможно»!»

Они отправились на поиски ресторана. Хозяйка, к сожалению, не помнила мосье Шарля из Лиона, на которого сослалась Жюстина... Она за все потребовала талоны, даже за хлеб. Симон сидел напротив Жюстины, и руки их встретились над тарелкой, где остывало что-то серое и безнадежно жалкое. «О чем ты думаешь?» — спрашивали они друг друга.— «А ты?»

— О том же, о чем и ты,— сказала она.

— Бывают минуты, когда все надоедает,— заметил Симон.

Он добавил, что ему не очень нравится человек, с которым ему предстоит работать, хотя он знает его давно.

— Что это за человек?

— Самый обыкновенный. Что я могу сказать о нем? Очень честный. В свое время я восхищался им... У него есть все, чего не хватает мне, но он... как бы это сказать?.. Он слишком абстрактен, слишком все систематизирует...

Он подумал о квартире с тяжелыми занавесями на окнах.

Он будет сидеть там, прислушиваясь к звуку шагов. И настанет день, когда за звуком шагов неизбежно раздастся стук в дверь. Придет его черед.

— Пойдем погуляем,— неожиданно предложил он.

Они так и не притронулись к кофе из жареного ячменя с сахарином.

Жюстина извинилась. Им просто не повезло. Знакомые ребята говорили ей, что в этом бистро им подавали все, что угодно.

— На вечер,— сказала она,— я придумаю что-нибудь другое.

Он восторжен.

— А ведь в самом деле! У нас впереди еще вечер!

Они медленно прошли через Люксембургский сад. Перед наглухо закрытыми бункерами расхаживали солдаты в серо-зеленой форме, в касках, с автоматами через плечо.

— Они уничтожат Париж,— сказала Жюстина.— Вот увидишь. Когда они почувствуют, что дело худо, они все взорвут.

— Нет,— возразил Симон.— Не посмеют. Слишком сложно уничтожить Париж. Это будет дурно пахнуть, как говорят у нас на юге. А они постараются обернуть все себе на пользу. Когда-нибудь их даже похвалят за благородное поведение. И их генералы в отставке станут членами-корреспондентами академии военного учета и изящной словесности...

Жюстина закрыла глаза и, раздув ноздри, глубоко вдохнула воздух.

— Какая весна! Даже запах бензина не чувствуется. Пахнет землей...

— С чем связан для тебя Люксембургский сад?

— Ни с чем,— сказала она.— Я была совсем маленькая, когда меня увезли из Парижа, но мы жили не здесь. Я — дитя богатых кварталов. На этот счет двух мнений быть не может. В тех садах, куда меня водили гулять, детей сопровождали няни-англичанки, а по аллеям ездили коляски на очень высоких колесах с резиновыми шинами. Там был киоск, который назывался «Для детей нашего парка». Речь идет, конечно, о парке Монсо.

— А я не гулял в садах, я бегал по тротуарам. И мама смотрела за мной из окна. Тогда шла война. Война четырнадцатого года, конечно. Отец мой был на фронте. А затем мы переехали в пригород...

— А когда ты учился, где ты гулял?

— Я учился в закрытой школе.

Он рассказал, что представляла собою школа в Сен-Реми. А потом он рано женился и начал работать классным наставником. А вскоре началась война.

— Не очень увлекательная история...

Она улыбнулась.

— Какое это имеет значение?

— То есть как?

— Я просто хочу сказать, что все это уже отошло в прошлое.

— В данный момент — да, возможно. Но я рано или поздно вновь окажусь в тисках этого прошлого.

Жюстина заметила, что она по-настоящему не знает Парижа. Симон признался, что он тоже по-настоящему не знает его. В свое время он любил бродить по городу наугад, особенно, добавил он, по окраинным кварталам.

— Я шел, шел. И все надеялся, что вот сейчас что-нибудь случится. Скажем, встречу прекрасную женщину, удивительную умницу, и она вдруг решит, что раз в жизни можно совершить глупость — просто так, для разнообразия. Я смотрю на нее, она смотрит на меня... И вот, словно Тристан и Изольда, мы уже пьем любовный напиток...

— Так, по-твоему, бывает?

— Нет, конечно, но люди моего склада всегда чего-то ищут. Только это ни к чему не приводит. Так бедные охотники охотятся на коммунальных землях. И никогда ничего не убивают. Но ведь не в этом дело: главное — побродить, помечтать.

Она сказала, что им владеет дух отрицания и что он, видимо, не любит поэзию. Он заверил ее, что любит, но просто не умеет об этом говорить. А кроме того, у него очень плохая память. Те немногие стихи, какие он знает, выучены еще в детстве. Да и стихи эти такие, о которых сейчас даже смешно говорить. Например, в таком роде: «Бледная вечерняя звезда шлет мне привет издалека...» Или: «Один из консулов убит, другой бежит к Линтерне...»

Симон вдруг обнаружил, что они находятся почти рядом с его тайной квартирой. Они брели по Парижу куда глаза глядят. «Я с ума сошел, — подумал он. — Мы оба сошли с ума. Если я уже не вижу улиц и не замечаю людей, когда иду с нею, значит, я погиб, значит, скоро я начну говорить ей глупости. Мы причиним себе бездну мук и будем оба несчастны. Надо кончать».

— Нам пора расстаться, — сказал он. — Какой удивительный случай свел нас вчера в поезде! Я на всю жизнь запомню тебя в этом голубом освещении.

— Но разве вечером мы не обедаем вместе? — робко спросила она.

Он не ответил. На углу улицы, где находилась тайная квартира, он заметил за поворотом черный автомобиль-фургон, стоявший порожняком. Его присутствие делало

улицу особенно пустынной, и особенно необычной казалась тишина, в которой отчетливо раздавался стук деревянных подметок Жюстины по асфальту.

— Пойдем обратно, — сказал он.

— Почему? Тебя встревожил этот фургон? Ты считаешь, что он стоит здесь неспроста? Здесь что-то есть?

Он помедлил.

— Тут моя тайная квартира.

— А-а!.. Хочешь, я пойду посмотрю?

— Ты с ума сошла.

— Почему? При мне нет ничего предосудительного. Меня там никто не ждет. Я ведь могу ошибиться домом... этажом.

— Они прекрасно знают эту песенку. Ты с ума сошла.

— Мне хочется что-то сделать.

— Для меня?

— Для кого-нибудь. Хочется что-то сделать, безразлично для кого. Разреши, я схожу. Женщина вызывает меньше подозрений. В доме нет ничего такого, куда я могла бы зайти?.. Нет ли там врача или чего-нибудь в этом роде...

— Есть зубной врач. Но это глупо.

— Ты говоришь так потому, что не хочешь дать мне адрес?

Он отрывисто произнес:

— Ну хорошо, иди. Дом номер семнадцать, пятый этаж.

Он подумал, что если за квартирой установлена слежка, то и вся улица находится под наблюдением, — значит, завтра утром Казо может попасть в западню. Другая явка аннулирована. Никакого способа предупредить Казо нет.

Глаза у Жюстины были такие же лучистые, как и ночью при свете свечи. Она сказала, что документы у нее в полном порядке, и велела ждать ее в метро, но не более десяти минут.

Он отпустил ее без единого слова, без единого жеста, боясь выказать свою тревогу и дать волю голосу совести, который начинал звучать в нем, хотя Симон и убеждал себя, что Жюстина права, что нужно же кому-то пойти посмотреть, в чем дело, чтобы предупредить Казо. Хоть он и убеждал себя, что она сделала бы это для кого угодно другого, что он и сам поступил бы точно так же. Жюстина исчезла за углом. А что, если она не вернется? Никогда? Пока он шел к метро, а потом ждал ее под плакатом, на

котором была нарисована буква «V», увенчанная лавровым венком в знак скорой победы рейха, у него было такое ощущение, точно он отделен от остальных прохожих матовой стеклянной перегородкой. За стеклом двигались какие-то тени. Они принадлежали совсем другой эпохе. Границы времени как бы раздвинулись. Жюстина приобрела облик давней любви. Меньше чем за сутки она прошла с ним через все этапы жизни. Он видел ее подлинное лицо при самых разных обстоятельствах, и по мере того, как истекали последние секунды десятой минуты, она становилась для него средоточием вселенной.

Пора уходить. Он начал медленно спускаться по лестнице, ведущей в метро. Он пытался убедить себя, что ей, наверно, для большего правдоподобия пришлось зайти к зубному врачу. Твердил, что документы у нее в полном порядке и если даже полицейские устроили в квартире засаду, у них нет никаких оснований ее задерживать. Но он знал также, что им и не требуется для этого никаких оснований. Навстречу ему из метро выходила женщина с двумя детьми. Он посмотрел на них с умилением и подумал о том, какими станут они лет через пятнадцать — совсем другими, чем мы. О нашей жизни они будут знать лишь по рассказам, по речам, посвященным тем или иным событиям, по отголоскам, которые будут постепенно затихать, пока все это не отойдет в область истории, не станет главой из учебника. И появится «интересный труд по истории французского движения Сопротивления», который мы сами с любопытством прочтем, чтобы узнать, чем мы были и чем стали. Прежде чем направиться к билетной кассе, Симон в последний раз обернулся — в голове у него стоял шум, дышать было больно... Она жива! Она бегом спускалась с лестницы. Он принял ее, запыхавшуюся, в объятия. Лоб у нее был влажный. Она смеялась. Он сказал:

— Боже, как ты меня напугала!

Она ответила, что, право, нечего было пугаться... Ничего подозрительного она не заметила, но все же для порядка решила зайти к зубному врачу.

— Нам всюду что-то мерещится. А в данном случае и вовсе не было оснований для страхов. Ведь тогда стояли бы две машины, а не одна, и за рулем сидел бы шофер. А какая жестянка была на машине? С какими знаками? Ты даже не обратил на это внимания! Мы просто сумасшедшие!

В метро он крепко прижал ее к себе и закрыл глаза. Они многое хотели друг другу сказать, но не могли, потому что вокруг были люди, которые смотрели на них и слушали. Почему они смотрят на них? Да потому, что все в ту или иную пору своей жизни мечтали о таком счастье. Но счастье им либо не улыбнулось, либо они не захотели платить за него. Симон шепнул на ухо Жюстине:

— Ты совсем сумасшедшая. Ты страшно осложнила мне жизнь. Ты сама не понимаешь, что ты наделала!



ЧАСТЬ ПЯТАЯ

1946

ЕЩЕ ОДНО ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ИЮЛЯ



о Симон и сам толком ничего не понимал. Подобные истины не сразу доходят до человека.

Вечером 14 июля 1946 года на террасе кафе кто-то сказал:

— И каких только флагов не вывесили в окнах!

Симон насчитал тридцать два французских флага, восемнадцать американских, шестнадцать советских, двенадцать английских, один бельгийский и один какой-то неизвестный.

— А это чей флаг? — спрашивает он. — Там, слева за мостом, зеленый?

Никто не знает.

— У нас последнее время было столько союзников, — замечает Майор. — Нельзя же всех знать. Это флаг неизвестного союзника.

В небе загораются гроздьи синих, белых, красных огней. Танцующие вскрикивают: «Ах, какой красивый синий!», «Ах, какой красивый красный!» Оркестр играет для танцующих какую-то джазовую мелодию. Поблескивает Сена. Видны очертания особняков, в которых светятся высокие,

величественные окна. На заднем плане вырисовываются башни собора Парижской богородицы, над которыми колышется в луче прожектора трехцветный флаг. Тепло. Все пьют — ведь праздник. Никаких карточек. Что попросишь, то и подадут. Все, кто сидит здесь, встречаются почти каждый вечер: чаще — в Сен-Жермен-де-Пре, реже — на бульваре Монпарнас. Иногда забираются на Монмартр, но это случается совсем уж редко, это не в их стиле. Возможно, сегодня они отправятся туда посмотреть с высоты на иллюминированный Париж, потолкаться в праздничной толпе. Их десять человек, входящих в эту группу, которая сложилась после Освобождения из остатков довоенных групп и групп времен Сопротивления. Из тех, кто знал друг друга еще до войны, здесь только Казо, который не так уж часто приходит на эти встречи, да Симон с Камиллой. В пору Сопротивления к ним присоединились Бюзар и еще один, которого зовут Майором и с которым остальные впервые встретились в июне 1944 года. Он работает на радио. Он близок к властям. Он знает все, что происходит и что должно произойти. Это его обычно спрашивают: «А что говорят по этому поводу в хорошо информированных кругах?»

Было еще два или три человека, которых раньше никто не знал, это либо друзья погибших товарищей, либо их просто видели как-то в одном из ресторанов Тулузы или в Лионе, в ресторане «Веребочка», где было место тайных встреч. Этого вполне достаточно, чтобы принять их в свою среду. Когда в августе 1944 года занавес над подпольем поднялся, все сняли маски и посмотрели друг на друга. Кругом только и слышалось: «А, это ты! Так это был ты!» Таинственные люди, скрывавшиеся под псевдонимами, еще не все примирились с необходимостью снова стать тем, чем они были раньше и чем им предстояло стать — профессорами, преподавателями, торговцами, чиновниками, мэрами, механиками, печатниками. В прошлом году некоторые еще ходили в форме, чтобы продлить иллюзию... Но теперь этому наступает конец: повседневная жизнь обступила их. Она заставит этих дилетантов снова взяться за привычные занятия. Ведь из Лондона, из Америки, из провинциального уединения возвращаются профессионалы, которые все эти годы занимались измышлением небывлиц, выдаваемых ими за подлинную историю. Пошли разговоры о том, что люди хотят читать описания любовных страстей,

где не говорится ни о войне, ни об оккупации. Вот о чем думал Симон, подсчитывая флаги. Человека, который воскликнул: «И каких только флагов не вывесили в окнах!», зовут Марко. Симон не знает его фамилии. Он моложе их всех. До войны он, собственно, еще и не жил. Его увезли в концлагерь в сорок третьем году, еще совсем юнцом. Вернулся он оттуда в сорок пятом.

— У меня такое впечатление, что в прошлом году было гораздо больше флагов,— говорит Симон.

— В прошлом году меня здесь еще не было,— замечает Марко.— Я был тогда в Германии. И настолько никуда не годился, что меня положили в госпиталь неподалеку от лагеря. Боялись везти.

— Что за идиотскую вещь они играют? Ерунда какая-то. Не джаз, а черт знает что,— решительно объявляет Клара.

Кто-то говорит, что это классическая джазовая мелодия и что Клара ничего не понимает в музыке.

— Как это ничего не понимаю? — восклицает Клара.— Позволь, позволь!..

Клара хорошенькая. Она здесь впервые. Ее привел с собой Майор. Симон с тоскою смотрит на нее, потому что она здесь, а Жюстины нет. Он обещал часам к десяти зайти в «Пикадор», где его будет ждать Жюстина. Почему здесь Клара, а не Жюстина? Как все глупо. Ничего не получается. Ничего не выходит. Он смотрит на Камиллу. Камилла смотрит на Марко. Кто-то сказал, обращаясь к Марко:

— Что это ты сидишь с такой похоронной физиономией?

— Молчи уж,— ответил тот.— Не тебе судить, что такое похороны. Я-то знаю — я полгода проработал в крематории в лагере.

Он возил вагонетки, где грудой лежали трупы изможденных, высохших людей.

— Как это можно? — воскликнула Камилла.— Как можно такое выдержать? Неужели человек даже к этому привыкает?

Марко сказал, что да.

— В конце концов ко всему привыкаешь. Со временем уже можешь спокойно ходить среди трупов. И не замечаешь этого. Мозг не этим занят.

У Марко удивительно голубые глаза на худощавом

лице и, по мнению Симона, жесткий рисунок губ. Говорит он медленно, словно взвешивая каждое слово. «В его годы,— думает Симон,— я совсем не знал жизни. Я считал, что Андре Жид отдает себе отчет в своих словах и что героические личности похожи на персонажей Мальро. А вот этот парень в двадцать лет видел, как умирали тысячи людей. Он ежечасно ждал смерти. Он возил трупы. Невозможно сердиться на него после того, что он испытал».

— И вы считаете это классическим джазом! — вмешивается в разговор Казо.— Вы меня смешите! Что значит классический джаз? И классический по сравнению с чем? Прежде всего надо, чтобы эта какофония имела хоть какое-то отношение к музыке. А это трескотня, вывезенная из Америки, трескотня, которая к тому же нам дорого обойдется...

— Ерунда! — замечает Клара.— Никто так не думает. Люди хотят танцевать и слушать музыку, которой они были лишены многие годы.

— Красавица моя,— говорит Майор, обращаясь, собственно, не к ней, а ко всему столу,— пора бы тебе знать, что коммунист всегда на посту. Казо не пьет, как все мы, грешные, в честь Четырнадцатого июля. Он заботится о наших душах. От джаза можно перейти к кино, от кино — к поездке Блюма в Америку. А чем, собственно, занимался Блум в Вашингтоне? Он не только открыл двери Франции американскому кино. Он подготовил полный переворот во французской политике и полное ниспровержение старых союзов. Вот что он сделал. Потому что одно вытекает из другого.

Казо не сердится. Высоко подняв брови, он с грустью смотрит на Майора.

— Если ты хочешь отравить нам вечер,— говорит он,— так представь себе, это вполне тебе удалось...

Все собираются вокруг Казо. Похлопывают его по спине. Уверяют, что любят его и думают, как он.

— Но только, пожалуйста, хоть на один вечер оставь нас в покое. Ведь сегодня годовщина взятия Бастилии!

Он вежливо улыбается. Он говорит, что они несерьезные люди.

— Ошибаешься,— говорит Симон.— В общем-то мы люди серьезные. Но нельзя же всегда говорить об одном и том же.

Камилла курит, прикрыв глаза. Симон встает и цере-

монно приглашает ее танцевать, воспользовавшись уступкой, которую сделал оркестр для тех, кто, подобно ему, знает лишь довоенное танго. Они танцуют, прижавшись щекой к щеке. Он говорит:

— Вы учитесь, мадемуазель?

— Я очень хотела учиться,— отвечает она,— но началась война и мне пришлось зарабатывать на жизнь.

— Я ведь шучу,— заметил Симон.— Я представил себе, что мы с тобой только что познакомились и я занимаю тебя болтовней, как это принято в таких случаях. А ты сразу стала попрекать меня. Что с тобой?

— Ничего. А почему ты спрашиваешь? Совесть заговорила?

— Почему совесть?

— Поройся в своей памяти.

— Сегодня Четырнадцатое июля,— тихо говорит Симон.— Сейчас начнется фейерверк. Ты думаешь, я забыл?

— Не знаю. Я не забыла. А вот ты...

— Тебе не хочется танцевать?

— А тебе хочется?

— Ты же знаешь, что я не умею танцевать.

— Ну что ж, в таком случае не будем. К чему притворяться, будто это доставляет нам удовольствие?

— Ты сердисься?

Он прижимает ее к себе. У нее тот же голос, от нее пахнет теми же духами, у нее тот же затуманенный взгляд, который покорила его в тот первый вечер. Она нисколько не изменилась после того вечера, когда они Четырнадцатого июля любовались жалким фейерверком в Сен-Реми. Он твердит: «Это она, это моя любовь». На глаза ему навертываются слезы. Но разве можно плакать по-настоящему и в то же время так стремиться к Жюстине?! Эти слезы ничего не стоят. Да и вообще, что такое слезы?.. Камилла говорит: «Да, конечно!» — и вздыхает.

— Да, конечно, ты любишь меня, я — твоя любовь. Ты говоришь это, но сам не веришь. А ведь это правда. Никто не будет любить тебя так, как я. Никто, слышишь...

Она качает головой, как бы подтверждая, что это так, что это очень осложняет жизнь, но тем не менее это так. Тут уж ничего не поделаешь: «Никто не будет любить тебя так, как я».

— Но, дорогая моя, я ни от кого и не требовал такой любви,— говорит Симон.— Я никого в этом смысле не

поощрял. И к тому же это невозможно. Даже если б кто-то и захотел полюбить меня так, как ты, из этого ничего бы не вышло. На твоей стороне всегда будет преимущество многих лет совместной жизни... И потом, мы с тобой полюбили друг друга в такую пору... ничто не может сравниться с чувствами, которые испытываешь в этом возрасте. Так бывает, когда впервые видишь море. Что с тобой, ты плачешь? Прошу тебя, не надо.

Он почувствовал соленый вкус слезинки, скатившейся по ее щеке и пощекотавшей ему щеку.

— Я не плачу,— сказала она.— Ты все так хорошо объяснил. Просто удивительно. Но, к несчастью...

— Что к несчастью?

Она вздыхает.

— К несчастью...

— Это из-за...

— Плевала я на это...

— Ладно, ладно.

Он отстраняется от нее. Его глаза встречают взгляд голубых глаз Марко.

— Не нравится мне этот парень,— говорит Симон.

— Какое это имеет значение?

— Как ты догадалась, о ком я говорю?

Она пожимает плечами.

— Это не так уж трудно. Я угадываю все твои мысли.

— Так говорят, но это неправда, потому что люди не могли бы тогда жить вместе. Ты считаешь, что я ревную?

— Конечно, ревнуешь. И это глупо.

— Значит, я люблю тебя.

— Это ровно ничего не значит, и ты это прекрасно знаешь. Можно ревновать человека и больше не любить его.

— Ты считаешь, что я тебя больше не люблю?

Он умолкает. Все это ему наскучило. Его тянет в «Пикадор», где ждет Жюстина. Потом она пойдет к себе. Он сможет пойти к ней, если захочет. Она будет ждать его. Она уже ничего не скрывает. С тех пор как она сняла маску, которая была на ней в лионском поезде, выражение ее лица почти всегда одинаково. Она говорит либо «да», либо «нет». Она не играет. Однажды она сказала:

— Какая я неблагоприятная. Я не заставляю тебя волноваться. Не заставляю тебя заботиться обо мне. Должно быть, это неправильно. Но я не хочу. Это мне не нравится.

Танец кончился. Симон целует руку Камиллы и церемонно отводит ее на место. Майор о чем-то разглагольствует. Казо слушает, высоко подняв брови, упершись подбородком в сцепленные руки. Слушает, как экзаменатор. Речь идет по-прежнему о флагах.

— А вы, как я вижу, не очень продвинулись! — говорит Симон.

— Дорогой мой, — изрекает Майор, — мы мыслим диалектически. Ты правильно заметил насчет флагов. Сейчас их, безусловно, меньше. И с каждым годом их будет становиться все меньше.

Майор добавляет, что пора бы и перестать строить воздушные замки.

— А кто, собственно, их строит? Во всяком случае, не мы, — говорит Симон.

— Но и не мы, — говорит Казо. — Вы их строите. Вы только и говорите, что о революции. От движения Сопротивления к революции! Планы, контрпланы — сплошная мышьяная возня. Пыжитесь изо всех сил. Не смешите меня!

— Его можно понять, — говорит Симон. — Когда в Шестнадцатом округе на особняках появились советские флаги, в самом деле казалось, что мы стоим на пороге великих событий.

— Хозяева этих особнячков велели горничным приготовить красные флаги, — говорит Майор, отнюдь не склонный принимать на свой счет слова Казо. — «Мари, будьте добры, разыщите нам красный флаг, да поскорее, пожалуйста...» Но все это эпизоды. А факты показывают, что мы остановились — и дальше ни шагу. История застопорилась.

Майора спрашивают, что это значит: как может история застопориться? Но это слово ему понравилось. Он повторяет:

— Застопорилась, дорогой мой, застопорилась. Механизм цел. Все части его на месте. Все готово, и тем не менее он не действует. Что-то в нем застопорилось.

— Но что же именно?

Майор говорит, что не надо бояться слов: революция застопорилась.

— Мы ведь верили, что она будет, правда? Может, вы хотите сказать, что в августе сорок четвертого года вы в это не верили? И в сентябре тоже?

— В августе верили,— признается Симон,— а в октябре уже нет. Но все лето я верил.

— Верил во что? — серьезно спрашивает Марко.

— Тебе же сказали во что. Мы верили, что произойдет нечто необыкновенное. Нечто великое...

— А все-таки что же?

— Что?.. А вот что... Мы были наивные люди. Да, именно наивные: видели красные флаги в окнах, шатались по улицам с автоматами... И в конечном счете решили, что уже взяли Зимний дворец или скоро его возьмем... Это... Словом... это был «Потемкин», если угодно...

— Я этого фильма не видел,— заметил Марко.— Вы просто бредили. Сколько тогда было американских дивизий во Франции? Нет, право, вот уж романтическое поколение.

Симон чувствует, что в нем нарастает желание противоречить.

— Ну и что же?

Марко фыркает. Его голубые глаза пристально смотрят на пары, кружащиеся в танце под трехцветными огнями, но не видят их.

— Все это ни к чему,— говорит он.— Если бы я прислушивался к голосу чувств, меня бы уже давно не было на свете.

— Дорогой мой,— заявляет Майор,— вы преувеличиваете. Если бы вы сами не были немножко романтиком, вы бы не сидели в лагере, а готовились бы стать инспектором финансов.

— А я и готовился,— говорит Марко.

— Чудесно, чудесно! — восклицает Майор.— Вот вы и убили двух зайцев, мой дорогой, убили двух зайцев. Если при этом вы не совершите ошибки и не вступите хотя бы на время в коммунистическую партию, я могу предсказать вам весьма головокружительную карьеру, просто го-ло-во-кру-жительную, мой дорогой!

Клара заявляет, что они ужасно ей надоели. В эту минуту с беспечным видом, раздув ноздри и словно ко всему приноживаясь, появляется Бюзар. Он бросает на Клару взгляд, какой в 1943 или в 1944 году означал: «На это дело я иду сам». Все располнели после Освобождения, особенно Майор, но Бюзар остался все таким же худым. Глаза у него блестящие, нос острый, шея жилистая. Он похож на дьявола и, конечно, знает об этом. Он приглашает

Клару танцевать. Майор умолкает и нервно покусывает ус. Все смотрят на эту пару. У Бюзара танцует все — и голова и глаза. Он подпрыгивает и откидывает голову назад, чтобы лучше видеть партнершу.

— Он хочет пленить ее, — громко говорит кто-то.

Дрожащей рукой Майор проводит по белокурым усам.

— Вот мерзавец, — без тени улыбки шепчет он, — он отобьет ее у меня.

— Станные вы люди, — говорит Казо. — Вы меня просто смешите. Ну на что это похоже? Неужели достаточно одного вальса, чтобы вскружить девушке голову?

— Опыт показывает, что иногда этого бывает вполне достаточно, — замечает Марко.

Симон смотрит на Камиллу. Она не отворачивается. Она улыбается с отсутствующим видом. «Мне больно, — думает он, — но я ничего не могу ей сказать. Не имею права». Лицо у Майора, обычно такое веселое, сейчас померчнело. Губы, прикрытые усами, которые кажутся сейчас такими нелепыми, кривятся детской гримасой.

Клара и Бюзар возвращаются к столу порознь. Бюзар поднимает руку, словно боксер, одержавший победу на ринге. Глаза его блестят.

— А ведь он оправдывает свою фамилию, — говорит Камилла. — Он и в самом деле похож на луня.

— Ты же никогда в жизни не видела луня, — замечает Симон.

— На повестке дня стоял следующий вопрос, — прерывает их Марко: — действительно ли достаточно одного вальса?

— Достаточно для чего? — спрашивает Бюзар.

— Достаточно для того, чтобы осточертеть всем, — внезапно выкрикивает Майор и, вскочив из-за стола, уходит, ни с кем не попрощавшись.

— Что с ним? — спрашивает Клара. — Что это с ним? Он совсем с ума сошел!

— Верните его, — говорит Симон. — Ведь сегодня Четырнадцатое июля, нельзя же его так отпустить!

— Ну нет, — говорит она. — Пусть уходит. Он всегда говорит так, словно перед ним микрофон. Ничего, сам вернется.

— Нет, не вернется, — говорит Бюзар. — У него нет силы воли. Он уже поставил на этом крест.

— На повестке дня следующий вопрос, — говорит

Марко: — может ли один вальс перевернуть человеку всю жизнь?

— Да, — говорит Бюзар, — если у человека есть сила воли. Такие вещи случаются лишь с теми, у кого есть сила воли.

— До твоего появления, — бросает Симон, — мы говорили о серьезных вещах.

— А разве ревность — вещь не серьезная? — спрашивает Бюзар. — Вот Майор — ведь он страдает. И страдает он из-за собственной слабости. Он сейчас произносит сам себе речь. Он уверяет себя, что будет хладнокровен, бесстрастен и расчетлив. И для начала сбреет усы.

— Ну о чем мы говорим? Чего вы доискиваетесь? — спрашивает Камилла. — Почему не танцуете?

К столику подходит старушка и предлагает розы в плетеной корзиночке. Бюзар преподносит розу Камилле и другую розу Кларе. Цветы страшно дорогие. Голова у Симона тяжелая, в висках стучит. Он много выпил в этот вечер.

— Мы говорили о революции, — возвращает он беседу в прежнее русло. — Мы пытались понять, почему в тысяча девятьсот сорок четвертом году ничего не произошло. Вот ты, Бюзар, верил, что должно что-то произойти? Я, признаюсь, верил. Марко упрекает меня в излишнем романтизме. А Казо — тот молчит. Хотя уж он-то мог бы высказать свое мнение, мнение знатока.

— Мнение знатока, — заявляет Казо, — сводится к тому, что сейчас не время и не место обсуждать это.

— Отлично, папочка!

— Он прав, — говорит Бюзар. — Он здесь единственный серьезный человек.

Марко говорит что-то Камилле. Он наклоняется к ней. Правая рука его, лежащая на спинке стула, касается плеча Камиллы. «Я кретин», — говорит себе Симон. Внезапно он замечает, что последние пять минут не думает о Жюстине. «Из-за такой глупости я способен забыть о своем самом большом желании».

— Что же до твоего вопроса, — говорит Бюзар, — то я отвечаю на него «нет». В сорок четвертом году я ни минуты не верил, что во Франции может что-то произойти. Вот в девятнадцатом году верил. В девятнадцатом году мне было девятнадцать. Я три месяца воевал. Последние три месяца. Но они были очень тяжелыми. Почти все мои

ровесники считали тогда, что русская революция докатится и до нас. А в сорок четвертом году мне было сорок четыре...

— И ты примирился?..— перебивает его Казо с оттенком пренебрежения в голосе.

— Нет,— говорит Бюзар.— Я стал более трезво смотреть на вещи. Революция будет, но она произойдет иначе и позже. Сейчас она еще не назрела.

— Что же нужно делать для того, чтобы она назрела? — спрашивает Симон.

— Надо делать то, что делает Казо: терпеливо ее готовить.

— Почему же ты этим не занимаешься?

— Это не мое дело. Моя специальность — делать фильмы.

— В этом нет никакой логики,— говорит Казо.

Кто-то за соседним столиком окликает Бюзара. Он встает и легко, рассчитанными, как у официанта, движениями скользит между танцующими. По пути он внезапно сталкивается с Майором, который возвращается к их столику.

— А вот и он! — кричит Бюзар.— Значит, я ошибся. У него есть сила воли!

Марко встает, обнимает Камиллу за обнаженные плечи, и они идут танцевать. Клару приглашает какой-то посторонний.

— Я иду спать,— объявляет Казо.

— Посиди еще,— говорит Симон.— Ведь сегодня Четырнадцатое июля. Что ты намерен делать?

— Дрыхнуть,— говорит Казо.— Пройдусь пешком. А то ваша болтовня меня утомила.

— Как хочешь,— говорит Симон.

Казо уходит. Бюзар, сидящий за соседним столиком, машет ему рукой, когда он проходит мимо. Казо не отвечает.

— Выпьем,— предлагает Симон.

Он хочет взять рюмку левой рукой. Рука у него дрожит. Он видит перед собой недовольное лицо Майора, искривленные гримасой губы под усами. «У меня сейчас, наверно, такая же физиономия»,— думает он.

— Почему ты все-таки вернулся?

Майор дергает усы кончиками пальцев.

— Чтобы показать, что я плюю на это, мой дорогой.

— Если бы ты плевал на это, ты не рычал бы так, уходя.

— А я тебе говорю, что мне на это наплевать.

— Клара здесь с тобой?

— И со мной тоже.

— Что значит — тоже?

— А то и значит, что тоже.

— Нет, старина, — глухо говорит Симон, — нет, если женщина любит, она никогда не захочет... даже танцевать с другим. Сейчас, конечно, принято не обращать внимания на такие вещи, но тут, как ни странно, правы сутенеры. Когда хотят танцевать с их женщиной, спрашивают у них разрешения. И это правильно.

— А ты бы отказал, если б у тебя спросили разрешения?

— Нет, конечно.

Симон закрывает глаза. Музыка доносится словно изда- лека. Ему легко представить себе, как улыбается сейчас Ка- милла. Она улыбается так же, как улыбается обычно ему. «Но я не имею права. Я ничего не могу сказать ей из-за Жюстины. Это было бы несправедливо». Он ненавидит себя за то чувство, которое сейчас испытывает. Презирует себя, и все же тревога сжимает ему горло, туманит взгляд. Ка- милла весела, она о чем-то болтает с Марко. Она живет. Это совсем другая женщина. Внезапно она стала жить для себя и даже не подозревает об этом. Долгое время она была меч- тою Симона. А сейчас она существует сама по себе. Она стала чужой. Она отделилась от него. Стала как все прочие женщины. Такой, как Жюстина и любая другая. Она пере- стала быть единственной в мире, незаменимой.

— Ревность, — говорит Симон, — это чувство интелли- гентов. Это расплата за рассудочную любовь.

— Почему? А итальянские каменщики? — возражает Майор. — Я бы сказал как раз наоборот. Это чувство, рож- денное плотью, чувство, свойственное бедняку...

Оба молчат. Музыка прекратилась, потом зазвучала вновь. Симон ищет взглядом Камиллу. Он не видит ее. Ему становится стыдно, и он перестает ее искать. Теперь тревога его переместилась куда-то выше, в виски. Она сродни той, что не покидала его в иные дни во время оккупации. Он узнает это чувство.

— До войны, — говорит Майор, — была у меня девушка, которую я любил. Я учился, она тоже. Жить вместе мы не

могли. У меня была комнатенка в университетском городке. Вечерами приходилось допоздна работать. У меня не было денег. Я говорил себе: «Ты не имеешь права портить ей жизнь». Время от времени она спрашивала: «Ты не возражаешь, если я пойду пообедать с таким-то?» Я говорил: «Нет, конечно». Потом она рассказывала мне об этих встречах: «Мы пообедали, а затем немножко потанцевали. Ты не против?» Я говорил: «Нет». А что еще я мог сказать? В такие вечера я не в состоянии был работать... На душе у меня лежал камень. Я страдал физически. Понимаешь?

— И ты возненавидел ее?

— Нет, нисколько. Я ее любил. Мне хотелось быть справедливым. Я бы скорее сдох, чем попросил ее никуда не ходить. Иногда днем я специально отправлялся посмотреть на кабачки и рестораны, о которых она мне говорила. Вот это любовь!.. Когда доходишь до того, что читаешь вывешенное у ресторана меню, словно это письмо от ее субъекта, которое ты нашел... и читаешь его только потому, что это меню она смотрела с другим... Даже сейчас, хотя я забыл ее и все уже кончено, есть места, куда я не могу ходить. Физически не могу... Если бы я встретил ее, я бы остался равнодушен. Она мне безразлична. Но если бы, скажем, я зашел в «Пикадор», мне бы тотчас представилось, что она сидит в зале под бандерильями с каким-то парнем, который держит ее руки в своих... В ее отсутствие я уходил из дому, потому что не мог работать, и шагал вдоль ограды парка Монсури, по улицам, прилегающим к Обсерватории — там еще есть что-то вроде мечети, — и терзался, терзался. Вот почему Бюзар вывел меня из себя. Я выглядел глупо. Я знаю. Ну и пусть... Так или иначе, я должен был выговориться. Ты меня, конечно, понимаешь...

— Да, — отвечает Симон. — Так она ходила в «Пикадор»? Чудно!

Клара возвращается к столу, красная, запыхавшаяся.

— А-а, вот и ты, мой зайчишка! Какой же ты все-таки глупыш!

Она проводит пальцами по его усам. Зайчишка смеется. Он возвращается к жизни. Подзывает Бюзара и всех остальных. Все спрашивают: «Что будем делать дальше?»

— Поедем на Монмартр в колымате Бюзара...

— Ты едешь с нами?

— Нет, — еле слышно отвечает Симон, — я занят. К тому же и Камилла куда-то исчезла.

— Оставь ее в покое,— говорит Бюзар.— Ведь сегодня Четырнадцатое июля. Она же не мешает тебе. Вот и ты не мешай ей. Соблюдай правила игры.

— Это меня утомляет.

— В таком случае забудь о ней. Уезжай. И не возвращайся. Ты губишь себя. Я наблюдал за тобой, пока Майор рассказывал тебе свою историю. Я тоже знаю эту его историю. Но для него уже все кончено. Для него это уже стало простым воспоминанием. Он выздоровел. А ты нет...

Он оборачивается — живой, веселый, похожий скорее на дрозда, чем на луня, думает Симон и внезапно начинает мечтать о том, как бы ему хотелось достичь такой непринужденности и «вырвать из сердца (именно так он подумал) сентиментальный вздор».

— Значит, ты с нами не едешь?

Симон качает головой.

— Я же сказал, что нет. Я занят.

— Только обещаю тебе,— говорит Бюзар,— что ты не будешь шататься по танцалькам с разбитым сердцем...

Он сморкается, поднимает голову, искоса смотрит на Симона. В глазах его загорается огонек. Одним духом он выпаливает:

— А машины Марко нет на месте.

— А-а,— говорит Симон, и сердце у него так бьется, что даже голос дрожит.— У Марко есть машина? Я не знал...

— Он не часто ею пользуется. Это «мерседес». Он привез ее из Германии. Ну а когда у человека есть машина, он может позволить себе что угодно...

Симон поджигает губы. Он не осмеливается поднести сигарету ко рту из боязни, что Бюзар заметит, как дрожат у него пальцы.

— А ты бываешь порой изрядным подлецом. Тебя это забавляет?

Но он произносит это отнюдь не оскорбительным тоном. Это даже не упрек. Просто констатация факта.

Бюзар пристально смотрит на Симона. Он кладет ему на плечо очень худую руку с длинными пальцами.

— Нет, не забавляет,— говорит он.— Я питаю слабость к тебе. И хочу тебе помочь.

— В чем же?

— Хочу помочь тебе перерезать пуповину.

Майор успокоился и мирно покуривает трубку; Клара

красит губы и прикусывает их, чтобы ровнее легла помада.

— Спасибо,— говорит Симон,— но мне не нужна повивальная бабка.

Бюзар весело взмахивает рукой, как бы говоря, что у него своя философия жизни, что впереди вся ночь и что он ждет от нее только удовольствий.

„МЕРСЕДЕС“



Симон шагает по окутанным мраком улицам. Ему не до советов Бюзара. Ему больше по душе печальное веселье импровизированных танцулек, на которых одинокая парочка, слившаяся в поцелуе, кружится между двумя выставленными на улицу столиками. Он разглядывает машины, его глаза ищут «мерседес». Он не решился спросить у Бюзара, как выглядит эта машина, сам же может отличить только тягач да открытый «опель». Перед глазами неотступно стоит оживленное, веселое лицо Камиллы. Он знает его до мельчайших черточек, и появившись на нем хотя бы мимолетное выражение скуки, он понял бы, что оно означает: «Я танцую с другим только потому, что мы на балу, и это вовсе не так уж приятно». Но Камилла и не пытается скрыть свое удовольствие.

На этот раз праздник Четырнадцатого июля безнадежно испорчен. Симону становится нестерпимо больно, когда он замечает обнимающиеся парочки в машинах, выстроившихся вдоль тротуаров. И все-таки он не пытается взять себя в руки, не делает ни малейшего усилия, чтобы вырвать из груди жгучее чувство ревности, от которого цепенеет все внутри, как от отравы. Его не отвлекают прохожие, не радуют яркие огни, звуки музыки, веселые возгласы и смех, вливающиеся в жаркую ночь из широко раскрытых окон; наоборот, все это снова и снова возвращает его к единственной, к мучительной мысли, по сравнению с которой все кажется ничтожным, жалким. Он чувствует, что выбит из колен. Обессиленный, с пересохшим горлом он бредет куда глаза глядят, возвращается, блуждает по улицам, попадает в какие-то тупики. И шепотом твердит про себя: «Я несчастлив с нею, но ничего не могу поделать... Ничего...»

Когда он входит наконец в бар «Пикадор», расположенный рядом с дансингом, до него с трудом доходят слова Жюстины:

— Что с тобой, милый? У тебя такой измученный вид! Что случилось?

Он успокаивает ее, произносит избитые, банальные фразы:

— Страшно жарко, можно задохнуться... Как глупо было назначить тебе свидание здесь... Ты давно тут?.. Безумие оставлять тут такую красавицу, как ты...

Она смеется, встряхнув золотистыми волосами.

— Это было бы безумием, если бы я обольщалась чарами здешних мужчин... Хотя, откровенно говоря, я, может быть и способна на такое безумие... Да, да. Здесь попадают типы, и в самом деле готовые ради тебя на любое безумство. Один только что прислал мне записку на листке из блокнота. Он написал: «Все, что пожелаете...» Я ответила на том же листке.

— Неужели ты ему ответила?

— Потребовала миллион.

— А если бы у него оказался миллион?

— Ну, знаешь, тот, кто может потратить миллион, не станет охотиться за женщинами в «Пикадоре».

— Но ты все-таки ответила! А если бы он заявил, что согласен?

— Не глупи... А что мне было делать, по-твоему? Пойми, я ведь женщина, сижу тут одна. Жду. Пью коктейль с вишенкой... Курю американские сигареты. Весь народ танцует, все на улице. В самом деле, не читать же мне газеты вечером Четырнадцатого июля!

— Ты сердишься?

— Не в том дело. Но такова жизнь.

— Да,— подтверждает Симон,— жизнь такова.

— Тебя злит то, что я рассказала?

— Да нет, что ты выдумываешь! Почему я должен злиться?

— Бывают ужасно ревнивые мужчины, ты себе даже представить не можешь. Они пришли бы в ярость. Но ты, видно, не ревнив.

— Не уверен.

— Меня ты не ревнуешь.

— Верно. Но правда, так лучше?

— Это уж другой вопрос.

— Но все-таки лучше?

— Пожалуй.

— Знаешь, я сегодня чуть с ума не сошел. Был просто нелеп. Камилла начала флиртовать с одним типом... Ей было явно приятно с ним. Она веселилась. А у меня голова пошла кругом. Как это нелепо! Какая это страшная болезнь. Сейчас, по дороге сюда, я был сам не свой. Даже о тебе не мог думать. Вот и теперь — я здесь, с тобой, мне хорошо, но... но голова занята другим. Я здесь и не здесь. Тебе я могу сказать правду.

Жюстина не отвечает. Она не смотрит на Симона, усердно ловит красную вишенку на дне стакана, надкусывает ее и говорит:

— Смотри-ка, она без косточки.

— Я навожу на тебя тоску. Не стесняйся, можешь сказать прямо. Я тебе надоел, ты совершенно права.

— Если бы ты мне надоел, я бы сказала. Мне хочется тебе помочь, но не знаю, что для этого нужно сделать. Раз тебя удручает, что Камилла проводит вечер с другим, значит, надо было самому оставаться с ней. Чего же проще? Больше ничего не могу посоветовать.

— Я не хочу потерять тебя.

Она не отвечает. Неторопливо, без особого любопытства, оглядывается кругом. Двое посетителей играют в кости. Американец в военной форме сидит, тупо уставившись в пустой стакан. Ему усердно строит глазки какая-то проститутка. Она уже немолода, чересчур накрашена, перед ней пустая чашка из-под кофе, на чашке следы губной помады. Американец ее не замечает. Бармен за стойкой молод, недурен собой. Он ловко, как фокусник, орудует стаканами и бутылками. Слышно, как с глухим стуком ложатся на стол костяшки, как громко звенит о стекло длинная металлическая ложечка, которой бармен помешивает кубики льда для коктейля. Из дансинга, расположенного в подвале, доносится музыка. Глухие урчащие звуки напоминают гул метрополитена. Временами из этого гула отчетливо вырывается громкий голос трубы. На стойке в шекере торчит пучок флажков — в честь Четырнадцатого июля.

Бармен приносит два стаканчика, он обращается с ними так осторожно, будто у него в руках хрупкие стебельки.

— Народу маловато, — говорит ему Симон.

— Такой уж нынче день. Все посетители либо на улице, либо в дансинге.

— Скажите, почему на стойке нет советского флажка в честь Четырнадцатого июля?

— Ну, здесь это многим не понравилось бы.

Бармен охотно объясняет; ему, видите ли, в общем совершенно безразлично, он высказал только чисто коммерческое соображение.

— Но я уверен,— не отстает Симон,— что в прошлом году этот флажок тут был.

— Понятия не имею. В прошлом году я был в армии. Но возможно, конечно. В прошлом году это было в моде.

Бармен удаляется, предварительно сунув под пепельницу чек.

Жюстине наконец удается поймать вишню. Она говорит:

— Что значит: «Я не хочу потерять тебя»? Это не в твоей воле. Я ведь ничего не требую. Довольна я или недовольна — это мое дело. Но не хочу видеть тебя несчастным. Ты себя изводишь.

— Об этом мне уже говорили. А что делать — ума не приложу,— бормочет Симон.

Правой рукой он крепко сжимает руку Жюстины, лежащую на бархатном диванчике.

— Я знаю, что осложнила тебе жизнь. Ты мне заявил об этом при первой же встрече. Сказал довольно недвусмысленно: «Ты осложнила мне жизнь».

— В действительности я так не думал,— тихо говорит Симон.— Я мог любоваться тобой, не боясь тебя потерять. Меня ничто не тревожило. Твое появление не вызвало в моей жизни никаких проблем. Я полагал, что они никогда и не возникнут, потому что у меня есть Камила и, следовательно, все вопросы решены раз и навсегда. Хотел уверить себя в этом, чтобы не омрачать своего счастья с тобой. Но теперь убедился, что это невозможно.

— Что невозможно?

— Невозможно жить так, как я живу сейчас. Все идет прахом. Я вдруг почувствовал, как летит время. Уже второе Четырнадцатое июля мы вместе, помнишь, как мы мечтали об этом празднике вдвоем, и вот...

— Пойдем посмотрим фейерверк.

— Нет, нет, прошу тебя. Что угодно, только не фейерверк.

— Но почему?

— Фейерверк напоминает мне первую встречу с Камиллой. Небольшой фейерверк на празднике в пригороде...

Впрочем... Нет, не пойду. Я себя знаю... только испорчу тебе удовольствие.

Она молчит, искоса смотрит на него, чуть склонив голову набок. Симон берет ее за руку.

— Скажи что-нибудь...

— Что ты хочешь от меня услышать? Сам должен решать, что для тебя главное. Я не требую от тебя окончательного выбора, если ты можешь и без этого быть счастливым. И даже если предпочтешь быть несчастным... ну что ж...

— А ты?

— Я... Это никого, кроме меня, не касается. Раз я здесь — значит, мне хочется быть здесь. Захочу уйти — скажу тебе прямо: уйду...

— Так и скажешь?

— Так и скажу.

— Никак не могу избавиться от детских иллюзий, от ребяческого представления о жизни, которое я себе создал.

— Разве это так необходимо?

— Да. Надо наконец перерезать пуповину.

— Ты повторяешь чужие слова. Сам ты так не скажешь.

Симон удовлетворенно улыбается.

— Ты права. Это слова Бюзара.

— Ты не годишься в герои бюзаровского фильма.

— Но он прав...

— Не знаю... Это слова... для диалога в картине. И вообще поговорим лучше о другом. Кто там был?

— Обычная компания и, как всегда, еще несколько человек. Все то же самое. Майор закатил истерику, потому что Бюзару вздумалось испытать свои чары на девушке, которую тот привел. Да! Вопреки обыкновению был еще и Казо, явился, очевидно, в честь взятия Бастилии, но он скоро ушел.

— Он меня недолюбливает.

— Ты олицетворяешь собою грех. А Казо грех противопоставлен. Однажды я ему все-таки рассказал, как ты ходила в конспиративную квартиру на улицу Флери проверить, все ли благополучно. В конце концов, это было сделано для него...

— А что он сказал?

— Что-то буркнул. Без всяких комментариев.

— Пошли отсюда, — внезапно сказала Жюстина. — Я хочу посмотреть фейерверк. Почему ты упрямисься?

— С фейерверком у меня связаны воспоминания.

— У меня тоже. Четырнадцатого июля у всех есть что вспомнить. Камилла — та пойдет. Она...

— Не думаю. Марко не из тех, кто любит фейерверками. Между прочим, это довольно любопытный тип...

— Брось думать о нем. Дай другим жить, в конце концов! Дай Камилле жить так, как ей хочется. Ты не имеешь права, нельзя быть несправедливым.

— Верно... Пошли.

Вскоре они вышли на Елисейские поля. Здесь сплошным потоком двигались тысячи машин, в обычные дни стоявших на приколе из-за нехватки бензина, и улица приняла свой прежний облик.

— До войны я ни разу не был в этом районе, — заметил Симон. — Впрочем, для меня тогда Париж ограничивался левым берегом, иногда я еще бывал в районе Центрального рынка.

— Ты там бывал? Ходил туда ужинать?

Симон горько рассмеялся.

— Да нет же! Просто мы с Камиллой искали приюта в захудалых отелях. Мы были беспомощны, как дети. До сих пор помню шум рынка, грохот грузовиков и... разговоры в соседнем номере. Там был отель «Три волхва». В то время я еще верил в любовь до гроба. Был безумно романтичен. До глупости.

— А разве это плохо? — настороженно спросила Жюстина.

— Что ж тут хорошего? Просто ребячество. Не было ничего похожего на правду. Лубочные картинки. Любовь я представлял себе, как большую дорогу, которой нет конца. А Революция рисовалась мне в громовых раскатах и озарении молний. Мы жили мечтой. Не только я, но и все прочие. На все взирали с палубы броненосца «Потемкин». Понимаешь, для нас существовали только Вечная Любовь и Шествие на Красной площади. Что-то в этом роде. Аллегория, персонажами которой мы себя вообразили... Потом началась война... Не стоит говорить о ней. Я впервые увидел смерть, она оставила во мне неизгладимый след, о ней постоянно вспоминаешь, потому что человек погиб рядом, на твоих глазах. Его раздавил грузовик. Обыкновенная дорожная катастрофа! Можно, конечно, говорить себе, что и Фабриций дель Донго в битве под Ватерлоо успел испытать не намного больше, но это не утешение.

— Не люблю, когда ты смеешься над собой. Это несправедливо.

— Я не смеюсь... Но иногда мне начинает казаться, что жизнь, как песок, просочилась у меня между пальцами. Теперь остается ждать начала очередного учебного года и груды тетрадей. Вот и все. Топчусь на месте.

Жюстина не отвечает. Симон машинально вглядывается в поток автомобилей, которые гудят на разные голоса, он ищет среди них «мерседес».

— Не люблю этот район. Почему ты молчишь? Тебе надоело? Думаешь, что я рисуюсь?

— Пожалуй, немного.

— Ты рассуждаешь, как Казо. Тоже считаешь, что я обыватель?

Она пожимает плечами.

— Какое мне дело до определений Казо! Я хочу, чтобы ты попытался быть хоть немного счастливее.

— Ты-то сама счастлива?

— Твое счастье сделало бы и меня в какой-то мере счастливой. Мы уцелели, мы вместе — это не так уж мало. А ведь мы могли оказаться в положении испанцев или греков...

— Может быть, еще окажемся.

— Ладно. Там видно будет.

Она заставляет его остановиться и посмотреть ей в глаза. Они затерялись в толпе, в шуме многоголосой речи, их охватывает теплое дыхание улицы. Небо пламенеет от бесчисленных огней, которыми на этот вечер снова расцвечился город, совсем как до войны. Глаза у Жюстины такие же лучистые, на лице те же тени, что и при первой их встрече в лионском поезде, когда он сказал ей: «Вы прекрасны». Симон снова произносит эти слова и добавляет:

— В тот вечер я вел себя как ловелас. И разговаривал почему-то совсем в стиле Бюзара.

— А сейчас?

Он молчит.

— А сейчас,— продолжает Жюстина,— ты будешь счастлив. Хватит горевать о том, чего не имеешь, и все время где-то витать.

— Вы прекрасны.

Она смеется, целует его.

— Вы черная кошечка.

— С белым пятнышком на шее.

Они направляются к площади Тэрн, где живет Жюстина. Она сейчас одна. Девочка уехала на каникулы. Меблированная квартира обставлена на редкость безвкусно. Но Симону это нравится, потому что напоминает комнату, где они впервые принадлежали друг другу, где простыни пахли лавандой и над изголовьем кровати висело позолоченное распятие. Там, на филейном покрывале с вытканными цветочками и птичками он в первый раз обнял ее. Он любит вновь переживать то, что испытано, но доволен, что не пошел смотреть фейерверк. На мгновение его охватила тоскливая тревога, когда взлетевшая в небо ракета залила комнату белесым светом. Они выпили немного вина. Все мысли улетучились. Их любовь была безоблачно радостной и веселой. Проснувшись, они сразу вскочили. Посмотрели на часы: уже четыре утра. Симоном овладело беспокойство, он почувствовал угрызения совести. Жюстина в ночной рубашке проводила его до входной двери и сказала:

— Помни. Надо быть счастливым.

— Не буду больше называть тебя Жюстиной,— неожиданно заявил он,— хватит. У тебя есть имя. Отныне ты для меня Лоранс.

— Как хочешь, это неважно,— ответила она.

— Нет, для меня важно. Жюстина — это то, что ушло в прошлое в моей жизни.

— Пожалуйста, если тебе так хочется.

В такси он вытер губы. Они припухли. От него пахло духами Лоранс. Заворачивая на свою улицу, он увидел отъезжавшую машину. В предрассветной тишине мотор ее гудел, как самолет. Шофер, давая Симону сдачу, заметил:

— Недурная штучка!

— Какая это машина?

— «Мерседес».

— А-а! Вот как! — сказал он.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

1954

В ПАМЯТЬ О БУДУЩЕМ

Я держу Лоранс под руку. Мы идем не спеша между рядами серых домов. Она в зимнем пальто, но и через материю я чувствую каждое движение ее тела, ощущаю ее тепло. Вдыхаю запах ее духов — никак не могу запомнить их название, хоть и не раз дарил ей флакон в годовщину нашей первой встречи, после которой прошло почти десять лет. Я искоса поглядываю на нее. Мне нравится, что она остригла свои золотистые волосы. Теперь я всегда ощущаю на губах прикосновение к ее атласной шее. Мне не хватает подходящих слов, чтобы говорить с ней. Я редко говорю ей: «Люблю тебя». Да это и неважно. Ведь это слова. А дела — они хороши и радостны. Я весь отдался своему счастью. Вероятно, и она тоже. Мы ни в чем не раскаиваемся, ни о чем не беспокоимся. Мы разговариваем обо всем, кроме любви. Мы живем».

— Ты не очень сердись, что я потащил тебя с собой?

— Нет, почему же? Во всяком случае, там будет Казо, я его знаю... и Гранж. Гранжа я знаю лучше. Казо ведь жив, а пока человек не умер... еще не все о нем знаешь... Но Гранж... Мне кажется, что и я была на «Броненосце

«Потемкин», когда ты впервые увидел Гранжа. Вероятно, потому, что так совпало: ведь мы познакомились в тот самый день, когда ты узнал о его гибели. Если не ошибаюсь, Казо тебе и сообщил об этом... Ты мне говорил о нем. Ты сказал: «Если бы в Париже нашлась тысяча таких парней, как Гранж, все было бы иначе...»

— Казо показал мне вырезку из «Пари-суар» с фотографией Гранжа, но, по правде говоря, я его не узнал... Прошло столько лет... К тому же все то утро я думал только о тебе — о Жюстине. Сегодня ты Жюстина. Сегодня мы отмечаем то время, когда ты была Жюстиной. Помнишь кружевное покрывало на кровати — там еще птички были вытканы, кажется. Над кроватью висело распятие. В то время ты была Жюстиной.

— Ну и продолжал бы называть меня по-прежнему Жюстиной.

— Нет. Это имя было порождено бравадой. В нем есть что-то от театра.

На ее губах появилась грустная усмешка.

— Я была горда собой,— сказала она,— считала себя передовой женщиной.

«Народ уже начинает собираться на церемонию, которую мы назвали, стремясь опоэтизировать ее, «чествованием памяти Поля Гранжа», хотя на самом деле это всего лишь, как и указано в разосланных приглашениях, «возложение венка» на углу одной из улиц Бельвиля, которой, кажется еще в 1945 году, присвоили имя Поля. Казо объяснил мне, что это как раз там, где раньше находилось кафе «Будущее», но предупреждал, что я не узнаю это место. Кафе теперь почему-то именуется «Адмирал». Казо должен выступить от имени партии и участников Сопротивления, а венок возложит Шодель из ассоциации ветеранов республиканской войны в Испании. Я, возможно, и не пришел бы сюда сегодня, если бы Казо не попросил меня об этом лично. Зачем, собственно? Но то, о чем просит меня Казо, тут же превращается в обязанность. Не могу сказать, что мы с ним друзья, мы почти не встречаемся, но, как и двадцать лет назад, я признаю его превосходство во всем, что касается политики. Я ему не раз говорил: «Ты как скала, ты наш Сен-Жюст». Вот он приближается к нам, протянув левую руку с таким видом, словно ждет, что ее облобызают...»

— Я боялся, что вы не придете,— говорит Казо.

— Что ты, что ты...— отвечает Симон.

Народу собралось немного. Что поделаешь, будний день, да и время неудобное.

Кто-то сообщает, что Шодель задерживается, он позвонил по телефону, поэтому церемонию придется отложить минут на десять-пятнадцать.

— Но ведь выступать будешь ты, не так ли? — спрашивает Симон. — Ничего не изменилось?

— Ничего, — говорит Казо, — просто венок должен возложить Шодель.

Собравшиеся топчутся на месте. Переговариваются. «Хоть и апрель, а прохладно...» — «Черт возьми, напрасно я не надел пальто...» — «Пойдем выпьем пока чего-нибудь...» — «Не рановато ли?..» — «А венок где?..» — «Уже привезли, лежит в кафе...» — «Как его прикрепят? Об этом подумали?..» — «Подумать-то подумали, но ничего не сделали. Обычно на мемориальной доске прибавляют специальные крючки...» — «Как же теперь быть?..» — «Ничего... Положим его на землю...» — «Полиция его там не оставит...» — «Оставит, не выдумывай: как-никак, улица названа его именем...» — «Да, но это было сразу после Освобождения, за эти десять лет много воды утекло...» — «У людей память короткая...»

— Скажите, много прохожих останавливается у мемориальной доски? — спрашивает Симон.

— А вы сами читаете имена на памятниках погибшим, скажем, в четырнадцатом-восемнадцатом годах?

— Да, представьте себе, иногда читаю, — отвечает Симон.

— Он преподает историю, у него это профессиональный рефлекс, — вмешивается в разговор Казо.

— Читать имена погибших на памятниках, если только они расположены не в алфавитном, а в хронологическом порядке, — это очень интересно, — говорит Симон. — По ним можно воссоздать происходившие драмы. Видишь, например, что один брат погиб в девятьсот четырнадцатом, а другой — в семнадцатом году, иногда это же имя встречаешь на памятнике жертвам сорокового года или среди расстрелянных в сорок третьем году. Невольно думаешь, что это, вероятно, сын... Бывают и одинокие жертвы, те, кто погиб в так называемых малых войнах — в Марокко или в Сирии. Трудно представить себе эти войны и как там люди погибали. Имена жертв войны в Индокитае еще не высечены на памятниках. Я по крайней мере нигде их не встречал...

Зато знаю один муниципалитет в департаменте Сены и Марны — народ там оказался предусмотрительный: оставили на памятнике чистую мраморную доску — так сказать, впрок... Есть еще одна категория военных жертв... Но я не знаю, отмечают ли их имена на памятниках... Они тоже погибли на войне, но не от пули. Просто несчастный случай. Словом, люди, которые могли бы умереть при таких же обстоятельствах, даже если бы и не было войны... Эта категория жертв учитывается?

— Для получения пенсии, во всяком случае, учитывается,— заметил кто-то.

— Безусловно,— подтвердил Казо.

— Такая смерть не менее трагична,— сказал Симон.— И совсем уж нелепа.

Симон замолчал. Он никогда не рассказывал Казо об обстоятельствах, при которых погиб Прево, хотя им и случалось его вспоминать — правда, все реже и реже. Не той смертью умер Прево, чтобы люди долго о нем помнили. Гранж — тот, наоборот, живет в их памяти.

— Вы его знали? — спрашивает кто-то.

— Да,— отвечает Симон.— Наше знакомство произошло как раз в кафе напротив. Мы возвращались из кино, где смотрели «Броненосец «Потемкин», Казо нас и познакомил... Просто не верится, что это было почти двадцать лет назад... Когда-то мне казалось, что двадцать лет — это чуть ли не целая жизнь, эпоха.

Кто-то заметил, что время летит быстро, даже не замечаешь.

— А потом, уже во время войны, я же и сообщил нашему товарищу Борду о смерти Гранжа,— сказал Казо.— Я очень хорошо это помню, потому что это было в тот день, когда мы снова встретились в Париже после многих лет разлуки... А вот и жена Гранжа.— Казо кивнул в сторону невысокой полной женщины в темном костюме.

— Жена Гранжа?

— Кстати, ты ее знаешь, во всяком случае по имени. Это Полетта Бурдые. Она была женою Гранжа, потом вышла замуж за Бурдые. Работает в ассоциации бывших узников фашизма.

Все заговорили разом.

«Так она свой человек?» — «Конечно». — «Не знаю». — «Я же тебе говорю!» — «Холодно что-то». — «Так ведь только начало апреля!» — «Как говорится, в апреле береги

тепло в теле». — «Пойдем выпьем черного кофе до прихода Шоделя». — «Кофе в такое время дня!»

— «Кафе «Адмирал». — «При чем тут, собственно, адмирал?»

— «Когда-то оно называлось «Будущее». — «А теперь ему следовало бы называться «Кафе воспоминаний». — «Кафе под таким названием встречаются возле кладбищ». — «Ничего удивительного, люди хотят жить, это же естественно. Раз уж есть быстро, оно и остается быстро». — «Конечно».

У входа вежливо уступают друг другу дорогу: «Входи, чего там, да входи же».

От прежнего кафе «Будущее» решительно ничего не осталось. Официант объясняет:

— Его снова открыли после войны. А во время войны кафе было закрыто.

— Наверно, хозяева были евреи?

— Да нет! Оверницы, само собою разумеется. Как и все хозяева быстро.

— Зачем так обобщать...

— Они умерли.

— Все в свое время помрем.

В «Адмирале» тепло. Сверкают огромные зеркальные стекла. Молодежь толпится у автомата.

...«Как все изменилось с появлением этих автоматов. Раньше беседовали, молодежь говорила о спорте, говорила о политике, говорила о любви. А теперь они только и делают, что трясут аппарат. Ничего не скажешь, развлечение замечательное. Просто не оторвешься. Можно увидеть Америку, можно увидеть мисс Юниверс, первую красавицу в мире. Можно углубиться в пустыню. Мчатся на скутере навстречу собственной гибели... Стоишь у пульта управления электроцентрали. Повелеваешь. Что-то делаешь. При чем все это привлекательнее, чем в жизни. Тебе кажется, что это всерьез. Что этот шум, треск, огни никогда не прекратятся. Летят миллионы долларов. Что-то обязательно выпадает и на твою долю. Может, и в самом деле тебе достанутся прелестные девушки и ты познаешь счастье...»

— Я размышлял о роли этих автоматов, — говорит Симон. — Об их влиянии на молодежь сейчас, в пятьдесят четвертом году.

— Ну, что касается этих парней, они просто лоботрясы, — замечает Казо.

— То же было и в наше время.

— В наше время таких аппаратов не было.

— Были,— вмешивается в разговор Лоранс,— только не электрические, и вы на них не смотрели. Так называемый японский биллиард.

— Не вам, Лоранс, говорить о том, что было в наше время,— возражает Казо.

— Согласна, мое время началось немного позже.

Казо отходит, чтобы с кем-то поздороваться.

— Не слушай его, радость моя,— шепчет Симон,— он говорит глупости. Наше время... Теперь оно и есть наше время. Теперь, когда мы вместе — ты и я.

Из зеркала в кафе «Адмирал» на него глядит сорокалетний лысоватый мужчина. Под глазами залегли две параллельные морщины, которые со временем станут глубже и шире, подчеркнут набрякшие мешки, превратятся в главную примету лица, и оно станет удивительно похожим на лицо старика отца, как бы подтверждая слова старожилы Бейсака, твердивших о мальчишке Симоне, что он, мол, «вылитый папаша»; впрочем, они неизменно говорят это обо всех старших сыновьях, вероятно для собственного успокоения, чтобы крепче уверовать в то, что жизнь не прекращается, а вовсе не потому, что это так на самом деле. Ведь если показать сегодня кому-нибудь снимок, сделанный в 1905 году возле кафе на авеню Мэн, он ни за что не догадается, кто именно в заснятой группе оказался впоследствии тем старичком, что копается нынче в своем саду в Сен-Реми, воюя с сорняками и гусеницами.

«Но ведь когда отец снимался, он был на двадцать лет моложе, чем я сейчас. Ему было приблизительно столько же, сколько мне в тот вечер, когда я пил здесь с Камиллой и остальными товарищами подогретый сомюр. Как чудесно называлось тогда кафе...»

— Вы не знаете, гарсон, почему переменили название кафе? Когда-то, до войны, оно называлось красиво — «Будущее»...

— Не коммерческое название. Отдает провинцией. Молодежь стала бы посмеиваться, сами понимаете... «Будущее»!

— Будущее,— сказал Казо, расслышавший только последнее слово,— будущее за нами.

Гарсон осторожно ставит перед ними чашечки с черным кофе.

— Кстати, по поводу будущего,— продолжает Симон,— мне рассказывали, что в Мексике есть кафе, вернее «пулькерия» — там пьют пульку, спирт из агавы; так вот, у этой пулькерии необычное название: «В память о будущем». Необычно, правда?

— Это поэтично звучит,— соглашается Казо,— но с точки зрения политической Мексика... не бог весть что.

Симон не сдается:

— Согласен, но в этом названии и заключается воспоминание о будущем. У них было великое будущее, вот они о нем и говорят, вспоминают. В этом все дело. Я слышал, что пулькерии очень красивы. Они отделаны мозаикой, украшены разноцветными стеклянными шарами.

— Вот бы туда съездить,— говорит Лоранс.

— Обязательно съездим. Отправимся в пулькерии вспоминать о прекрасном будущем, которое было нам уготовано...

— Ты не вправе так говорить,— замечает Казо.— Собственно, что ты хочешь этим сказать?

— Я имел в виду Мексику...

— Ты не о Мексике говорил...

— Да, если хочешь... Но ведь каждый может сказать это о своей жизни...

— Ты, однако, придавал этому другой смысл... Смысла по существу политический...

— Оставь,— говорит Симон.— Ты вечно всех изводишь...

— Не смешите меня, пожалуйста. Вы в самом деле меня со смеху уморите.

Казо снял очки. Прищурил глаза. Медленно протер толстые стекла.

— Не сердись, пожалуйста,— говорит Симон,— но ты всегда все перегибаешь. Со мной это еще куда ни шло, за двадцать лет я хорошо тебя изучил, но если ты так разговариваешь и с теми, кто тебя мало знает... Не думаю, чтобы ты мог оказать на них большое влияние.

Казо не спеша надевает очки.

— Что касается тебя, то кое-какое влияние я все же оказал,— торжественно произносит он.— Как-никак, а ты долго не мог решиться...

— Ты мне во многом помог, не отрицаю.— Симон смотрит на молодежь, суеющуюся у автомата.— Но и сама жизнь тоже помогла. Я один-единственный раз разговари-

вал с Гранжем, и тем не менее он мне очень помог. В сорок пятом году я вступил в партию Гранжа...

— Когда вы спорите, вы похожи на попов,— говорит Лоранс.

— Пожалуй.— И Симон машинально добавляет, обращаясь к гарсону: — Скажите, гарсон, этот район изменился после войны?..

— Все изменилось после войны! Даже здесь вы можете видеть, как модернизирована теперь торговля. Правда, с жильем дело по-прежнему обстоит чертовски плохо... если, конечно, вы не располагаете нужным миллионом...

— Сейчас мы проделаем опыт,— шепчет Симон.— Гарсон!

— Да, мосье?

— Вам известно, почему так названа эта улица?

— Это улица Поля Гранжа. Мне даже известно, что новые хозяева хотели назвать свое заведение «Ле гранж», но потом решили, что люди будут подшучивать. Сами понимаете: «Гранж» — это же значит «гумно».

Симон вспомнил, что видел недавно на авеню Жана Жореса магазин готового платья, который владелец по простоте душевной наименовал «Эlegantный Жорес».

Он продолжал допытываться:

— А вы знаете, кто был Поль Гранж?

— Там висит мемориальная доска,— ответил гарсон,— на ней все объяснено, но сами понимаете, что когда каждый день проходишь мимо, как-то внимания не обращаешь. Помоему, этот парень погиб в Индокитае или в дивизии Леклерка, когда брали Париж. Во всяком случае, что-то в этом роде. Сегодняшняя церемония в его честь?

— А ведь вы неправы,— говорит Симон.— Он был партизаном, франтирером. На доске написано.

— Да, на войне кому как повезет, тут уж ничего не поделаешь. Вы пришли сюда возложить венок?

— Да,— говорит Казо,— возложить венок.

— Нам это не мешает, пожалуйста,— снисходит гарсон.— А речи будут?

— Как же,— вздохнул Казо.

Сообщили, что Шодель наконец явился.

— Пошли.— Казо поднялся с места.



еред кафе «Адмирал» собрались приглашенные. Молодые люди, шумевшие у автомата, осведомились, в чем дело, и, узнав о предстоящей церемонии, умерили свой пыл.

Пришло человек тридцать. Кто-то заметил, что это совсем неплохо для подобной церемонии: «Сами понимаете, это всего лишь годовщина...» Шодель держал на сгибе левой руки принесенный из кафе венок, в правой — свой берет. Симону показалось, что глаза у него покраснели.

Прежде чем предоставить слово Казо, Шодель предложил присутствующим соблюсти минуту молчания. Симон поглядел на часы: 11 часов 35 минут, — понятно, почему на улице стало больше прохожих. Рабочие со стройки шли завтракать.

...Я действительно хотел бы посвятить минуту молчания памяти Поля Гранжа, сосредоточиться на мысли о нем, не отвлекаясь окружающим шумом, который свидетельствовал о том, что город продолжает жить своей жизнью. Но для этого недостаточно приостановить текущее время. Надо было бы охватить и прошлое, влить его в эту ничем не заполненную минуту. Я тщетно пытался представить себе лицо Поля, уже вошедшего в историю, лицо человека, чье имя высечено на мраморе, значится в телефонном справочнике на букву «Г» и на адресах писем и счетов, которые получают обитатели улицы Поля Гранжа в Двадцатом округе Парижа, — и не мог. В памяти сначала всплыло лицо молодого рабочего, сидевшего рядом с Андре Жидом на демонстрации фильма «Броненосец «Потемкин», — резко очерченное, грубоватое лицо, как бы привязанное к нескладному туловищу плохоньким зеленым кашне. Потом возникло загорелое лицо руководителя Союза молодежи, сидевшего — это было не то в 1937, не то в 1938 году — в президиуме, лицо человека, овеванного ореолом войны в Испании, откуда он временами приезжал в Париж... И, наконец, вспомнилось страшное лицо на снимке, который показал мне Казо в первый день нашей совместной работы в подполье на улице Флери. В тот момент я лишь мельком взглянул на него, но впоследствии оно в моей памяти воплотило в себе черты не только Гранжа, но и Эдгара, вечно поглаживавшего усики, которые он отрастил, чтобы не так бросался в глаза длинный нос, все же явившийся причиной его гибели под пуле-

метным огнем эсэсовцев на пляже Альтоны, и черты плотного смешливого Франсуа, расстрелянного на маленьком средиземноморском пляже, где его еще не остывший труп обнаружили десантные войска... У Франсуа, как и у Поля Гранжа, есть теперь своя улица — пыльный бульвар в Тулоне, который лет через пятьдесят так или иначе был бы назван именем Франсуа за его философские труды. И столько других лиц, так и оставшихся безвестными, растворившихся, исчезнувших в водовороте тайной катастрофы, сообщение о которой уместилось в одной строке. На мгновение промелькнуло в памяти воспоминание о Прево. Но обстоятельства смерти Прево до того не вязались с трагедией, о которой мы сегодня вспоминали, что казалось иногда, будто он погиб в войну четырнадцатого года и не принадлежал к нашему поколению. Когда по истечении минуты молчания мы подняли головы и я взглянул на Лоранс, в ее серых глазах затеплилась грустная улыбка, но неподвижные губы оставались плотно сжатыми, такими, какими я их любил. Я знал, что в ту минуту молчания она думала о Пробюсе, хотя никогда о нем не говорила и хотя существовал он теперь лишь на фотографии в комнате ее дочери. Все сначала ей говорили: «Вот твой папа», — а теперь она сама говорит: «Это мой отец, он погиб на войне», и говорит это не без упрека по моему адресу, так как я ей не отец и не погиб на войне...

Казо встал перед мемориальной доской и, прислонившись к лотку продавца устриц, начал монотонно читать свою речь. Наверно, со времени Освобождения ему пришлось произнести десятки таких речей, и я понимал — плохое зрение было виной тому, что он коверкал фразы, но мне казалось, что можно было бы найти другой тон, когда речь идет о Поле Гранже, иными словами, об определенном этапе нашей молодости, когда вспоминаешь не только легендарного героя, но и человека, которого мы хорошо знали еще до того, как он вошел в историю, знали просто как Поля Гранжа... Лоранс чуть приподняла левую бровь, как бы говоря мне: «Вот оно как!» Казо счел необходимым — и он, конечно, был прав — связать свою речь о Поле с текущими событиями. Я на его месте сделал бы то же самое, и будь Поль Гранж жив, он, несомненно, стал бы яростным и непримиримым противником боннских и парижских соглашений. И все же я невольно подумал, что соглашения эти со временем забудутся, как забыт ныне Порт-

смутский договор, при упоминании о котором начинают зевать от скуки мои ученики, тогда как через два-три десятка лет прохожий, не столь равнодушный, как гарсон из кафе «Адмирал», возможно, и не пройдет безучастно мимо плиты с надписью, посвященной памяти капитана франтиреров и партизан Поля Гранжа, умершего за Францию. Потом, вспомнив, что нам запретили написать на ленте венка слова «расстрелян немцами», я решил, что Казо совершенно правильно связал свою речь с текущими событиями. Раздражало меня не это, раздражал, повторяю, тон, стиль речи человека, которым я по-прежнему восхищался, но чья животрепещущая страсть и вера на моих глазах незаметно превращались в отрегулированный до совершенства механизм,— отрегулированный настолько, что я легко мог себе представить, как Казо, сидя в перерыве между двумя лекциями в преподавательской комнате лицея Сен-Реми над текстом своей речи, думал лишь о том, «куда бы сунуть боннские и парижские соглашения», причем эта вполне уместная, даже необходимая ссылка на текущие события отнюдь не была порождена действительными скорбными размышлениями о жизни и смерти Поля Гранжа. Впрочем, как знать? Может быть, такая уж у него манера... А у меня в ушах, когда я слушал речь Казо, звучал нежный шепот Гранжа, склонившегося к своей Полетте: «Пули, Пули...»

Казо кончил. Все стояли и молча смотрели на Шоделя, который вышел вперед с венком и тут же остановился в нерешительности, не зная, куда девать цветы — на мемориальной доске и в самом деле не оказалось крючка. Наконец он положил венок плашмя на сетку, прикрывавшую лоток продавца устриц, а тот, заметив это, поспешно вышел из кафе и переложил цветы со вкусом, отличавшим выставку его товаров,— и на нас вдруг пахнуло югом и морем. Шодель снял берет и встал навывтяжку. Наступила новая минута молчания, как мне кажется, никем не предусмотренная, но в ней приняли участие даже любители электроавтомата, прильнувшие к окнам кафе. Шодель произнес: «Благодарю вас». Те, у кого были шляпы и береты, надели их.

Толпа начала рассеиваться. Мыслями все были уже далеко, каждого уже подхватило течение повседневной жизни, прерванной на мгновение воспоминанием о Поле Гранже. Только Полетте Бурдые не хотелось, по-видимому, возвращаться к действительности. Она все еще стояла неподвижно, сложив руки на черной сумке, и смотрела на всех отсут-

ствующим взглядом. Казо подошел к ней и, указывая на Жюстину и Симона, спросил:

— Вы, кажется, знакомы?

— Нет как будто,— сказала Полетта.

— Это наш товарищ Борд и его супруга.

— А-а, да, да...

— Борд хорошо знал Поля,— продолжал Казо.

— Собственно говоря, я с ним несколько раз встречался... В этом нет ничего удивительного... ведь он был известный партийный работник... Но я очень хорошо помню день, когда познакомился с ним. Впрочем, и вы там были... Прошло почти двадцать лет. Вы, наверно, уже позабыли. Это было в кафе, оно называлось тогда «Будущее». А перед этим мы смотрели фильм «Броненосец «Потемкин»...

— Не помню,— сказала Полетта,— но вполне возможно. Полю ведь очень нравились советские фильмы.— И, обращаясь к Лоранс, она спросила: — Вы тоже знали Поля?

— О нет... Я... я ведь тогда была маленькая...

— Ясно.

«Сначала я подумал было, что в реплике Поветты слышится упрек по моему адресу; ибо в самом деле было ясно, что женщина с таким гладким, без единой морщинки, лицом, как у Лоранс, не могла знать Поля Гранжа в дни его молодости. Поветта как бы упрекала меня за то, что я оказался здесь сегодня не с Камиллой, она словно упрекала меня в измене памятной вечеру, о котором сама позабыла... Но почти тотчас же я сообразил, что она сказала это машинально, что ее «ясно» — среди членов партии слово «ясно» было тогда в моде — прозвучало так же, как прозвучало бы любое другое слово, скажем: «да» или «конечно». Я смотрел на нее, пытаюсь понять, как могла молоденькая девушка, которую нежно целовал Гранж, превратиться в полную, суровую женщину, в активистку из ассоциации бывших узников фашизма, жену Бурдые; в ее черной сумке, прижатой сейчас к груди, несомненно, лежат листовки с протестом против перевооружения Германии и список собраний, которые она проводит почти ежевечерне в рабочих пригородах, проводит несмотря ни на что, преодолевая усталость, добросовестно, и вспоминает о Поле всегда с благоговением».

— Мы часто говорили с Бордом о Поле,— продолжал Казо.— Я и сообщил ему об аресте Гранжа, когда мы были еще в подполье.

— Да, не повезло Полю! — Полетта говорила спокойно. — Одним словом... Я ведь сама ничего не знала. Меня арестовали две недели спустя в южной зоне. Последний раз мы виделись с ним в конце сорок третьего года. Да, встречали новый год... — Она задумчиво покачала головой.

— Он прожил замечательную жизнь, — сказал Симон.

— Он жил ради нашего идеала. Об этом он написал мне в своем последнем письме. Так оно и было на самом деле.

— Мне бы следовало процитировать его письмо в своей речи, — сказал Казо — но у меня ничего не было под руками.

— Были статьи о нем в «Юманите», — сказала Полетта. — Правда, давно.

Казо повернулся к Симону:

— Слушай, надо что-то предпринять. Именно тебе следовало бы написать что-нибудь о Гранже. Не статью, а настоящую большую работу. И посOLIDнее.

Симону мысль понравилась, он только выразил опасение, что трудно будет собрать нужный материал, и спросил, есть ли очевидцы подвига Поля.

Полетта сказала, что Гранж, судя по всему, общался с товарищами по заключению, — ведь через них он и переслал свое последнее письмо.

— У меня есть папка со всеми материалами, которые удалось собрать, — добавила она.

Симона увлекла мысль написать о Гранже, он испытывал радостное волнение, как бывало с ним всегда, когда он внезапно принимал решение, которое впоследствии оказывалось — увы! — слишком «романтичным».

— Да, да... — подхватил он. — Надо непременно что-то сделать, написать что-то такое, что увековечит имя Поля. Но это нелегкая задача.

Полетта предложила заглянуть к ней. Она предоставит в его распоряжение все материалы. У нее есть давние письма Поля, еще когда он был в Испании. Есть газетные вырезки. Она охотно поможет Симону.

— Тем более, что вы знали Поля. Личное знакомство. Что бы там ни говорили, это всегда очень помогает. А теперь мне пора.

Полетта направилась к метро медленным, спокойным шагом. Она не захотела, чтобы ее провожали. Да она и в самом деле жила далеко.

— Подумать только! — произнес Симон. — Это та самая Полетта, которая была вместе с нами в кафе «Будущее» двадцать лет назад!..

— Я вижу, этот вечер в кафе «Будущее» был великим событием в вашей жизни, — заметила Лоранс.

— Борд — романтик, — возразил Казо. — Он полагает, что бывают минуты, когда неожиданно все меняется. Он верит в откровения, способные изменить наши воззрения, в любовь с первого взгляда, притом, конечно, любовь роковую...

— Я верю в то, что вижу, и в то, что знаю, — сказал Симон.

— А разве я в это не верю?

— Нет, ты веришь в то, что говоришь...

— Не смейся, пожалуйста! — Казо от волнения произнес эти слова с таким явственно южным акцентом, что Симон даже умилился.

Добившись от Симона обещания держать его в курсе «работы о Гранже», как он уже успел окрестить свою идею, Казо протянул друзьям руку и, уверив их в том, что идет в другую сторону, быстро исчез.

— Откровенно говоря, он мне не очень-то нравится, — сказала Лоранс.

— Знаю, знаю, — отозвался Симон. — Однако Казо в своем роде совершенно исключительный тип. Только его надо принимать таким, каков он есть.

— Непонятно. Что значит — принимать людей такими, какие они есть? Вовсе это не обязательно... У Казо, кроме слов, ничего нет за душой. Я это почувствовала с первого взгляда. Он подбирает слова одно к другому, как в шараде, и весьма этим доволен. У него примитивный ум.

— Во время оккупации он вел себя очень хорошо, а ведь тогда это была не шутка...

— Во время оккупации все вели себя хорошо, — возразила Лоранс. — Конечно, те, кто хоть что-то делал. Даже те, кто не прочь был порисоваться, вроде Бюзара... Ты не хочешь угостить меня аперитивом?

Они вошли в кафе «Адмирал», там было многолюдно, как обычно в часы аперитива. Гарсон встретил их, точно старых знакомых.

— Что принести?

— Мне сомюр.

— А для мадам?

— Тоже,— сказала Лоранс.
— И ты будешь пить сомюр?
— А почему бы и нет?
— Да так. Глупо.
— Тебя это наводит здесь на какие-нибудь воспоминания?

— Нет. Ни здесь, ни в другом месте.

...Я смотрел, как она пила из наполненного до краев стакана. Наклонившись вперед, она, как кошка, быстрыми глотками лакала жадно вино. Мне нравилось, как она пьет, и я твердил себе, что ни за какие блага в мире не согласился бы лишиться той радости, которую она приносит мне ежечасно, и тем не менее, если бы устремленный на меня взгляд Лоранс, ясный взгляд ее лучистых глаз, мог проникнуть сквозь светлую, еще озаренную солнцем поверхность безмятежного моря нашего счастья, проникнуть в самую его глубину, странное открылось бы перед ней зрелище. Она верила, что я держусь вместе с ней на поверхности, а я между тем погружался в неведомые морские глубины, где уже давно покоились обломки корабля, на борт которого я вступил двадцать лет назад, уверенный, что со вершу на нем путешествие до самого конца. Камилла и после нашего разрыва жила открыто, на виду, и хотя я немного знал об этой жизни и почти ею не интересовался, все же иногда я встречал ее там, среди обломков нашего корабля, где она, как это бывает в самых банальных сказках, держала меня в плену, и я продолжал с ней диалог, в котором говорил за обоих, цепко удерживая в памяти незначительные детали, вроде воспоминания о том, как мы пили с ней сомюр в вечер «Потемкина»; и сейчас, видя, что ничего не подозревающая Лоранс погружает в него губы, я не мог не почувствовать себя виноватым...

МОРАЛЬ МИДИНЕТОН



Правившись дня через два побеседовать с Полеттой Бурдые, я, вероятно, поэтому старался не касаться событий из жизни Поля, связанных с днями их молодости,— я опасался, что это всколыхнет во мне воспоминания,— если, например, она начнет рассказывать о демонстрациях Народного фронта, в которых мы участвовали вместе с Камил-

лой. Вместе с ней мы шли тогда, взявшись за руки, и не только к колонне на площади Бастилии, но и навстречу — я едва осмеливался подумать об этом — вечной любви, навстречу Революции, навстречу чуду...

Выйдя замуж за Бурдые, Полетта поселилась в квартире на третьем этаже большого муниципального дома в одном из рабочих пригородов Парижа, где коммунистическая партия настолько влиятельна и так давно пустила корни, что жители склонны иногда считать эти дома некими островками социализма в капиталистическом обществе — иллюзия, охотно поддерживаемая нашими противниками, которые именуют эти пригороды «бастионами» и «крепостями», образовавшими якобы «красный пояс» вокруг богатых кварталов.

Верно одно: рабочие и мелкие служащие действительно чувствуют, что они здесь у себя, и не только потому, что их много и, следовательно, их уже не загонишь в лачуги, как в Сен-Реми, но и благодаря тысяче трогательных мелочей, которые позволяют иногда забыть окружающий мир и поверить на мгновение, что вот-вот осуществится великая надежда, ради которой живешь и которая помогает жить... В самом деле, вы снимаете квартиру на улице Карла Маркса или Максимилиана Робеспьера, вы покупаете «Юманите» вместе с билетом в метро, обращаетесь на «ты» к главному врачу диспансера — коммунисту, вы чувствуете себя своим человеком и в мэрии, и на стадионе, и в зале для собраний, здесь все знают друг друга, все сплочены и составляют столь явное большинство, что чужаки чувствуют себя тут не в своей тарелке, они даже жалеют о том, что соблазнились относительной дешевизной квартир. Эти люди то и дело сокрушенно твердят: «Да, конечно, здесь неплохо, но слишком уж все по-рабочему, знаете ли...» Или жалуются на то, что «для детей здесь ничего не предусмотрено», желая тем самым подчеркнуть, что в пригороде нет лица и нельзя даже отдохнуть в муниципальном парке, где полным-полно крикливых ребятишек, которые играют без присмотра, а по четвергам повязывают на шею красные галстуки — «ну совсем как в Москве».

В тот четверг, когда я сидел у Полетты, детишки действительно подняли такой гам, что ей пришлось встать и закрыть окно в столовой.

— Еще счастье, что моих нет дома, — сказала она.

У нее было двое мальчишек; она сняла их карточки

с комода, на котором стояла также фотография Сталина в форме маршала Советского Союза; фотография красовалась среди самых различных предметов — все это были, видимо, сувениры, полученные Полеттой и Бурдые после собраний, проведенных в разных уголках Франции, о чем свидетельствовали фигурки бретонских рыбаков, пиренейский крестьянин в сабо и берете, провансальская куколка с мимозой... Комнату заливал такой родной для меня мягкий свет, свет весеннего солнца и простора пригородов Иль-де-Франс, памятный мне свет послеполуденных часов по четвергам, когда не было уроков в школе, — этот мягкий свет озарял комнату, четыре плетеных стула, комод, модный буфет и в углу диван с полкой, заваленной книгами и брошюрами, названия которых мне тоже были знакомы. На квадратном столе лежала кружевная скатерть, и Полетта, решившая обязательно угостить меня, поставила на стол два бокала и начатую бутылку банюля.

— Итак, вы собираетесь написать книгу о Поле? — сказала она.

Я ответил, что попытаюсь что-то написать; возможно, это будет не книга, но уж, конечно, и не брошюра, потому что надо рассказать не только о жизни Поля — участника Сопротивления, но и о том, как он жил и боролся в довоенные годы, и, конечно, о его участии в испанских событиях. Рассказывая о своих планах, я вдруг почувствовал, что и без того нелегкая задача написать книгу о Поле стала для меня еще труднее после того, как я побывал здесь, увидел Полетту Бурдые в домашней обстановке. Меня не так поразило, что ничто в этой квартире не напоминает Поля, он ведь здесь никогда и не жил, и жилье это, видимо, воплощало в себе давнишнюю мечту Поветты об устроенной жизни, которую можно будет считать окончательно удавшейся, если она выведет своих мальчиков в люди, сделает их педагогами или инженерами, — но уж очень непонятна для меня была сама Полетта, уж очень она не соответствовала моему представлению о женщине, причастной к столь большой драме, столько пострадавшей... Пока она ходила в соседнюю комнату за пресловутой папкой с документами, а я пытался восстановить в памяти лицо и силуэт молоденькой девушки, которую мельком видел в кафе «Будущее» двадцать лет назад, мне вдруг пришло на ум выражение «мораль мидинеток», — я натолкнулся на него незадолго до войны в одной из статей Арагона, горячо выступившего

в защиту этой морали, противопоставляя ее как раз тому, что в ту пору больше всего привлекало нас в книгах Мальро, Андре Жиды, Монтерлана, и прославляя — так мне по крайней мере тогда казалось — голубые цветы, уличную песенку, простые хорошие чувства...

Особенно поразило меня тогда, что в защиту «морали мидинеток» выступил писатель, до сих пор восхищавший меня своими ранними произведениями, которые давно стали для него самого пройденным этапом, хоть он и утверждал, что ничего не отвергает из своего литературного прошлого. Я, вероятно, так и не сумел бы разобраться во всем этом и примирился бы с мыслью, что это просто причуда Арагона, мимолетный каприз, что его защита «морали мидинеток» так же канет в прошлое, как и некоторые тексты, написанные им в сюрреалистский период его творчества, — к слову сказать, для меня смелость этих текстов не утратила своей прелести и поныне, — но дальнейшие события со всей очевидностью подтвердили его правоту. Когда началась оккупация, Монтерлан, с которым как раз спорил по этому поводу Арагон, не устоял перед испытанием, дрогнул и тем самым обнаружил перед нами всю несостоятельность своей морали тореадора, а мораль мидинеток, та самая мораль, над которой я посмеивался, стала в некотором роде и моей собственной моралью. Пока я — и не только я, но и многие из тех, кто не решится сейчас в этом признаться, — плакал над стихами Арагона, говорившего нам о Франции такими словами, что исчезали все сомнения относительно пути, какой следует избрать, простые люди вокруг нас — почтальоны, служащие таможни, наладчики на заводах, вдохновленные моралью мидинеток, не колеблясь отдавали за Францию жизнь. И сейчас, вспоминая слова Арагона о том, что есть вещи, над которыми всю жизнь смеешься и которые в определенных обстоятельствах неожиданно становятся трагическими, достойными всякого уважения, я подумал, что именно мораль мидинеток помогла мне понять жизнь Полетты Бурдые, окружающую ее обстановку.

Она вошла в комнату.

— Вот все, что у меня есть.

Все, что у нее было, она хранила в красной папке, на которой старательно вывела ученическим почерком: «Поль».

Она добавила, что я могу держать эту папку, сколько понадобится.

Там были в основном вырезки и фотографии из газет, отрывки из писем, которые она получала от Поля, когда он воевал в Испании, переписанные ее рукой. Было там и его последнее письмо, написанное в ночь перед казнью, но не оригинал, а тоже копия.

— Само письмо,— доверительно произнесла она,— я послала товарищу Сталину в день его семидесятилетия. Это была моя самая большая драгоценность.

Видимо, в эту минуту мы оба подумали об одном и том же, потому что одновременно взглянули на фотографию, стоявшую на комодe среди фигурок.

В тот же вечер я взялся за работу.

НЕУДАВШАЯСЯ ПОВЕСТЬ



Свое повествование Симон решил начать с рассказа об аресте и смерти Поля Гранжа, рассчитывая, что если ему удастся передать эти эпизоды в нужной тональности, то он справится и с остальной частью своего замысла. Фактического материала было немного, содержимое красной папки почти ничего не прибавило к тому, что он уже знал из листка папиросной бумаги, который показал ему десять лет назад Казо в конспиративной квартире на улице Флери.

Утром 13 марта 1944 года Гранж бросил гранату в грузовик, набитый солдатами оккупационной армии. Гольдман и Перес обеспечивали прикрытие. Покушение удалось, но Гранж, отступая, потерял контакт с прикрывавшими его товарищами, попал по ошибке в тупик, где его и схватили после того, как он расстрелял все свои патроны. Его отвезли сначала в охранку на улицу Соссэ, потом перевели в тюрьму Фрэн, пытали, германский военный трибунал приговорил его к смерти, и 8 июня 1944 года он был казнен. Свидетелей его подвига не осталось: Гольдман погиб в августе в боях за освобождение Парижа, а Перес в конце 1944 года вернулся в Испанию, где его арестовали и присудили к двадцати годам тюремного заключения. Какой-то житель улицы Архивов видел из окна, как бежал Гранж, скрываясь от преследователей, и слышал выстрелы. В письме к Полетте этот человек потом писал, что из отдушины подвала в тупике еще довольно долго разда-

вались выстрелы, которые, несомненно, нанесли урон немцам. В красной папке нашелся лишь один документ, который мог в какой-то мере облегчить задачу Симона,— письмо Гранжа, адресованное Поlette в ночь перед казнью. Конечно, будь это оригинал, тот самый клочок бумаги, к которому прикасался Поль, на который смотрел в последние минуты жизни, письмо произвело бы на Симона совсем иное впечатление, оно сказала бы ему больше, чем переписанные от руки строчки, в которых Поль говорил, что «жил ради своего идеала» и умирает за Францию. Он называл Поlette «моя Пули», целовал ее на прощанье, советовал ей «найти достойного спутника жизни». Передавал привет товарищам и родителям, у них он просил прощения за горе, которое причинит им сообщение о его смерти. Одно слово поразило Симона,— уж очень оно казалось необычным для такого человека, очутившегося в подобных условиях. Вспоминая в письме прошлое, Гранж назвал годы своего участия в борьбе «незабвенными».

Симон подумал: «Если бы у меня перед глазами не лежал текст, в подлинности которого я не могу сомневаться, разве решился бы я сочинить, что такой человек, как Гранж, рабочий-революционер, назвал «незабвенными» годы собственной жизни? Очевидно, это выражение, едва ли известное ему в ранней молодости и случайно услышанное, понравилось ему своей торжественностью, поэтическим звучанием. Он употребил его вполне сознательно в том смысле, что события, участником которых он был в Испании и во Франции, вошли в историю, и тем самым и он, Гранж, перешагнул через границы собственной жизни, избежал рядовой смерти и забвения... Впрочем, все это лишь догадки. Бесспорно другое: книги, которыми мы увлекались в молодости, внушили нам ложное представление о смерти героев. За эти годы нам довелось сталкиваться с героями, мы узнали их сокровенные мысли. Готовность к подвигу зрела в них не под влиянием размышлений о человеческом уделе в курительной комнате международной концессии в Шанхае, как это изображал Мальро, а во время работы на заводах в пригородах Парижа или еще в школе. Мы ходили рядом с героями по улицам Парижа и Лиона, делились последними сигаретами, а иногда и стаканом бокале, которое было тогда редкостью. Они не терзались сомнениями о человеческой судьбе и о смысле действия. Они не пересыпали свою речь напыщенными

выражениями, а когда им приходилось писать предсмертное письмо огрызком карандаша на клочке бумаги или на стене тюремной камеры, они находили совсем не те слова — пусть даже самые правдоподобные, — которые вложил бы им в уста автор романа. Они писали просто: «Что ты хочешь, такова жизнь», «Не знаю, о чем еще писать», «Столько хочется сказать», «Скоро я умру за Францию. Обнимаю товарищей», «Крепкий поцелуй, и пусть она не горюет», «Здравствуйте и прощайте, друзья спортсмены...»

Не было никаких подробностей о казни Поля, если не считать показания одного из заключенных в тюрьме Фрэн, чье имя так и не удалось узнать: по его словам, Поль до последней минуты пел «Марсельезу» и выплюнул зажженную сигарету, которую палач сунул ему в рот.

Какая погода была в Париже утром 13 марта 1944 года? Симон сделал себе пометку: выяснить в бюро метеослужбы. Ему хотелось, чтобы это утро было хорошим. Весна в том году стояла солнечная. Ну а если шел дождь? Ну а если Поль видел в последний раз Париж под мелким холодным дождиком, какой бывает обычно в конце зимы? Симон хорошо знал квартал, где совершил свой подвиг Гранж, но если поразмыслить, то гораздо труднее представить себе, каким этот парижский квартал был в марте 1944 года, чем описать шанхайскую улицу в 1928 году или Париж во время Великой Французской революции. Описание шанхайской улицы невозможно проверить, мы представляли и представляем ее себе столь же отвлеченно, как воспринимаем, скажем, ремарку о месте действия в классической трагедии: «Сцена происходит в королевском дворце в Тире». А вид парижской улицы в эпоху Революции можно восстановить по старинным гравюрам или порывшись в трудах ученых мужей — недостатка в них нет. Но улица, где мы устраивали нелегальные встречи, рискуя жизнью, улица, где я поджидал Лоранс почти десять лет назад... Нет, я не могу объяснить, чем тогдашняя улица отличалась от теперешней! Что носили тогда женщины? Какие газеты продавали в киосках? Ели ли в Париже устриц в последнюю весну немецкой оккупации? С какими прохожими могли столкнуться здесь Поль и его спутники? Квартал этот явно еврейский: дворы, тупики, улочки, где сейчас перед афишами, напечатанными на еврейском языке, стоят и болтают кучки людей, тогда, очевидно, были пустынным и молчаливым, спущенные жалюзи

скрывали разоренные жилища, откуда силой уводили целые семьи, утратившие последнюю надежду, уводили плачущих детей,— от них остался лишь пепел, смешавшийся с землей лагерей смерти в Польше, в Германии...

Я мог бы восстановить некоторые детали по снимкам, по рассказам очевидцев, а собственные мои воспоминания, вероятно, помогли бы мне избежать ошибок, которыми пестрят фильмы и романы об этой эпохе, созданные — возможно, с самыми лучшими намерениями — людьми, не участвовавшими в описываемых ими событиях; ошибки эти мы едва ли могли бы исправить, но мы смутно чувствовали их и с досадой говорили, что «на самом деле было не так»... Но даже если бы я располагал подробнейшей документацией и был одарен идеальной памятью на детали — чего на самом деле нет,— я все равно вынужден был бы восстанавливать прошлое, исходя из моих теперешних восприятий и взглядов, используя по мере возможности собственный опыт, бесспорно единственный в своем роде. Где же кончаются мои права писателя? До каких пределов простирается мое моральное право сочинять что-либо о человеке, которого я знал лично, который был не только олицетворением или, как мы тогда говорили в Сен-Реми, «носителем определенной идеологии», но имел свое лицо, свой голос, свою жизнь?

С врагом я чувствовал бы себя свободнее. Его облик слишком часто забывают. И в этот вечер, сев за работу, я почти сразу отвлекся от главного и стал рисовать в воображении образы молодчиков из вермахта, находившихся в грузовике. Насколько я мог установить, это были работники административных служб, окопавшиеся в тылу на спокойных местечках и неожиданно взятые в оборот командованием Большого Парижа, которое, почувствовав приближение грозы, стало регулярно, дважды в неделю, вывозить их на учебные стрельбы. Я представил себе, как они чинно сидят в машине, зажав винтовки между колен, погружившись в свои думы. А может быть, они пели. Не все, конечно, но в общем из грузовика раздавалось пение. В то время все распевали песенку «Лили Марлен», которая вскоре перекочевала и в армии союзников на Западе. К тому времени уже почти не слышно было заливчатских военных песен сорокового года. Итак, хоть это и может показаться банальным, но что подделаешь, в грузовике пели «Лили Марлен». Да, именно «Лили Марлен», я ведь и

сейчас помню эту глупую меланхолическую песню, которую горланили однажды вечером в июне 1944 года в колонне крытых брезентом грузовиков, следовавших вдоль набережных Сены на запад, к фронту в Нормандии. Ее глупая меланхолия тогда порадовала меня. Она звучала, как песнь побежденных. Стало быть, и тыловики, сорванные с насиженных мест, пели «Лили Марлен». Вполне резонно было предположить, что Гранж, услышав песню, узнал о приближении грузовика, приготовил гранату, но бросил ее, лишь когда машина подошла на нужное расстояние, то есть через пятнадцать-двадцать секунд, в течение которых в грузовике продолжалась обычная болтовня,— ее нетрудно было восстановить на основании того, что я читал о войне, о Германии, о немцах, по обрывкам разговоров в поездах и в парижском метро. Или по письмам, захваченным макизарами, которые мы с Казо изучали десять лет назад на улице Флери. Или же по материалам допросов пленных, по моим беседам с гражданским населением на площадях городков Шварцвальда, куда мы вступили в сорок пятом году, сгорая от нетерпения увидеть на их собственной земле в качестве побежденных тех самых немцев, которых привыкли видеть на своей земле в качестве победителей. Итак:

«Гранж готовился швырнуть гранату. Это великолепная английская граната весом в семьсот пятьдесят граммов. Он считает до десяти, дает грузовику подойти на нужное расстояние. Солдаты в машине поют «Лили Марлен». Песенка звучит немного меланхолично, но сами они не так уж печальны. Во всяком случае, они рады, что находятся не на Восточном фронте...»

Я изобразил немцев живыми людьми — не то чтобы хорошими, но с более или менее сложной и противоречивой внутренней жизнью, с колебаниями. У каждого из них есть жена, любовница, планы на будущее, тупые родители, а война, которую они начали в самом радужном настроении, им, вообще говоря, надоела, опостылела. В большинстве своем эти люди умирали, так и не осознав своей вины. Я продолжал:

«...Граната разорвалась без особого треска. Грузовик окутан облаком пыли, из него вырываются языки пламени. Бегут люди. Гранж убегает с револьвером в руке...»

Я показал написанное Лоранс. Она читала внимательно. Но по лицу ее ничего нельзя было понять.

— Нет, не верю,— наконец произнесла она.— Откуда ты знаешь, о чем думали в этот момент солдаты в грузовике? Может быть, они вообще ни о чем не думали... Даже наверняка. Ты приписываешь им самые человеческие мысли и чувства, и поневоле возникает вопрос: к чему же убивать таких невинных голубков? Разве так думал ты о солдате оккупационной армии, когда встречался с ним на улице? Мы их ненавидели—и только. Ты сам это прекрасно знаешь, и знаешь, что это было правильно. Скажи, ты уверен, что среди этих типов в грузовике не было ни одного бывшего палача из Освенцима или еще откуда-нибудь?

— Но не могу же я втиснуть в грузовик палача,— защищался Симон.— Это было бы неправдоподобно. Ты сама бы сказала, что это похоже на пропагандистскую листовку. По-твоему, такое совпадение возможно? Пожалуй, если бы в грузовике находились эсэсовцы, тогда другое дело. Однако точно установлено, что там были солдаты из комендатуры. Писари и рассыльные.

— В грузовике были немецкие солдаты, расквартированные в Париже,— говорит Лоранс.— Ты сам знаешь, как мы тогда к ним относились...

Я сказал, что она права. И, приподняв кверху уголки ее губ, заставил ее улыбнуться.

Короче говоря, мои молодчики в грузовике вообще никуда не годились. Я отставил их в сторону и на завтра вернулся к Полю,— к тому моменту, когда он швырнул гранату и бежит с револьвером в руке. К поясу у него пристегнута вторая граната, обыкновенная, французская, о которой он как-то сказал одному из товарищей, что хранит ее «про черный день». А мне самому довелось бросить гранату только на ученье. Помню ее устройство, помню шум взрыва, запах пороха, помню опасение, как бы она не выскользнула из рук, но мне никогда не приходилось метать гранату в живую мишень или бежать от погони по улице с револьвером в руке. Я знал, что значит оказаться под огнем неприятельской пехоты, на всю жизнь запомнил, как вскоре после нелепой смерти Прево на Луаре впервые услышал то, что раньше называл «свистом» пуль: на самом же деле это был тоненький и, как мне показалось, насмешливый писк, доносившийся до меня, когда я лежал ничком на земле, закрыв голову руками, потому что не успел даже вырыть ямку, как нас учили; я старался вспомнить, что говорил младший лейтенант насчет звука

пуль, в том числе и той, которая всегда летит неслышно, ибо именно она тебе и предназначена... Все это так, но имею ли я право приписывать Гранжу мои тогдашние ощущения и впечатления? Ведь к Гранжу можно было с полным основанием применить слышанные мною слова генерала Делаттра о полковнике Фабьене, которые он сказал офицерам своего штаба в Германии: «Это был настоящий военный». Гранж тоже был «настоящим военным» — не совсем в том смысле, какой придавал этому выражению страстный любитель военной игры Делаттр, а постольку, поскольку «настоящий военный» должен обладать выдержкой и профессиональным умением вести себя в бою, а эти качества не имеют ничего общего с моими собственными возможностями, и поэтому я сам являюсь как бы антиподом «настоящего военного». Значит, надо удовольствоваться если не правдой, то правдоподобием. Итак:

«Гранж бежит с револьвером в руке. На него набрасывается прохожий, пытаюсь его остановить. Поскользнувшийся прохожий падает. Гранж мчится дальше. Прохожий поднимается и кричит: «Убийца, держите убийцу!». Он сам не знает, почему кричит. Вероятнее всего, по той единственной дурацкой причине, что ему внушили — газеты внушили: раз человек бежит по улице с револьвером в руке, бросайся ему в ноги, не раздумывая над тем, какие намерения у бегущего — добрые или дурные, почему и куда он бежит. Этот прохожий, может быть, вовсе не интересовался политикой, ему и в голову не пришло, что весной сорок четвертого года так бежать по парижской улице после только что происшедшего взрыва может лишь человек, побуждаемый добрыми намерениями. Сотни людей искупили вину одного прохожего, когда, услышав, при самых разных обстоятельствах, шум погони, открывали двери и кричали вдогонку преследователям «налево» или «направо», направляя их по ложному следу.

Гранж в эту минуту еще не пришел в себя. Он в радостном возбуждении от того, что удачно выполнил задание, попал в подвижную цель гранатой весом в семьсот пятьдесят граммов! Где же Перес и Гольдман? Они прикрывают его отступление, но из-за непрерывного треска немецких автоматов не слышно отдельных выстрелов. Гранж бежит, напрягая силы, как мчится игрок в регби с мячом в руках к заветным воротам. Левой рукой он придерживает на боку гранату, ту самую, которую хранил

«про черный день». Перед ним внезапно возникает стена. Он ошибся, но думать сейчас об этом некогда. Он поворачивается и сталкивается лицом к лицу с немцами. Они залегли в другом конце тупика. Они не стреляют. Хотят захватить его живым. Гранж на секунду замирает на месте, будто у него закружилась голова, потом бросается в первую попавшуюся дверь. Не на лестницу, нет. Каждая крыша — мышеловка. Лучше в подвал. Он вспоминает о приказе префектуры пробить в стенах подвалов запасные выходы на случай бомбардировки. Он мчится вперед к лучу света, падающему из отдушины. Он запыхался, в подвале резко пахнет сыростью: жильцы давно уже не держат в подвалах уголь. Перед ним глухая стена. «Черт возьми!» Он вскакивает на старый деревянный ящик, который трещит под ногами. Смотрит в отдушину. Солдаты поднялись с земли и цепочкой продвигаются к подвалу; они уже в десяти метрах. Он слышит слова команды. Он бросает свою гранату «про черный день» сквозь перекалдины отдушины и приседает у стенки. Слышен взрыв. Выпрямившись, он видит на уровне глаз распростертые тела, видит совсем близко обращенное в его сторону лицо. Уцелевшие враги беспорядочно отхлынули. Он видит, как их сапоги скользят в лужах крови, но о чем думал Гранж в эту минуту? Кто отважится измыслить это? Я знаю только, что он выпустил в подходивших немцев все патроны, был ранен и живой попал к ним в лапы. Не намеревался ли он покончить с собой, как поступил когда-то Клиши? Но вправе ли я приписывать ему такие мысли? Скорее он был из тех, кто из принципа цепляется за последнюю, пусть самую ничтожную вероятность удачи. Бегут же из тюрьмы. О ком и о чем он думал в эти мгновения? Да и мог ли он думать? Какая-то стыдливость и уважение к нему не позволили мне приписывать ему чувства, которые, вероятно, испытывал бы я на его месте. Возможно, он думал о Полетте. Но так ли это? Не было ли у него в жизни другой сердечной привязанности? Последнее его письмо обращено к Полетте, но из этого вовсе не следует, что именно ей он посвятил свои тайные мысли, которые мог считать последними. О ком думал бы в этом случае я? Обычно пишут: «Моя последняя мысль была о вас». А ты в этом уверен? Разве не мог бы ты в последнюю минуту думать о каком-нибудь пустяке? Мне вспомнилось, как однажды я во время бомбардировки, притаив-

шись в овраге, наблюдал за жучком, вползавшим в свою норку. Я завидовал ему, хотел быть на месте насекомого, думал: «Вот кому везет». Это и была бы моя последняя мысль, отклонись тогда бомба на десяток метров. Чей образ хотел бы я видеть перед собой в минуту расставания с жизнью, если, конечно, допустить, что человек в подобных обстоятельствах способен еще выбирать? Вопрос чисто умозрительный, и все же ответить на него по совести я не мог. Пожалуй, я и не хотел его решать, предчувствуя, что в последний миг сознание подскажет не образ Камиллы, Лоранс или какой-либо другой женщины, а образ самой Любви: это было бы проявлением смутной тоски о счастье, которое уже не нужно было бы олицетворять конкретным именем, потому что никакое имя уже не могло породить никаких проблем. Нет, мне не удастся раскрыть тайну последних дней жизни Поля Гранжа, если я буду все время оглядываться на себя...

Но я все еще не терял надежды. Я пересчитывал его последнее письмо, стараясь понять, следуя каким внутренним побуждениям он выбирал то или иное слово для прощания с жизнью. Он называл Полетту нежным именем «Пули», хотя они вместе почти не жили: ведь ей казалось чудом даже то, что они провели вместе канун сорок третьего года; следовательно, думал я, в тюрьме он жил лишь самыми ранними воспоминаниями о ней, о том периоде своей жизни, который для меня был «эпохой «Потемкина» и который я боялся воскрешать в памяти. «Нет,— сказал я себе,— в последние мгновения он думал не о Поlette времен Сопротивления, не о той Поlette, что стала рассудительной, степенной женщиной, товарищем Поletteй Бурдые, а о молоденькой работнице, склонившей голову к нему на плечо во время показа фильма в кинотеатре Бельвиля». Пытаясь представить себе его молодость, которая, очевидно, оживала в его памяти вместе с образом маленькой подружки той счастливой поры, я, естественно, искал и в собственных воспоминаниях все, что было окружено поэтическим ореолом народного Парижа: массовые шествия от Бастилии к площади Наций, станции метро, залы ожидания на пригородных вокзалах, возвращение из Фонтенбло с букетами нарциссов, привязанными к рулю велосипеда, вечера на ярмарке в Данфер-Рошро, у подножия памятника Бельфорскому Льву, запахи ацетилена и нуги, медно-желтый блеск тромбонов... Но Данфер был местом,

где бывал я, а не Поль; слезы, навернувшиеся по воле моего воображения на глаза Поля в минуту, когда он в тюрьме вспоминал Полетту, замершую от восхищения перед пряничным поросенком, которого он выиграл в тире,— то были мои слезы, они могли туманить мой взор при воспоминании о вечере, проведенном вместе с Камиллой на представлении бродячего цирка, кстати говоря, ужасно скучном.

В итоге оказалось, что более или менее достоверно мне известны только одни мысли Поля Гранжа — свои мысли о политике он высказал в письме к Полетте, когда заявил, что жил ради своего идеала, и закончил свое прощальное послание словами: «Да здравствует коммунистическая партия!», «Да здравствует Красная Армия!», «Да здравствует Франция!»

«Это мне более или менее известно, думал я, но только более или менее: ведь хотя оба мы в сущности одинаково воспринимали смысл этих слов и стали потому как бы родными братьями, все же его представление о коммунистической партии, о Красной Армии, о Франции, очевидно, не полностью совпадало с моим. Принадлежность к партии никогда не была для него проблемой. Он вступил в нее, считая, что выполняет свой пролетарский долг. Ему показались бы пустыми и ничтожными многие из вопросов, которые терзали меня и надолго оттянули мое вступление в партию, он расценил бы их как проявление мелкобуржуазной идеологии, от которой мне-де трудно избавиться из-за моего происхождения. Что же до его представления о Красной Армии или, шире говоря, о Советском Союзе, то вряд ли оно изменилось с тех пор, как он аплодировал «Броненосцу «Потемкин» в бельвильском кино. Он почти наверняка не испытывал смутения, которое охватывало меня, когда я сопоставлял восстание архангелов с подлинной революцией... Однако не склонен ли я упрощать его образ? Не собираюсь ли я изобразить его этаким плакатным коммунистом, вроде тех, что придумывают себе на потребу интеллигенты, совсем как иные изощренные богословы или блестящие проповедники, которые с умыслом прославляют какого-нибудь захудалого святого из крестьян, превращая его в символ веры,— той самой веры, какой не хватает им самим?»

ТЫ НАШ СЕН-ЖЮСТ

Когда Симон через несколько дней попытался объяснить Казо, почему он решил ничего не писать о Поле Гранже, — «разве что брошюру, если уж ты настаиваешь, но никаких больших полотен», — тот скептически отнесся к этим соображениям и заявил, что «все они одного поля ягоды».

— Вы смешите меня, — сказал он, подразумевая под этим «вы» тех, кто по его выражению «занимается переливанием из пустого в порожнее». — Не смешите меня, пожалуйста. Всем вашим сомнениям грош цена, вы просто отвиливаете, да, да, отвиливаете...

Симон запротестовал.

— Я имею в виду не только тебя, — продолжал Казо, — тем более, что в данном случае особой беды нет. Не хочешь ты это делать — другие сделают. Не об этом речь. Вы не хотите осквернять свою возвышенную душу соприкосновением с политикой, вам хочется сохранить себя в чистоте, но чего ради — понять не могу; скажи на милость, что вы нашли более важного? Может быть, ты мне объяснишь?

— Но ты не можешь упрекнуть меня в том, что я ничего не делаю. Разве я когда-нибудь отказывался написать статью, по крайней мере по моей специальности?.. Разве я не участвовал в кампании по сбору подписей? Нет, ты не прав. Я никогда не жалел времени.

Казо возразил, что дело не во времени и даже не в выполнении практических заданий. По его словам, у некоторых коммунистов из интеллигентов — опять-таки он не имеет в виду именно Симона — наблюдается какая-то внутренняя сдержанность в отношении задач, поставленных перед ними партией, и особенно когда дело касается задач, непосредственно связанных с их специальностью.

— Им бы только расклеивать плакаты и собирать подписи. Я не возражаю, это весьма похвально, но попробуй попроси их написать общественно полезный роман... Такой, который налагает на автора определенную ответственность, ну, скажем прямо, роман о борце, коммунисте. Они начинают кричать не своим голосом! Какие споры затевают! Совсем как двадцать лет назад на курсах в Сен-Реми... Моложе мы от этого не становимся!

— Я не стыжусь тех наших споров,— возразил Симон.— Мы искали, честно искали. Если бы только ты знал, как я тогда восхищался тобой!

Казо снял очки и стал протирать их огромным старомодным носовым платком, доставшимся ему, наверно, по наследству с фермы на Верхней Гаронне. Туго набитый портфель, который он держал под мышкой, соскользнул на пол. Симон подхватил его, желая услужить другу.

— А теперь я, по-твоему, кто? — продолжал Казо.— Старый болван и сектант? Тупоголовый аппаратчик?

— Не то и не другое. Ты принадлежишь к людям, которые вечно насилуют свою волю. Нельзя этим злоупотреблять.

— Но нельзя и безвольно плыть по течению,— возразил Казо.

Они уселись на застекленной террасе кафе на бульваре Сен-Мишель.

— Ты знаешь, как окрестили меня мои питомцы? Водолеем.

— Вполне допускаю,— сказал Симон.— Меня мои прозвали шалопутом — вероятно, кто-то из южан придумал такое прозвище.

Они заказали по рюмке кюрасо.

— От нас отдает стариной,— заметил Казо.— Теперь кюрасо не пьют.

— А я его люблю. Мне здесь вообще нравится. Любопытно, что в молодости я сюда не заглядывал... Впрочем, и ты тоже.

— Да,— подтвердил Казо.— Здесь бывали обычно старики.

— Теперь и мы стали стариками.

— Нет, ты неисправим! — воскликнул Казо.

Симон прикрыл глаза, с удовольствием ощущая обволакивающую его тепличную атмосферу. В холодном воздухе за окном сверкало приятное солнце. В первом этаже расположенного напротив ресторана молодой человек и девушка ели сэндвичи. Симон вспомнил, что когда-то сэндвич стоил шесть франков семьдесят пять сантимов. С Камиллой он тут не бывал. Вообще с этим районом у него связано мало воспоминаний.

— Мы жили как монахи,— подумал он вслух.

— Только не я,— возразил Казо.

— Да ну! Так-так-так...

— Ты меня неправильно понял... Были, конечно, и приятельницы. Но я хотел сказать, что никогда не замыкался в своей среде, как ты. Активно работал в партии. Было много друзей.

— Да, это верно,— подтвердил Симон.— Я вспоминаю, что ты был очень популярен. На меня произвело большое впечатление, как ты всем пожимал руки в тот вечер, когда мы смотрели «Потемкина». Я тогда впервые увидел тебя, так сказать, в действии...

Они вспомнили Прево. Казо сказал, что он был хороший малый.

Симон и на этот раз умолчал об обстоятельствах его смерти.

Они долго сидели молча, разглядывая прохожих совсем как деревенские старики, которые давным-давно обо всем переговаривали. Молчание нарушил Симон:

— А в общем-то этот квартал навевает скорее грустные мысли... Все повторяется с самого начала. И все одно и то же. Эти молодые люди точь-в-точь такие же, какими мы были когда-то, и они тоже начинают все сначала. О чем они думают, как по-твоему? Ты знаешь молодежь? Хотя бы собственных учеников знаешь?

Казо ответил ему, что знает отлично: это совсем не сложно.

— А я не решаюсь заговорить с ними,— признался Симон.— Боюсь вмешиваться в их дела... Или оказаться втянутым. Одно не лучше другого... Вспомни, какими мы были...

Они вспомнили годы, проведенные в Сен-Реми, вспомнили «призрак Лебра», как говорил Симон. Лебра только что опубликовал свой «Дневник черных лет». Казо его еще не читал. По мнению Симона, книга звучала как тяжкий вздох — «в точности так, как мы и предвидели во время оккупации».

В дневнике Лебра не переставал неумно восторгаться своей чудесной судьбой: он, бывший ученик вечерней школы, вынужденный в четырнадцать лет прервать учение, чтобы отработать полгода на заводе, стал преподавателем лицея, а теперь уже поговаривают о том, что в будущем его ждет кресло академика.

— Ты должен признать, что лично я в Лебра никогда не верил,— заметил Казо.— Это вы все попались на удочку, даже коммунисты.

— Но он так хорошо отзывался о русской революции... говорил о «заре с Востока». Ни за что бы не поверил, что он так круто свернет на Запад. Впрочем, довольно обыкновенный случай. Интерес представляет только для тех, кто знал Лебра лично. На него даже сердиться нельзя. Я убежден, что сам он считает, будто нисколько не изменился, а изменился, мол, окружающий его мир. Двадцать лет назад он был правофланговым у крайне левых, а теперь стал левофланговым у правых... Таким образом, он все время левый... Разве не так? Интересно, как рассуждает такой тип, подводя итог пройденному пути? Что он думает о нас, например?

— Ничего он не думает,— говорит Казо.— Просто вздыхает.

— Вероятно, полагает, что мы пойдем по проторенной им дороге. Считает, что этого никому не миновать, что человечество именно так и движется: два шага вперед, один — назад.

— Но ярым антикоммунистом его все-таки не назовешь.

— Нет, не назовешь, конечно,— соглашается Симон.— Как по-твоему, он мучается?

— Ну конечно! А на что он еще способен? Переживания — это по его специальности...

Они рассмеялись. Казо стал протирать очки. Потом неожиданно сказал:

— В октябре я надеюсь получить курс лекций... И как раз в Сен-Реми.

— Неужели в Сен-Реми?

— Да. Я займу кафедру Лебра.

— Смотри, будь осторожен. Как бы не заразиться...

— Ты серьезно полагаешь, что такому человеку, как я, угрожает подобный недуг?

— Нет,— сказал Симон,— ни тебя, ни таких, как ты, он не коснется.

Симону вдруг вспомнилась высокая фигура Казо на улице Суффло во время демонстрации,— как он стремительно проталкивался к ребятам с криком: «Прорывайтесь же, черт возьми, прорывайтесь!»

— Нет, тебя этот недуг, во всяком случае, не коснется,— повторил Симон.— Ты скала. Ты наш Сен-Жюст.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

1957

КАЗО И ИСТОРИЯ

- Я

же говорил тебе: «Ты наш Сен-Жюст, ты скала!»

Казо молча слушал, склонив голову к правому плечу, словно стремился удержать равновесие под тяжестью набитого книгами и тетрадями портфеля, который он прижимал к себе левым локтем. Высокий, сгорбившийся, с прищуренными за толстыми стеклами очков глазами, он показался Симону чересчур постаревшим для «человека моего поколения», как он мысленно выразился.

От Казо не ускользнуло удивление, промелькнувшее во взгляде Симона.

— По-твоему, я очень изменился?

— Все мы изменились, ведь мы как-никак ровесники, люди одного поколения.

Но это была простая вежливость. Казо действительно изменился, и не только внешне, что и неудивительно (ведь ему теперь лет сорок пять); у него не только посеребрились виски и резко выступили мешки под слезящимися близорукими глазами,— Симона поразила какая-то неуловимая, не поддающаяся точному определению перемена; так меняется человек, потерявший близкое существо или перенесший тяжелое испытание, и о нем говорят, что он

«уже не тот». Увидев Казо в приемной лицея, возле памятника погибшим лицеистам, окруженного карликовыми пальмами, Симон нашел в нем необычайное сходство с Лебра, с тем Лебра, который двадцать лет назад стоял на этом же месте, переминаясь с ноги на ногу, среди своих учеников и, вперив взор в плиточный пол, как бы подчеркивал всем своим видом «не от мира сего», что перед ними не заурядный университетский преподаватель, а человек, всеми помыслами и симпатиями связанный с миром иным — с миром литературы, журналистики и политики, хоть он и вынужден ради заработка заниматься преподаванием... Симон чуть было не сказал вслух: «А знаешь, ты похож на Лебра». Но он побоялся огорчить Казо. Они почти не разговаривали с той весны 1954 года, когда пили вместе кюрасо в кафе на бульваре Сен-Мишель. Симон сказал тогда Казо: «Ты наш Сен-Жюст». Причем произнес он эти слова, как ему помнилось, без малейшего намека на иронию. Он давно убедился в том, что между ним и Казо нет никакой дружбы, но это не мешало ему по-прежнему восхищаться «постоянством» товарища; вот и сейчас перед ним стоял хоть и потрепанный жизнью, но все тот же неизменный Казо, который некогда, водворившись на кафедре Лебра, руководил заседаниями курсового совета, к которому он относился с полной серьезностью. И Симон почти машинально повторил:

— Да, ты действительно был нашим Сен-Жюстом...

— Очень мило, что ты так думаешь,— сказал Казо,— но ведь Сен-Жюст умер в двадцать семь лет. Еще неизвестно, кем бы он стал, если бы диктатура Робеспьера превратилась в то, чем стал Бонапарт... Вообще к чему эти аналогии?

— Не могу тебя понять. А хотел бы. Хотел бы помочь тебе, как ты в свое время пришел мне на помощь в нужную минуту...

— Мне легко было помочь тебе. Тогда существовала определенная истина...— Казо при этих словах взглянул на часы.

— Ты торопишься? — спросил Симон.

— Нет, мои ребята все равно опоздают. У них до меня лекция по философии. Они вовсю дискутируют с Лапи.

— Неужели они увлекаются Лапи?

— Им кажется, что это интересно. Идеализм снова наступает. Можно подумать, что...

...Мы направились в парк. Я слушал, боясь прервать ход размышлений Казо, в надежде, что сумею его понять. Мне вспомнилось, как я впервые гулял по этим аллеям в конце лета тридцать пятого года, незадолго до своей поездки в СССР вместе с Камиллой, более двадцати двух лет назад. Я мог бы высчитать срок с точностью до одного дня, ибо то была наша прощальная прогулка. Кто-то из лиценстов тогда сфотографировал нас — к сожалению, я не сохранил снимка; кто с нами тогда снимался — я забыл, и по именам помню не более двух-трех человек из всей группы, но сейчас всплывшая в памяти фотография показалась мне значительной, овеванной легкой грустью, какую вызывают в нас воспоминания о возвышенных минутах нашей жизни. Я оглянулся, ища глазами статую Помоны, у подножья которой мы тогда выстроились перед объективом, — кто-то даже обнял ее за шею; неожиданно мне вспомнился отец, он тоже снимался когда-то у кафе на авеню Мэн рядом с гарсоном, державшим на подносе груды блюдец и погибшим впоследствии на войне, и я подумал, что придаю сейчас старой лицейской фотографии такое же значение, какое имел тот снимок в отцовской жизни — по крайней мере в моем представлении. Сердце мое болезненно сжалось. Я только что вернулся от умирающего отца. Он и двух недель, наверно, не протянет. Вот уже почти год, как в связи с его болезнью я приезжаю в Сен-Реми раза два в неделю, хотя до этого многие годы там не показывался — не хотелось вспоминать юность. Сидя у изголовья старика, я и решил заглянуть к Казо. Отец спросил:

— Разве тебе не любопытно взглянуть на свой лицей? Там сейчас преподает твой приятель Казо. Между прочим, раньше мне попадалось его имя в «Юманите» и в ваших журналах, а теперь что-то я его больше не вижу. Что произошло? Он от вас отошел?

Я не стал рассказывать отцу, что Казо действительно отошел от нас, ушел потихоньку. Боялся, что старик заговорит об отступничестве, выскажет мне несколько горьких истин, я начну раздраженно спорить, а это могло причинить ему вред. Отец не был коммунистом, — и, может быть, именно поэтому его так легко выбивало из колеи все, что, с его точки зрения, омрачало идеал, который ему стал казаться недостижимым. Когда что-нибудь не ладилось в СССР, он говорил об этом с огорчением человека,

лично задетого случившимся. Зато ликовал при каждом новом успехе Советского Союза. Всего два дня назад запуск первого искусственного спутника Земли привел его в такой восторг, что, позабыв о непрекращающихся болях, он всю ночь ловил в эфире сигналы Спутника. Мать слышала, как он при этом бормотал: «В каком мире мы живем!» И со страхом подумала, уж не бредит ли он, не заговаривается ли под действием наркотиков, которые ему давали последние месяцы в повышенных дозах. Может быть, он и в самом деле начал бредить, но в этих обстоятельствах его слова приобретали особый смысл.

Я догадывался, что сигналы Спутника, донесшиеся в томительную ночь, явились для него как бы залогом человеческого бессмертия. Отец еще подростком перестал верить в бога и с тех пор постоянно искал подтверждения своей правоты. Спору нет, его поиски истины были очень наивны и ограничивались чтением груды научно-популярных статей и брошюр, лежавших на столике у его постели, но простодушие и бесхитростность возвеличивали отца в моих глазах. Я был уверен, что ничто не поколеблет его убеждений. Знал, что он не испугается смерти. Какой поразительный контраст между его осмотрительной, скромной трудовой жизнью, бедной событиями, если не считать войны, и этой верой в будущее человечества!

Он часто падал духом по пустяковым поводам, легко приходил в уныние, опускал руки, но в час тяжкого испытания, в час встречи со смертью без отпущения грехов он вел себя безупречно...

— Как видишь, здесь мало что изменилось.— Казо показал рукой на длинную аллею, в конце которой должна была находиться статуя Помоны.

— Не все обязательно меняется.— В ответе Симона прозвучали жесткие нотки.

Казо резко повернулся к нему и прежним властным тоном спросил:

— На каком основании ты заявляешь, что я изменился? Я все тот же. Изменились другие. Мне сунули в руки карты. Я играл ими честно, хотя это не всегда было весело. Потом вдруг выяснилось, что карты подтасованные. Как, по-твоему, я должен был поступить? Если нам говорили одно, а на деле оказалось другое? Хватит! Выхожу из игры! Не желаю больше играть! Я ничуть не осуждаю тех, кто продолжает игру, но сам больше не хочу... Допу-

стим даже, что я ошибаюсь. Факт остается фактом: у меня нет больше желания играть. Отбило охоту, понимаешь?

— Никаких подтасованных карт не было,— возразил все так же резко Симон.— И не карточную игру ты вел в течение двадцати пяти лет. Я готов спорить с тобой по существу, но такие сравнения мне кажутся идиотски нелепыми. Разреши быть откровенным: это сравнение в стиле Лебра.

...Я пытался задеть его за живое не для того, чтобы ранить больнее, я действовал как врач, старающийся искусственно возбудить падающую сердечную деятельность. Только что, перед тем как выйти в парк, мы сидели вдвоем в преподавательской комнате; положив локти на зеленое сукно и прикрыв губы сцепленными пальцами, он глухо, волнуясь, выложил все, что я ожидал услышать от него и что сам порой говорил себе с тех самых пор, когда весною прошлого года до нас дошли из Москвы потрясающие известия. С тех пор многое из того, что говорил Казо, уже навязло в зубах, и я твердо знал, что наступит время — да и не наступило ли оно уже? — когда разговоры о Сталине и культе его личности будут волновать не больше, чем в наши дни спор историков о Наполеоне; но трудно было свыкнуться с мыслью, что эти избитые слова произносит человек, который еще совсем недавно отметал все сомнения, клеймил малейшую сдержанность в оценке того, что делалось в какой бы то ни было области советской жизни, даже если речь шла о самых незначительных, преходящих явлениях. Я слушал его с таким ощущением, какое испытывает, вероятно, верующий католик, увидев своего старого сурового исповедника, своего строгого духовного пастыря на террасе бульварного кафе со всеми признаками расстриги...

Я ни разу не прервал его. Слушая слова обвинения, я ворошил отдаленные воспоминания, пытаюсь найти причины кораблекрушения, заставившие Казо в отчаянии выбросить за борт не только Сталина, но и дело, которому Казо посвятил почти двадцать пять лет жизни. Я стремился обнаружить в его прошлом признаки, предвещавшие возможность такой катастрофы. Мне хотелось иметь право сказать о нем то же, что он не раз говорил обо мне: «Да ведь он, собственно, обыватель» или «Да ведь он, собственно, хотел сделать карьеру». Но нет, все это было бы неправдой. Казо посвящал политической работе

больше времени, чем любой из нас. Он возглавлял демонстрации. Во время стачек, несмотря на свою близорукость, он всегда оказывался в первых рядах, хотя, потеряй Казо тогда очки, он пропал бы. В период оккупации он шел на любой риск. Он никогда не трусил, никогда не колебался. Я не мог вспомнить ни одной его фразы, которая была бы предвестником происшедшего в нем поворота. Да, этот человек был безупречен. Он был для нас примером. И я был вправе говорить ему: «Ты скала. Ты наш Сен-Жюст».

— Что ты имеешь в виду, сравнивая меня с Лебра? Прошу еще раз запомнить, что я никогда не соглашался с его болтовней. А вот о себе ты сказать этого не можешь.

— Пожалуй. Но я ушел от Лебра, а ты, как мне кажется, проделываешь обратный путь. Хочешь ты или не хочешь, но твоя версия о подтасованных картах отдает Лебра. Ему претило вести честную игру в обществе, где все жульничают, говорил он, но, видимо, не претит щеголять в салонах своим душевным разладом, пожимая руки тем самым людям, которых он разоблачал на протяжении трех десятков лет. Он все еще не может прийти в себя от восторга, что у него наконец появились читатели. Какое ничтожество!

— Но я салонов не посещаю. И ничего не говорю, я молчу. Разве за два года я сказал хоть одно слово против того, во что верил всю жизнь? — Последние слова Казо произнес шепотом, точно раскрывал какую-то тайну. — Нет. Просто, я выхожу из игры. Не отрекаюсь от своих слов: я потерял вкус к игре. Не такой я человек, чтобы часто менять шкуру. Я верил в одну истину, у меня ее отняли. Ну ладно, хватит.

Я заметил ему, что из всех возможных линий поведения занятая им в данный момент кажется мне наименее приемлемой и наименее «достойной уважения», — я сознательно употребил эти слова, надеясь вызвать его на дальнейшую беседу. Но он только устало пожал плечами...

...Мы подошли к площадке, на которой когда-то возвышалась статуя Помоны, но теперь там торчал лишь цоколь, увитый темно-голубым плющом. В ограде, окружавшей парк, раньше в этом месте было большое отверстие, через которое удирали воспитанники; им не раз пользовался и Казо, когда торопился на собрание. Отверстие заделали решеткой — через нее открывался вид на весь

пригород, раскинувшийся далеко, вплоть до самых холмов, отделяющих его от Парижа. Сравнивая этот пейзаж с сохранившимся в памяти, я впервые ощутил, как изменилась внешне жизнь в предместье. Над разбросанными вокруг крошечными домиками, которые я когда-то считал главными виновниками моей отрешенности от жизни, возвышались теперь большие здания. Очевидно, недалеко время, когда здесь совсем исчезнет эта раздробленность и обособленность, столь гармонизировавшие с моим тогдашним представлением о людях и об окружающем мире. Меня это не только не огорчило, но, наоборот, порадовало. Пригород менял свой облик, он становился продолжением города, здесь люди уже не будут избегать друг друга, и я вдруг увидел прообраз того, к чему стремился. Тревожила только мысль, что это происходит так поздно для меня...

— Взгляни, старина,— сказал Казо, указывая на лужайку, усеянную облетевшими листьями платана,— вот это и есть подлинное, настоящее.

Пинком ноги он разворошил груды листьев, и от земли потянуло сыростью и грибными запахами.

— Ну вот, только этого не хватало! Начнем увлекаться теориями Руссо! Как же, пресловутое чувство природы! Надеюсь, ты не собираешься составлять гербарий?

Казо пожал плечами:

— Не исключено. Но вероятнее всего, я займусь охотой. В нынешнем году как-то не получилось, но в будущем поеду охотиться в наши края.— Помолчав с минуту, он добавил несколько подчеркнуто:— Понимаешь, в чем дело? Я решил быть счастливым...

Казо уселся на цоколь, на котором стояла раньше статуя Помоны, положил туго набитый тетрадами и книгами портфель на землю, закурил. Пуская кольца голубоватого дыма, он стал читать Симону лекцию о счастье, а тот стоял перед ним, заложив руки за спину, машинально сбивая ногой нижние веточки повилики. Казо не горячился, говорил почти спокойно и, по-видимому, ничуть не смущаясь своим определением счастья, каким оно представлялось ему теперь, когда он, по его выражению, покончил с «метафизическими журавлями в небе». Симон слушал, не показывая своей досады. Он тоже когда-то мечтал о длительных каникулах, о прогулках среди виноградников. Мечтал о библиотеках, где можно укрыться от внешнего мира, о солнечных островках, куда не доходят газеты.

Впрочем, можно было и не мечтать об этом. Ведь беззаботную, приятную жизнь можно устроить себе и во Франции, имея, скажем, квартиру в Париже на набережной Сены, домик в Иль-де-Франсе, яхту на Лазурном берегу.

Симон слушал и думал:

«Добавь ко всему этому журнал, который можно полистать, пока парикмахер займется тобой, антикварную лавку на улице Фобур-Сент-Оноре, такую шикарную, что, по убеждению половины рода человеческого, столь изысканная роскошь мыслима лишь в витрине музея — в Лувре, Эрмитаже или Летнем дворце... Но здесь, в этой лавке, роскошь продается. Здесь можно за одно утро потратить, ну, скажем, если рассуждать трезво, не впадая в преувеличения, — да, можно потратить десятилетний заработок квалифицированного парижского рабочего, причем потратить с пониманием, как и подобает цивилизованному человеку, не швыряя денег на ветер! И вот ты, Казо, бедняга Казо, мечтавший о всеобщей справедливости и революции, поедая казенный хлеб с ломтиками паштета из гусиной печенки, присланного из дому, видевший в марксизме ключ к достижению всех мыслимых благ и всех мечтаний — словом, «мускус, и бензой, и нард, и фимиам», — ты, Казо, становишься персонажем для рекламы на страницах пышного иллюстрированного журнала. Жаль, что ты не умеешь водить гоночную машину, не можешь даже из-за близорукости носить темные очки, а то, чего доброго, и впрямь вообразил бы себя пригодным и для такой роли. Ты, конечно, поедешь с какой-нибудь молоденькой приятельницей развлечься спортом в горах, где пьют виски на заснеженных террасах, где в отелях есть и соответствующая атмосфера, и все удобства, и хорошая кухня. Скоро станешь подумывать о приобретении сверхчувствительного приемника за триста пятьдесят тысяч франков, если только ты его уже не приобрел, оправдывая свою расточительность тем, что тебе, мол, необходимо слышать каждый инструмент в оркестре... Так вот о чем ты мечтаешь! Не слишком ли поздно спохватился? Воспользоваться всем этим тебе не удастся. Придется и дальше черпать из книг представления о радостях жизни. Так и останешься старым учителем, только мечтающим об удовольствиях. Слишком поздно! Ты решишь не читать больше газет, решишь наплевать на все с высокой колокольни, но ты не сможешь этого сделать. Не каждому это дано. Когда

только что дежурный сообщил, что тебя хочет видеть некий Борд, тебе следовало набраться решимости и заявить: принять не могу. А ты не смог этого сделать. Ты прекрасно знал, о чем у нас пойдет разговор, но у тебя не хватило мужества поступить согласно твоим новым теориям. Не так-то легко равнодушно отвернуться от всего, что в течение двадцати пяти лет составляло смысл жизни. Отправляясь на охоту, ты обязательно захватишь с собой газеты. Недостанет у тебя мужества позвать букиниста и продать на макулатуру книги с собственными пометками на полях».

— Мне жаль тебя, дружище, но ты заблуждаешься: такой человек, как ты, не может быть счастливым, оплевав все, чем жил в течение двадцати пяти лет. Будь у тебя предрасположение к такому счастью, оно сказалось бы раньше. Ты бы уже давно зажил спокойно. Нашел бы теплое местечко в ЮНЕСКО или еще что-нибудь в этом роде... Словом, нечто чудесное... Путешествия... Составление учебника по истории искусства для неграмотных индейцев... Короче говоря, что угодно, лишь бы это никому не причиняло беспокойства. Но ты же сам знаешь, что так быть не может. Я не упрекаю тебя в том, что ты испытываешь горечь. Я упрекаю тебя в том, что ты собираешься из-за этого совершить нечто абсурдное...

— Значит, ты считаешь, что можно сделать что-то другое?

— Да, считаю. Я так и поступил.

Казо отшвырнул сигарету и, прищурясь, стал протирать очки.

— И ты полагаешь, что тебе это удалось?

— Полагаю, что удалось.

— Что же заставляет тебя верить, что удалось?

— Внутреннее спокойствие.

— Какое же это спокойствие? Это забвение,— поспешил возразить Казо.— Этому грош цена. Ты приводил доводы. Но и им грош цена. Это штукатурка, подправка и только.— Он надел очки и ткнул Симона пальцем в грудь.— Что-то там внутри неладно и не налаживается. А может быть, это другое? Может быть, это цинизм?

— Я не циник.— Симон старался говорить бесстрастно, словно речь шла о постороннем человеке.— Уж на циника я никак не похож и уж никак не склонен легко принимать то или иное решение. Тебе это хорошо изве-

стно. Тебе известно, что я долго думаю, прежде чем сказать «да» или «нет». Ты ведь сам потерял немало времени, пока добился от меня утвердительного ответа. Неужели ты дошел до того, что готов забыть, чем мы были?

Казо резко махнул рукой. Симон раньше не замечал у него этого жеста.

— Индивидуальная психология меня не интересует,— поморщившись, заметил Казо.— Да и никогда не интересовала.

Симон пожал плечами.

— Это верно. Люди тебя по-настоящему никогда не интересовали. Теперь все понятно...

— А ты разве интересуешься людьми?

Казо обвиняюще вытянул указательный палец. Стремление обвинить подчеркивалось и резкостью тона и волнением, исказившим его лицо. Однако вытянутый указательный палец заколебался и привычно согнулся — таким жестом он указывал на дверь непокорному ученику: «А ну-ка, пойдите погуляйте во дворе».

...На этот раз он говорил с жаром, а я молча его слушал. Да и что можно было ответить, как заставить Казо отказаться от приговора, который он невольно (а может быть, и сознательно) выносил самому себе, своему прошлому? Он упрекал себя за хвалебные статьи о фильмах, картинах, книгах, явную посредственность которых никак нельзя было приписать ни коммунизму, ни даже, по существу говоря, культу личности Сталина. Я, кстати сказать, не отбрасывал целиком всего, что было связано с культом Сталина, о котором Казо сейчас говорил как о гнусности, хотя раньше не стерпел бы ни малейшего замечания по такому поводу. Я напомнил ему об этом. Сказал, что считаю естественным поступок Поветты Бурдые, которая отправила Сталину ко дню рождения предсмертное письмо Поля. И ни за что на свете я не соглашусь оскорбить своим осуждением память людей, подымавшихся в атаку с его именем на устах или царапавших это имя на стене камеры смертников. Ведь Поветта в действительности послала последнее письмо Поля не Сталину, а Советскому Союзу, мыслями о котором жил Поль и победы которого озарили последние дни его жизни. И Поветта, и бойцы на фронте, приговоренные к смерти, отдавали себе отчет в том, чем было для них имя Сталина. В их возгласе: «Да здравствует Сталин!» звучало: «Да здравствует ком-

мунизм!», «Да здравствует Красная Армия!» или даже «Да здравствует Франция!» — тому свидетельство их поступки, их жизнь, их смерть. Сталин умер, но история продолжается...

...Я собирался развить свою мысль, но при слове «история» Казо подскочил как ошпаренный. Он грубо прервал меня. Обвинил в том, что я обожествляю историю. Превращаю ее в абсолютизм, в Молоха, которому готов принести в жертву все, вплоть до элементарных основ морали. Заявил, что, прикрываясь историей и каким-то лишь одному мне известным смыслом истории, я оправдываю подавление личности, преследования невинных людей...

Теперь уже я с гневом прервал его. На каком основании он приписывает мне подобные мысли? Разве я утверждал когда-нибудь, что цель оправдывает средства? Слишком часто упрекал он меня в «мелкобуржуазной сентиментальности» и потому мог бы сейчас не говорить мне таких вещей. Я лично никогда не переставал верить, что история развивается в определенном направлении, и буду в это верить и впредь. Разоблачение ошибок и преступлений, совершенных в процессе безмерной исторической борьбы, в условиях, которые для меня остаются еще не ясными, причинило мне страданий не меньше, если не больше, чем Казо, но это ни на йоту не поколебало моей уверенности, основанной на долгих размышлениях. Потом, положив руку ему на плечо, я мягко спросил, какой же путь он решил избрать? Что собирается делать? Неужели он действительно считает, что сможет безучастно взирать на происходящие в мире события, оставаясь в стороне? Объяснил, что, говоря об Истории, я хотел сказать, что надо рассматривать события в их последовательности, в их общем длительном движении, учитывать направленность этого движения. Например, в данном случае важно установить, изменило ли происходившее в СССР природу советского строя. Неужели он так думает? Я видел, что он заколебался, у меня мелькнула надежда, что наш разговор пойдет теперь совсем в другом духе, но Казо снова резко оборвал меня: ему, мол, заранее известно все, что можно сказать по этому поводу, и совершенно ни к чему цитировать газетные статьи. Он им больше не верит. Взяв с земли тяжелый портфель, он встал.

— Возможно, ты и прав, — сказал он, — но я лично... меня это действительно больше не интересует...

Они молча пошли обратно по длинной аллее, усеянной облетевшими листьями.

— А здесь хорошо,— нарушил молчание Казо.— Я с удовольствием вернулся сюда в качестве преподавателя.— Он вздохнул.— Круг завершен.

— Да,— сказал Симон,— только ты вернулся сюда другим человеком.

— Значит, ты в самом деле думаешь, что я становлюсь похожим на Лебра? А знаешь, не так уж это плохо.— Он присвистнул.— А вдруг меня тоже назначат главным инспектором?

— Нет, у тебя вид отнюдь не счастливого человека. Иначе ты не говорил бы о себе в таком тоне.

— Но я хочу быть счастливым. Решил всерьез заняться этой проблемой. Раньше не приходилось. Ну а ты счастлив?

— Пока еще нет.

— Как понимать это «пока»?

— Я сделал еще не все, что для этого необходимо...

— Ну что ж, пора браться за дело.

— Но я на правильном пути.

— То есть?

Они подошли к решетке широкого двора, окруженного красными кирпичными аркадами. Под одной из них, у двери, ведущей в их бывший класс, столпилась кучка юношей в серых блузах.

— Правильный путь... Быть на правильном пути,— продолжал Симон,— значит покончить со всем этим.

— С чем? С преподаванием?

— Нет, с собственным детством...

Симон хотел пошутить, но его внезапно задела за живое пришедшая в голову мысль: он ведь тоже поневоле замыкается в поре детства и отрочества, ибо профессия вынуждает их обоих переживать эту пору не менее пяти-шести раз за свою учительскую карьеру — с каждой новой сменой воспитанников. Но дело не только в этом... Словом «детство» он бессознательно определил причину при-
сущей им обоим слабости. Ни Казо, ни сам Симон никогда по-настоящему не ощущали на своих плечах тягот жизни взрослого человека. Их политические взгляды требовали от них в общем весьма скромных жертв. Нельзя же считать подвигом отказ от карьеры Лебра, от его инспекторского чина и розетки ордена Почетного легиона. Они поступали честно. Они отвергли безмятежное существование, хотя им

так легко было его добиться. Они интересовались жизнью людей. Ходили на демонстрации. Участвовали в забастовках. Выступали с речами, писали статьи. Но при всем том сохранили свое право на пенсию и могли до конца своих дней не знать, сколько стоит килограмм картошки. Не они в этом виноваты, но факт остается фактом. Они не проверяли свои идеи на опыте скромного повседневного бытия. Симон обнаруживал это всякий раз, когда пытался охватить мысленным взором всю свою политическую деятельность: в прошлом были только бесконечные внутренние споры, выступления в печати, речи, мечты, от этого целые периоды его жизни как бы выпадали. И потому сейчас, шагая рядом с Казо по исхоженной еще двадцать лет назад аллее, Симон подумал, что он немногим отличается от подростка, который решал когда-то мировые проблемы на совете, не наделенном никакими полномочиями,— на совете мечты, заседавшем здесь, под красными кирпичными сводами.

— С собственным детством? — повторил Казо. — Ну что ж, согласен, я делаю то же самое. Я тоже решил избавиться от оков детства. Увлекаюсь охотой. Охочусь на «метафизических журавлей». Ни одного не упустил. Пиф-паф!

Он насмешливо прицелился в небо.

— Мне жаль тебя, — сказал Симон.

Казо круто остановился.

— Ну, знаешь, в жалости твоей я не нуждаюсь, понял? Не нуждаюсь в соболезнованиях. Ты даже представить не можешь, какое я почувствовал облегчение, когда сказал себе: «Хватит! Кончено!» Как рукой все сняло. Потому что фактически ничего и не было. Все давно превратилось в прах, но я этого не замечал. Представь себе, можно жить, не читая по утрам «Юманите». Можно даже жить, не теряя себя тем, что в Алжире идет война...

— Ты же не веришь ни одному своему слову! — сказал Симон. — Если бы тебе все было безразлично, ты был бы спокоен, а ты взвинчен. И говоришь так, словно пытаешься самого себя убедить...

Казо промолчал. Они шли по усыпанному гравием двору лицея. Туфли побелели от пыли. Симон заметил за оградой торговца сэндвичами, складывавшего свой лоток. Он даже ощутил на мгновение во рту вкус паштета из гусяной печенки на ломтике хрустящего хлеба. Кто-то,

должно быть Лапи, дружески раскланялся с ними. Симон спросил:

— Что он собой представляет?

Казо пожал плечами:

— Подогретое рагу из теорий Бергсона.

Симон ухватился за его слова:

— Вот видишь, это тоже тебе не безразлично. Ты во все не равнодушен ко всему. Тебе не так-то легко будет погрузиться в нирвану. Не так-то просто научиться плевать на все...

Юноши, стоявшие во дворе в ожидании урока, приветствовали их невнятным гулом. Симон стал разглядывать их. Они были такие же, как и его собственные ученики, но с неуловимым налетом провинциальности, наивности, с налетом Сен-Рёми... Внезапно он вздрогнул: ему показалось, что он увидел среди них самого себя. Вот тот слева, небольшого роста, брюнет, смотрит на них в упор, книги под мышкой, руки в карманах, школьная блуза перехвачена тесемкой. Симон подумал:

«Он, конечно, влюблен. Любит свою Камиллу. Собирается пойти с ней в воскресенье на концерт. Каждый вечер пишет ей письма — как если бы вел дневник. Хочет поведать ей свои мечты. Это первая женщина в его жизни, он убежден, что его любовь — до гроба. Лживые книги, лживые поэты сбивают его с толку, подобно тому, как рыцарские романы вскружили голову Дон-Кихоту. Дитя! Как я мог бы помешать тебе сбиться с пути, чтобы тебе не пришлось через десять-пятнадцать лет испытать ощущение катастрофы? Ничего. Ничем не могу тебе помочь. Все, что тебе суждено испытать, — неминуемо. Ты уже убедил себя, что можешь полюбить только раз в жизни. Прекрасно. По окончании учебного года, во время летних каникул, ты женишься. Хорошо, если попадешь в университет, это облегчит жизнь, а если не попадешь — тем хуже. Как-нибудь устроитесь. Проживете в разлуке годы твоей военной службы, — не исключено, что это будут военные годы... Ты будешь писать ей, она — тебе. К тому времени у вас уже будет о чем вспомнить, на что оглянуться. Опасайся этого момента. Будь осторожен: тебя уже не опьяняют надежды. Как-нибудь летом, под вечер, в провинциальном городке, где ты одинок и где решительно нечего делать, мимо тебя пройдет девушка... И ты решишь вдруг, что сошел с ума. Бесповоротно сошел с ума. Что вся твоя

жизнь была ошибкой... Но у тебя не хватит мужества признаться и сказать об этом вслух. Это придет не сразу, ты станешь хитрить, тянуть — пять лет, десять лет, а потом окажется слишком поздно. Слишком будет давить груз воспоминаний...»

— Пора! — сказал Симон. — Я уйду. Надеюсь, мы еще увидимся.

Казо протянул было на ходу свою большую руку, но при последних словах Симона опустил ее и сказал:

— При условии, что больше на эту тему разговоров не будет. С идеологией покончено. Сегодня я нарушил свое правило. Но только сегодня. Правило у меня неукоснительное: никакой идеологии.

Симон взял опущенную руку Казо; затем, стараясь поймать его слезящийся взгляд сквозь блестящие стекла очков, в которых отражалась зелень парка, произнес, движимый внезапным решением:

— Пожалуй, лучше прямо сказать: я не думаю, что мы встретимся... Это мне уже ясно.

Казо поднял голову, вздохнул.

— Почему?

— Потому что меня идеология интересует.

И Симон зашагал прочь, даже не взглянув на Казо. Дойдя до середины двора, он обернулся. Казо неподвижно стоял у своего класса, куда гурьбой входили ученики в серых блузах. «Он действительно похож на Лебра, — подумал Симон, — стал вторым Лебра. Но то, что с ним произошло, гораздо страшнее. Лебра всю жизнь был губкой, разбухшей от чувствительных слов. А этот был как стальное лезвие. И переломился сразу. Теперь я знаю, чего не надо делать. Знаю, чем не надо быть».

Однако, если бы в эту минуту спросить Симона, чего именно не следует делать и чем именно не следует быть, он не ответил бы: зато он твердо знал, что в нем произошла перемена, подготавливавшаяся годами. Внутри у него все ликовало. Он понял, что внутренний свет, горевший в нем, отныне надо обращать не только на себя самого, но и на людей, на все окружающее. «Вот теперь, — подумал он, — с детством уже покончено. Детство — это неопределенность, приблизительность, половинчатость, беспокойство. Нужно научиться мыслить трезво. Мне сорок лет, и если удастся прожить разумно еще лет тридцать, то стоит потрудиться. Надо уметь распознавать главное. Казо не

отдавал себе отчета в своих действиях. Он считал себя коммунистом, вел себя как коммунист, особенно в мелочах, но ему не хватало главного: он не верил в историческую неизбежность коммунизма. Я постараюсь вернуть Казо на правильную дорогу — это мой долг перед ним. Люди формируются, разлагаются. Как же это происходит? Не знаю...»

Ему вспомнилась строка из Расина, которую он раньше почему-то приписывал Агриппе д'Обинье — вероятно, из-за ее библейского звучания: «Как чистое золото в презренный свинец превратилось?» Симон перестал думать о Казо, он мысленно увидел перед собой хрестоматию, по которой в детстве учил наизусть длинный отрывок из «Трагедии» Агриппы д'Обинье, увидел ее по-новому, при свете, который загорелся в нем этим октябрьским утром в Сен-Реми. Перед глазами встало побелевшее лицо старого учителя, которому он читал в классе отрывок, его внезапно покрывший потом лоб. Учитель вдруг рухнул как подкошенный, а через несколько дней школьникам сообщили, что он умер.

ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД

Пожалуй, именно воспоминание о старом учителе и заставило Симона повернуть в Сен-Реми, хотя он уже направился было в Париж. Он подумал, что уделял мало внимания отцу, но жалеть об этом теперь уже слишком поздно.

Мать встретила его с красными от слез глазами. Оказывается, она просила позвонить ему, чтобы он приехал. В доме молчаливо толпились соседи, многих он так и не узнал. Кое-кто произнес:

— Добрый день, Симон.

Он не видел их лет двадцать. Кто-то обратился к нему на «ты». По какой-то неуловимой интонации голоса он догадался, что «ты» относится не к сыну старика Борда, а к нему, товарищу коммунисту. Сосед оказался рабочим-металлистом. Он жил немного пониже, у откоса железной дороги, в домике из каменных плит, который сам сложил. За тридцать лет он бывал у родителей Симона раз десять, не больше, да и то не заходил в дом, а останавливался у садовой ограды, чтобы дать какой-нибудь совет. Но

смерть смела все барьеры. Доступ в дом был открыт. Слишком поздно.

«Мой отец сидел с закрытыми глазами на низком диване. Он дышал прерывисто, с легким хрипом — видимо, был уже без сознания. Мать громко сказала: «Симон пришел!» Он не отозвался. А мне стало даже как-то легче: и для него и для нас самое тяжелое осталось позади. Отец вдруг поднял мертвенно-бледную руку, поднес ее к носу и зажал его большим и указательным пальцами. Я узнал в этом жесте собственную дурную детскую привычку, от которой не без труда избавился. Отец то и дело говорил: «Не трогай нос», и сейчас его последний жест напомнил мне о нашем сходстве, о кровных узах, связующих нас, о чем я многие годы не вспоминал. Отец покачнулся. Пришлось осторожно уложить его. Лоб и руки уже похолодели, веки раскрылись, обнажив белки глаз, дыхание прекратилось. Я взял его худую руку, несколько секунд мне казалось, что пульс еще бьется, но я, видимо, слышал биение собственного сердца. Зеркало, поднесенное к губам, не помутнело. Отец менялся на глазах. Лицо у него стало какое-то совсем другое, незнакомое мне и окаменевшей от горя матери, потрясенной тем, что все же наступил конец, которого она с ужасом ждала вот уже несколько месяцев. И по мере того, как менялось лицо отца, теряли смысл все мои прежние представления о нем, все то, что так усложняло наши отношения. Целые годы моей жизни канули в небытие. Мне пришлось сделать усилие, чтобы вспомнить, как я ребенком боялся этой неподвижной сейчас руки, с каким трепетом ждал нагоняя из побелевших уст, которые я сейчас пытался закрыть, стягивая подбородок платком. Надо предать забвению нелепые перебранки, заставившие меня возненавидеть этот дом, постараться скорее посмотреть на прошлое другими глазами, увидеть отца таким, каким он и останется отныне в моей памяти. Я погрузился в прошлое, но с удивлением обнаружил лишь жалкие обрывки воспоминаний, какие-то ничего не говорившие мне жесты, вроде его манеры закрывать за собой дверь, вешать шляпу на грибок допотопной вешалки, вроде привычки читать на ходу газету, как это делаю и я, то и дело вскидывая глаза, чтобы не споткнуться. Это было все, и все это мне ничего не говорило, пока я не понял, что отныне с представлением о «моем отце» будут связаны не отдельные черты его характера, а время, в которое он жил,

современные ему события, даже если сам он в них никак не участвовал. Постепенно забудутся шум его шагов, запах одеколона, который я ему дарил, устойчивый аромат табака, привычка подремать несколько минут после завтрака, облокотившись на стол,— он станет идеей, ориентиром. Я буду говорить: «Парижский пригород выглядит так-то, когда отец начал строиться». Буду говорить: «Во времена моего отца», подразумевая под этим все современные ему события, например первую революцию в России, войну четырнадцатого-восемнадцатого годов, Октябрьскую революцию, путч шестого февраля тридцать четвертого года во Франции, кабинет Думерга,— и так вплоть до того дня, когда я сам перестану существовать и смерть разрешит все мои личные проблемы, ничего не оставит от моих личных воспоминаний и превратит меня тоже в миг истории, в человека, единственное и волнующее воспоминание о котором связано с тем, что он жил в исключительные годы середины двадцатого века, лично слышал сигналы первого искусственного спутника, жил в первые годы атомной эры и был очевидцем победы социализма в большей части мира; ведь я, к примеру, тоже почти ничего не знал о моем деде по материнской линии, кроме того, что он попал в плен при сражении под Седаном и был заточен в крепость за оскорбление пруссака. Эти воспоминания о нем еще живы, но его личная жизнь, жизнь незаметного бедняка-крестьянина, не оставила после себя никаких следов. Именно это я и имел в виду, когда заговорил с Казо об Истории, а он так резко меня оборвал. История нас не тиранит, не неволит, но если мы признаем ее движение и следуем по пути ее развития, она освобождает наше сознание, оправдывает наше существование и нашей незначительной личной жизни придает такие масштабы, что мысль о смерти уже не страшит.

Философия, выдуманная Казо для оправдания внешне охватившего его равнодушия — другими словами, для оправдания попытки уйти от исторического хода событий, отрицать его,— не поможет ему избавиться от страха перед старостью и смертью. Мне было жаль его. Вера в прогресс и науку помогала жить даже моему отцу, который почти всегда довольствовался ролью наблюдателя, правда заинтересованного и пристрастного. Он ушел в небытие, я мог почти спокойно взирать на его труп, так непохожий на него живого, но он продолжал жить в моей

памяти — он жил. Юноша с черными усиками — в те времена их еще не стригли по американской моде, — он весело прогуливался в девятьсот пятом году по Большим бульварам в канотье и с изящной тросточкой, отделанной серебром. Он взбирался на империял омнибуса. Покупал газету и узнавал, что аэроплану удалось продержаться в воздухе несколько минут. Радовался этому великому событию, позволившему человеку преодолеть силу притяжения. Мечтал о том дне, когда люди смогут парить в воздухе, как птицы. Он читал газету и узнавал о восстании на броненосце «Потемкин», о крупных событиях, готовившихся в России. Он был в окопах под Верденом. Сражался. Читал «Огонь» Барбюса, печатавшийся с продолжением в газете «Эвр», и начинал понимать, что происходит. Когда в грозном небе Парижа медленно проплывали черные самолеты, он дрожал за мою мать — она была красавицей, за меня. Он впервые услышал слово «большевик». Его пугало странное чужеземное слово, и в течение многих лет страх этот сочетался в его воображении с пустынными улицами, голодными детьми, стрельбой и грабежами. И так продолжалось до того дня, когда он начал мечтать о создании справедливого общества — вернее, мечтать о каком-то новом обществе, не похожем на то общество, где есть богачи, бедняки, где бушуют войны и где все идет вкривь и вкось. Однако не приписывал ли я отцу собственные мысли? Вполне вероятно. Но я имею на это право. Для этого я и нахожусь здесь. Я обязан начать формировать то, чем отныне станет жизнь отца в моей памяти. Отныне я смогу вести с ним дружеские беседы, столь редкие между нами раньше. Буду вместо него вновь переживать события, в свое время им не понятые, не привлечшие его внимания, но известные теперь всему миру. Я подошел к постели, положил руку на остывший лоб. Нет, это уже прах. Жизнь, покинувшая эту оболочку, целиком переселилась в меня и в сердце моей матери. Я обнял мать — не для того, чтобы ее утешить (что я мог ей сказать, отец прожил достаточно долго и умер, по меткому определению врачей, «исчерпав запас жизненных сил»), этим жестом я как бы заключил в объятия отца, желая дополнить воспоминания о нем всем тем, что знала она и что так мало и так плохо знал я.

Если бы мать спросила меня в эту минуту, о чем я думаю, я вряд ли сумел бы ответить. Она нашла бы мои мысли странными и решила бы, что смерть отца меня ни-

чуть не тронула. Однако отец в эти минуты занял в моей душе такое место, какого уже давно не занимал, так как если в детстве он всецело владел моим воображением, если я тогда мог объяснить малейшие интонации его голоса, малейшие изменения его лица, то позже я почти совсем не думал о нем. Его смерть восстановила связь между нами, только связь совсем иную, более глубокую, более содержательную, бесконечно более дружественную, чем при его жизни. Я смогу наконец беседовать с ним, любить его. Я извлеку его из сонного бытия печального предместья».

— Закрой ставни, сынок, и зажги лампочку.

Симон тихо растворил окно, из которого открывался «вид со второго этажа». Когда-то отец, соблазнившись этим видом, предпочел свой участок другим, более дешевым, так как, по его словам, «игра стоила свеч: здесь чувствуешь себя за сотни километров от Парижа». Увы, это уже не так. Множество красных черепичных крыш, цементных столбов, трансформаторов и высоких зданий городов-садов уже давно изменили пейзаж.

Симон стал осторожно закрывать ставни, стараясь не хлопать ими. Его руки сохранили сноровку, необходимую для того, чтобы не прищемить пальцы. Над декорацией, на фоне которой протекало первое действие его жизни, опускался занавес. Один ставень заслонил от него желтое пятно — парк лицей Сен-Реми в осеннем уборе. Симон решил, что об этой поро жизни лучше не жалеть. Встреча с Казо разрушила ее привлекательность. Казо не устоял, потому что так и не вышел из круга восприятий детства. Он жил по-прежнему вдали от действительности, в мире слов, он не мог выйти за пределы аллеи Помоны, витал в облаках и не выдержал, когда его спустили на землю. Казо, так успешно громивший в свое время субъективизм и идеализм, не сумел обойтись без развенчанного кумира. Стоило убрать одну фигуру из воздвигнутого им здания — и все рухнуло... Вслед за парком исчезли железнодорожный путь и дом, сложенный соседом из каменных плит. В комнате воцарился полумрак. Прошел поезд... Поездом в семь ноль пять обычно уезжала мать Симона, когда работала. Пролетарский поезд, пассажиры в кепках. В руках у каждого чемоданчик с едой. Зимой здесь пахло дымом и дождем. Симон наклонился и поцеловал седую голову матери. Она не плакала. Смотрела отсутствующим взором на диванчик в углу, обивку для которого выбирала тридцать лет назад

вместе с мужем. Расцветка ей не особенно нравилась, но постепенно она привыкла. Теперь уж она не станет ее менять. Ничего менять не станет.

— Пойди отдохни,— сказал Симон матери.

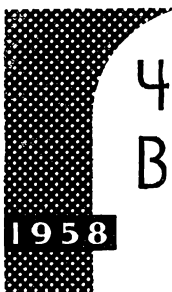
Он подумал при этом не только об усталости, связанной с пережитым ею горем, но и о той усталости, что накопилась за долгие годы, когда она ездила поездом семь ноль пять. Будильник подымал ее ровно в шесть. Потом в течение всего дня — одни и те же, сотни тысяч раз повторявшиеся движения. Сколько раз соединяла она телефоны за эти годы? Говорила по профессиональной привычке, отчеканивая каждое слово: «Алло, слушаю». Иногда она, вернувшись вечером домой, говорила: «Сегодня было что-то страшное. Я думала, что не выдержу. Чуть не расплакалась».

Поездом в восемь пятнадцать уезжали служащие чином повыше и работники свободных профессий. Шляпы. Кожаные портфели с документами. В этом поезде вели беседы. В карты тут не играли. Люди, на протяжении десятка лет дважды, а то и четырежды в день усаживавшиеся вместе на обтянутые моlesкином сиденья, вежливо называли друг друга «мосье». «Как дела, мосье Бورد?» Дела шли. Все было в порядке. Жизнь текла спокойно, без потрясений, постепенно приближаясь к роковой минуте одиночества, когда неподвижное тело, облаченное в праздничный костюм, почтительно окружают оставшиеся в живых коллеги. После увольнения на пенсию шум поезда еще долго оставался в памяти, сливаясь со скудными воспоминаниями об этих годах. В первое время по утрам, когда стрелка часов приближалась к восьми, вы иной раз даже повязывали галстук, снимали с вешалки шляпу и делали шаг к выходу, как вдруг вас осеняла мысль: идти-то уж некуда, делать уже нечего. От счастья, к которому вы так стремились,— вы описывали в радужных красках, как вы будете отдыхать и делать все, что вам вздумается,— веяло тленом. Вы уверяли, что рады избавиться поскорее от необходимости спешить каждое утро на вокзал. А теперь, когда поезд отходит без вас, вы закрываете глаза. Вы прикидываете — сколько лет отделяет вас от последнего путешествия, откуда нет возврата и куда отправились уже многие ваши знакомые. Был и последний ночной поезд — в ноль сорок пять. Если вам удавалось достать недорогие билеты на «Манон», «Травиату» или «Фауста», вы счастливые возвращались этим поездом вместе с женой, надев-

шей по этому поводу свое самое красивое платье и немного напоминавшей в этот вечер девушку, с которой вы когда-то познакомились. Вы мурлыкали: «Расскажите вы ей, цветы мои...» Дома ходили на цыпочках, чтобы не разбудить детей...

Симон слегка приоткрыл ставень, чтобы подышать терпким запахом повилики и облетевшей листвы, сложенной в кучи в садиках вдоль железнодорожной насыпи. Надо позвонить Лоранс. Миссия не слишком тягостная. Эта смерть в сущности не может очень уж ее расстроить. Она не раз говорила: «У тебя было безрадостное детство. Оно тебя давит. Ты не замечаешь, но мне со стороны виднее». Ее собственное детство было растерзано войной, она почти никогда о нем не вспоминала.

Симон осторожно закрыл окно. Мать прикрутила огонь в ночнике и покачала головой. Он догадался, что она подумала о восковых свечах. Он прикрыл ночник вышитой наволочкой с диванной подушки и на цыпочках вышел из комнаты. По дороге на ближайшую станцию, откуда он собирался позвонить Лоранс, Симон почувствовал неизбежную при таких обстоятельствах радость жизни. Но покойником в этом случае был не его отец, до конца своих дней мечтавший о том, что наступит время, когда все в мире изменится и люди станут творить чудеса. Покойником был Казо.



ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ

1958

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ



Симон решил, что сначала прогуляется один до Красной площади. Он любил, чтобы все было торжественно, чтобы потом было о чем вспомнить. И тогда он скажет:

— Знаете, когда через двадцать лет я вновь увижу Красную площадь...

Он спускается по лестнице гостиницы, увешанной картинами с изображениями русской природы и сцен из жизни в прошлом и настоящем. Мрамор, толстые ковры, бронзовые статуэтки, звуки духового оркестра, долетавшие с улицы, где репетируют первомайский парад, — все это создает обстановку торжественности. Симон находит в ней своеобразное очарование, как и в празднично убранной церкви богатых кварталов Парижа во время пышной свадебной церемонии. Добравшись до первого этажа, он опускается в монументальное кресло, смахивающее на обтянутый красным бархатом трон. На массивном полированном столе лежат рекламные объявления, приглашающие посетить Черноморское побережье. Он уже несколько часов в Москве, но она на каждом шагу напоминает ему о том, каким он был двадцать лет назад — молодым, стройным, с иссиня-черными волосами. «Неужели я был так молод? Неужели тот юноша — я?»

В зеркале воспоминаний появляется и Камилла, но ее образ расплывчат. Он видит ее такой, какой она была до их разрыва; она не стареет. Из этого же зеркала глядит на него и Саша Бернштейн, он сейчас придет за ним в гостиницу и уведет к себе обедать. «Я его, вероятно, не узнаю. Ведь прошло четверть века. Помню только, что он был весь в веснушках».

Перед троном висит картина. В молочном небе, на фоне снега, льда, елей и тонких березок, летят треугольником большие птицы, не то журавли, не то дикие гуси. Радость жизни олицетворяют два бородатых веселых охотника. Они остановились, чтобы доставить удовольствие художнику. Чувствуется, что их опытное ухо хорошо распознает все звуки зимнего леса: перелет одинокой птицы, потрескивание льда под осторожными шагами лося. Мимо трона, направляясь в свой номер, проходит человек с тяжелым портфелем, очевидно приехавший в Москву решать какое-нибудь дело в министерстве. Он бросает взгляд на охотников. «Вот сейчас,— думает Симон,— он видит как раз то, что ему больше всего хотелось бы увидеть: лес, охоту, русский пейзаж». На других репродукциях изображены тракторы, поля, радиовышки — то, о чем говорят газеты. По мосту через Москву-реку идут пионеры, они возвращаются с демонстрации. Художник вырядил их в праздничные костюмы. Они несут, положив древко на плечо, красное знамя с золотой бахромой. В этой картине узнают себя сотни тысяч детей, которые завтра впервые пойдут на Первомайскую демонстрацию, и потом, став уже взрослыми, взволнованно замедлят шаг, увидев репродукцию картины «Возвращение с демонстрации» в вестибюле вокзала или гостиницы, в заводском или колхозном клубе. У многих изменятся за это время вкусы, но это не имеет значения. Они все равно скажут:

— Мазня, конечно, но мне это напоминает день, когда я впервые шел с нашим пионерским знаменем на Первомайскую демонстрацию. Незабываемый день! И погода была чудесная!

На аэродроме переводчица сказала:

— Такие дни в это время года — не редкость. Но случается, что и первого мая бывает холодно.

В этом году весна поспешила на встречу с праздником. В воздухе, прожеженном зимними холодами, отчетливо различаются любые запахи. Едва оказавшись на улице, Симон

сразу же почувствовал сильный и терпкий запах бензина. Он узнал его. Он бывает только здесь, его нельзя забыть, хотя очень скоро перестаешь его замечать. Симон закрывает глаза, он силится вспомнить дребезжащий автобус, который вез их с Камиллой через Красную площадь в гостиницу, расположенную по ту сторону Москвы-реки. Вспоминает молоденькую, очень плохо одетую переводчицу (так, во всяком случае, ему показалось тогда, но со временем, по мере того как дела в стране улучшались, он понял, что явно преувеличивал подмеченную тогда бедность). Но он, безусловно, не ошибается, он хорошо помнит, что видел в этом квартале скопище обшарпанных деревянных домиков вроде того, в котором жил Саша, и улицы, где проби- валась на мостовых трава. А в переулке копалась в песке курица...

И потому он сейчас с наслаждением прислушивается к непрерывному шуму автомобилей. Ему нравится мрамор. Нравятся бронзовые двери, величественные, как вход в Лондонский банк. Он идет навстречу людскому потоку, чью загадку он не в силах разгадать. Большинство прохожих еще в темной зимней одежде, но даже в этой однообразной толпе чувствуется спокойствие, уверенность в движениях, удовлетворенность, чего не увидишь в больших городах Запада. Это идет рабочий люд, хлынувший на улицы после трудового дня, чувствуется, что толпа живет, что она сплочена и необъятна, эти люди — рабочие и крестьяне. Над толпой в серо-голубом небе вырисовывается невообразимым, шальным нагромождением красок яркий, вызывающе прекрасный собор Василия Блаженного, весь в куполах, похожий на фарфоровую вазу для фруктов, специально изготовленную для украшения камина. Симон вспоминает, что при первом посещении Москвы его огорчил ее слишком уж «русский» стиль. Сейчас это кажется ему ребячеством, проявлением пережитого им в свое время «абстрактного периода», как он сам говорил. Теперь он знает, что революция свершилась не в декорациях классической трагедии вне времени и пространства. Стены Кремля и Зимний дворец в Петрограде штурмовали не условные люди-символы, а русские рабочие и солдаты. На старых колокольнях сверкают золотом православные кресты со свисающими по концам цепочками, но императорский орел, который Симон видел в 1935 году на башнях с зеленой кровлей, теперь исчез, его заменили звезды. В небе с кри-

ком проносятся грачи, летят к невидимой отсюда реке. Под именем Ленина на полированном граните мавзолея высечено теперь имя Сталина. У приоткрытого входа стоят друг против друга в карауле два молоденьких стройных солдата, винтовка с примкнутым штыком приставлена к ноге. На них длинные шинели, почти целиком прикрывающие голенища сапог. Симон поражен величием зрелища. «Как это прекрасно,— думает он.— Историю недавнего прошлого следует окружить торжественностью. Жорес, говоря о решении моряков «Потемкина» положить останки Григория Вакулинчука на одесском молу, сказал о «замечательной мизансцене Революции». Симон ни разу не видел Ленина. В прошлый его приезд мавзолей был закрыт. Он вспоминает, что Ленин покойся на знаменах Парижской коммуны. Он видел в кино народное шествие в памятный морозный январский день 1924 года: пар от дыхания, оседающий инеем на усах и меховых шапках, скорбные лица, суженные от резкого холода глаза, длинные, нескончаемые колонны людей, над которыми колышались красные флаги с траурной каймой. Среди тех, кто нес гроб, шел Сталин. Тогда у него еще было молодое лицо, которое через тридцать лет, вскоре после смерти Сталина, воссоздал Пикассо, с поразительной прозорливостью уловив в нем черты, которые в конечном счете и вошли в историю. Но вдвоенная гробница... В ней покойся живой и веселый Ленин, ездивший на велосипеде за сиренью в район Сен-Реми, напевая «Цветут вишни...», и рядом — землистое лицо старого льва, который возбуждал энтузиазм миллионов людей речами и одновременно выносил несправедливые, отвратительные приговоры. Каменный куб мавзолея легче представить себе как трибуну, а не как гробницу. Завтра на нее поднимутся дети с охапками цветов в руках. Отсюда будут махать флажками. Выпорхнувшие из плетеных корзинок голуби опустятся на трибуну, а затем закружатся над площадью. Веселье народного праздника созвучно с Лениным. Ленин жив, Ленин нам современен почти во всем. Сталин уходит в прошлое. Симон вспоминает кадры кинопортажа, в котором был показан Сталин на этой трибуне во время демонстрации в 1952 году. Искривленное в гримасе лицо, бегающие по сторонам глаза под надвинутой на лоб военной фуражкой. Между ним и окружающими — неодолимое пространство, полнейшая пустота. Шествие ему явно прискучило. Лицо все сильнее

искажалось в гримасе. Тут показались дети. Под седеющими усами появилась неуловимая улыбка. Она тронула Симона, и он потом не раз говорил о приветливости Сталина. Позже фильм о последнем параде с участием Сталина приобрел в его глазах совсем иной смысл. Вспоминалась уже не улыбка — кто, в конце концов, не улыбается, принимая цветы из рук ребенка? — а только взгляд, беспокойный, лихорадочный, и главное — абсолютная пустота вокруг него, единственного... Понадобились годы, чтобы, говоря языком политической психологии коммунистов, одержали верх «отрицательные черты его характера», чтобы лукавый отблеск в глазах превратился в подозрительный и жестокий взгляд, чтобы вновь проявилась грубость, которую ставил ему в вину Ленин, — грубость, помноженная на неограниченную власть...

Рабочие устанавливают на площади последние металлические ограждения. На стенах зданий висят первомайские лозунги и щиты с гербами союзных республик. Туристы, прежде чем войти в Кремль через Спасские ворота, щелкают фотоаппаратами, не подозревая, насколько необычными кажутся их действия Симону, помнившего, что раньше это место было окружено мистическим ореолом, отделявшим Сталина от простых смертных. Его преемники не без основания первым делом открыли ворота, дав народу доступ в сады и дворцы. За этим первым актом последуют и другие. Он означал, что народ сызнова вступает во владение своим достоянием — государством, партией, самой страной...

На газонах лежит снег, но от земли уже пахнет весной. Симон сверху глядит на Москву-реку, — река и прилегающие к ней кварталы старинных купеческих домов чем-то напоминают Венецию. Река пожелтела, вздулась от талых вод. Причудливый небоскреб с колоколенками дает представление о масштабах города. Когда Симон поворачивает обратно, лучи заходящего солнца уже играют на золоченых куполах. На деревянной скамейке, задумавшись, сидит старик, сложив руки на набалдашнике палки. Черное поношенное пальто с воротником, отороченным истертым каракулем, — вот и все, что осталось у щеголя дореволюционных времен. Высохшие руки когда-то грубо расталкивали кучера, заснувшего на облучке, скрючившись от холода. Он выходил из модного ресторана, где обедал в зимнем саду с артисточкой из Большого театра, вокруг них услуж-

ливо вертелся татарин-метрдельник. Оркестр наигрывал вальсы. Они пили французское шампанское. А потом была война. Была революция и снова война.

Юные солдаты под водительством молодого офицера осматривают сады и музеи, толпятся, хватают друг друга за ремень. У одних узкоглазые лица — они явно родом с Дальнего Востока. У других типично русские — широкий нос, румянец, веснушки. Есть здесь и армяне — смуглые, с пробивающейся черной щетиной на щеках. Увидев свадебный кортеж, остановившийся у ярко раскрашенной церкви, они широко улыбаются, обняв белые, как фарфор, зубы. Свадьба очень чинная. Молодая в белой шапочке, жених, послунявив ладонь, старается пригладить непокорную прядь. Они застыли перед фотоаппаратом. Никто не смеется. «Я очень доволен, — думает Симон, — рад тому, что все происходит именно так. Жаль, что я не привез с собой Лоранс. Нет, пожалуй, не стоило. Никому, даже ей, я не смог бы объяснить чувство, которое испытываю здесь. Во всем мире не найдется двух человек, которые вкладывали бы одинаковый смысл в такие слова, как «Красная площадь». Помню, я как-то сказал Лоранс: «Я долго считал Красную площадь землей обетованной. И очень обрадовался, когда там открыли универмаг».

Через полчаса в гостиницу придет Саша. По телефону он сказал Симону, что живет не особенно далеко. В его прежнем бельвилеском говоре появился какой-то иной акцент. Интересно, какое бывает ощущение при встрече с человеком после двадцати лет разлуки? Симон впервые получил от Саши письмо осенью 1957 года, когда написал ему, что собирается приехать, причем не особенно рассчитывал на ответ. Вторично он написал ему этой весной, сообщил, что приезжает.

Правая сторона Красной площади, если смотреть от собора Василия Блаженного, огорожена в связи с предстоящим праздником, и подойти к универмагу нельзя. Симон издали разглядывает восковые фигуры манекенов, задрاپированных в платья. Витрины продовольственных товаров своим подчеркнутым изобилием наводят на мысль о пиршествах и напоминают рекламные объявления некоторых французских ресторанов прошлых времен, где на фоне всякой снеди был изображен улыбающийся посетитель с повязанной вокруг шеи салфеткой, с ножом и вилкой в руках, готовый ринуться в атаку на расставленные перед ним

яства. Раньше в здешних витринах красовались диаграммы, полотнища красной материи, портреты и бутафорские колбасы. Он помнит слова Саши: «Ты понятия не имеешь, как дорого нам стоит этот хлеб». Посольства слали донесения о состоянии тяжелой промышленности, но о шампанском, надо полагать, ничего не писали. Наблюдателям было невдомек, что советское шампанское — это не просто вино, но и провозвестник новых времен. Отныне можно отмечать праздники, и теперь их ждут с нетерпением. «Скоро мы будем смотреть на все не просто глазами сердца и не только в надежде на будущее. Нам не придется больше оправдывать жалкие витрины, где одинокий кусок материи лежит среди подтяжек и кусков мыла, наводя прохожих на грустные размышления». Симон смотрит на ноги прохожих. Он вспомнил, что давно, еще до своей первой поездки в СССР, видел в газете иллюстрированный очерк: репортер запечатлел на пленке обувь, которую носили летом москвичи. Никогда еще повседневная жизнь одного народа так не занимала человеческое воображение. Каждый стремился разгадать будущее мира, вглядываясь в сандалии, башмаки и сапоги на снимке. И никогда еще объективный репортаж не был столь условным. В витринах магазинов, в заснятой обуви каждый видел лишь то, что подсказывали ему вера или неверие, любовь или ненависть.

Когда Симон распахнул тяжелую дверь гостиницы, Саша уже ждал его в вестибюле. Несколько секунд они разглядывали друг друга, сопоставляя сохранившийся в памяти облик с новым образом, представшим перед каждым из них. Саша пополнел. Носит очки. Полысел. Но веснушки остались. И улыбка в глазах та же.

— Послушай, ты же не был лысым!

— Был, и еще каким! Ты не видел меня в младенчестве...

Симон смеется. Он в восторге от шутки. Это первые их слова после многих лет разлуки, настолько полной, словно жили они не только на расстоянии тысяч километров друг от друга, но и в разные исторические времена. Словно перестали быть современниками. Симон с радостью увидел прежнюю веселую, чуть насмешливую улыбку в глазах Саши, поразившую его еще в тот день, когда в кафе «Будущее» вошел юноша в куртке со значком Союза молодежи и с гордостью показал листок с машиннописным текстом и печатью, где были изображены те самые колосья, серп

и молот, что украшают сейчас улицы Москвы вместе с портретами Ленина, Маркса и Энгельса и лозунгами, составленными из электрических лампочек: «Слава коммунизму!», «Слава Коммунистической партии Советского Союза!»

Они целуются. Саша все время повторяет:

— До чего же я рад тебя видеть! — И спрашивает: — Ты один? Приехал без жены? А я хорошо ее помню.

Но тут же спохватывается, вспомнив, что Симон писал ему о каких-то «переменах» в его жизни.

— Извини, пожалуйста, я все путаю.

— Тебе не за что извиняться. — И с улыбкой, которая, вероятно, кажется Саше странной, Симон добавляет: — Я тоже иногда все путаю.

Он боится, как бы их встреча не вылилась в неизбежный в таких случаях томительный разговор, когда каждый из собеседников пытается оживить воспоминания о прошлом и в конце концов обнаруживается, что если они и не изгладились окончательно, то давно уже утратили всякий интерес.

— Ну что ж! Начинать так начинать! Рассказывай о Париже! — В голосе Саши звенят счастливые нотки. — Какой сейчас Париж? Пойдем пешком, до меня не так далеко.

— Поразительно! Когда мы встретились в тридцать пятом году, ты прежде всего задал мне тот же самый вопрос!

— Да, но теперь он звучит по-иному, совсем по-иному. Тогда я, очевидно, задавал этот вопрос потому, что еще тосковал. Не так ли? А теперь совсем другое. Начать с того, что мы много знаем здесь о Париже. Смотрим фильмы, видим людей и, кроме того... Словом, все теперь иначе... Ну, рассказывай же о Париже. Ведь дома мне придется взять на себя роль переводчика.

— Так вот, Париж... — говорит Симон. — Не думаю, чтобы он во многом отличался от прежнего, который ты знал... На улицах стало больше машин. Заметна, как бы сказать... ну, некоторая американизация повседневного быта. Надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать. То же самое происходит везде на Западе. Пластмассы, нейлон... Это придает вещам изысканность, если так можно выразиться, блеск, роскошный вид...

Пока они идут по Манежной площади мимо университета, Симон приподымает занавес над Парижем своих

мечтаний. Над Парижем, превращенным силой мечты в идеальный город, где несправедливость и бедность не отравляют радости жизни. Этот Париж достоин того, чтобы его любили и за лавки на Фобур-Сент-Онорэ, и за Коммуну, за Елисейские поля, и за улицу Шарон. Обитают в нем живые, остроумные, великодушные люди, все они немножко философы-вольномудцы, знатоки вин и сыров. Любовь для них не только страсть души, она и наслаждение. Они любят посидеть на террасе кафе под весенним солнышком, разглядывая изящных женщин на каблучках-гвоздиках. В полдень быстро заполняет приятный запах мяскадэ, сменяющийся запахом жареного кролика. Глаза разбегаются от свежей зелени салата, от ослепительной белизны цветной капусты, от нежного мяса домашней птицы...

Симон замолкает, почувствовав вдруг, что его рассказ о Париже смахивает на бахвальство перед Сашей, как будто он сравнивает Париж с Москвой и полученными ею в наследство лишениями и обветшалыми лачугами... Ведь Москва еще была деревянным городом, городом без мостовых, когда в Париже уже были Итальянский бульвар и Английское кафе. Получилось, что он пытается провести мелочное сравнение, лишённое всякого смысла...

— Прости, пожалуйста,— говорит он,— я, кажется, становлюсь похожим на ура-патриота.

Саша кладет ему руку на плечо.

— Пустяки. Когда вы совершите революцию, Париж станет, может быть, прелестнейшим городом в мире.

— Не думаю, что в этом плане революция может что-то изменить... Во всяком случае, не сразу.

— И еще как может, если есть условия,— серьезно замечает Саша.— Но если... Понимаешь, у нас дело обстояло иначе... У нас ничего не было. Почти ничего. Ты представляешь себе, как жили люди?.. Просто невероятно. Почитай Чехова. Помнишь, что говорит в «Вишневом саде» Трофимов, как бы предчувствуя, что произойдет в России?

Симон не помнит ни Трофимова, ни, по правде говоря, «Вишневого сада».

— Как же, неужели ты не помнишь то место, когда Трофимов отчитывает Лопухина? «У нас в России работают пока очень немногие... Громадное большинство интеллигенции ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока

не способно, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек... по тридцати, по сорока в одной комнате... Есть только грязь, пошлость, азиатчина...» Вот в каких условиях нам пришлось начинать... создавать государство... самое современное с научной точки зрения.

Симон берет Сашу под руку.

— Люблю таких, как ты. Ну, как живется?

— Живется, мой друг, великолепно! — Саша говорит басом, явно кому-то подражая. — У меня жена, сын и главное — совсем новая квартира.

— А деревянный домик? Может быть, я еще о нем пожалею...

— Да нет же, шутки в сторону, романтика в таких делах ни к чему... Тем хуже для деревянного домика. Жаль, что их осталось еще не так мало...

— Ты придерживаешься все той же точки зрения: долой святую Русь! Да?

— Разве я так говорил?

— Именно так: долой святую Русь!

— Так, да не совсем. Я подразумевал другое. Долой грязь! Долой дикость! И уж, конечно, не имел в виду того, что мы видим там.

Он указал туда, где между высоким современным зданием и жилым домом, выдержанным в казенном и вычурном стиле первых лет столетия, как строили в ту эпоху доходные дома по всей Европе, открывался вид на красные кирпичные стены Кремля, желтые стены дворцов, звонницы соборов. Зеленые железные крыши стали со временем серовато-синими, но купола по-прежнему сияли позолотой. Симону чудилось в этом не мистическое сияние иконостасов, а золотой блеск поспевших хлебов или расплавленного металла. Он так живо представлял их себе, что видневшийся вдали на стройке гигантский подъемный кран не только не резал глаз, но гармонично сливался с этим внешним обликом «святой Руси», придавая ему причудливо современнный вид.

Они прошли мимо по-зимнему оголенных садов, где любители домино громко стучали костяшками по сколоченному из досок столу, не обращая внимания на вечернюю прохладу и сгущающиеся сумерки. Саша жил в желтом кирпичном доме, выстроенном в утилитарном стиле, недавно вытеснившим архитектурные излишества, в кото-

рых Симон все же находил определенную привлекательность,— вернее, стал находить после того, как их перестали провозглашать образцом передового революционного искусства. На площадке второго этажа Саша открыл ключом дверь и сказал по-французски:

— Вот и наш парижанин! А это Наташа и Григорий Александрович!

Симон пожал руку невысокой миловидной женщине. На ее круглом полноватом лице выделялись очень большие светло-зеленые глаза. Пальцы с покрытыми лаком ногтями теребили брошку на нарядной блузке. Руки у нее были явно рабочие, но ухоженные. Мальчик пробормотал несколько слов по-французски, потом рассмеялся. Фигурой и лицом он напоминал отца, каким тот некогда вошел в кафе «Будущее». Он удивительно походил на человека, который жил в памяти Симона. Сходство дополняли лыжная куртка и веснушки, доставшиеся Сашиному отпрыску, видно, по наследству. Собственно, все познания Симона о молодом поколении ограничивались тем, что оно является продолжателем рода. Что же касается всего остального... Он смотрел на него словно со стороны, как смотрит сквозь оконное стекло прохожий на танцоров,— видит, как они двигаются, разговаривают. Ни музыки, ни слов не слышно. Поневоле кажется, что они танцуют под звуки наших старых мелодий и произносят те же слова, которые когда-то произносили мы.

Саша представил сына:

— Гриша родился в сорок первом году на краю света — на Дальнем Востоке.

— Он говорит по-французски,— вежливо заметил Симон.

— Он изучает французский в школе, я ему помогаю немного. Но захватывает его не это. Он увлекается математикой, и я нахожу, что он прав.— Саша поднял кверху указательный палец.— Запомни хорошенько, что я тебе сейчас скажу: через тридцать лет мы будем иметь трех математиков на одного заводского рабочего...

Наташа помогла Симону снять пальто.

— А через пятьдесят лет все мы будем математиками! — заметил в тон Саше Симон.

— Да, в какой-то степени.— Саша говорил без всякой иронии.— Наши внуки будут коммунистами-математиками. Совершенно точно.

В столовой, служившей одновременно спальней Грише, стол был накрыт по русскому обычаю: заставлен бутылками, рюмками, закусками. На письменном столе в углу — стопка книг, зеленая папка, счетная линейка, цветные карандаши в бокале из полированного дерева с коричневыми цветами на золотистом фоне.

Надо осмотреть кухню. Осмотреть холодильник и спальню с двумя одинаковыми кроватями, на которых лежат подушки под белыми кружевными накидками. Все опрятно, все в порядке. Все вполне пристойно. Но когда они вернулись в столовую и Симон увидел оранжевый абажур с бахромой, изливающий яркий свет на тарелки, окаймленные золотой и синей полосками, на рюмки из красного и синего стекла, он почувствовал во всей этой пристойности что-то знакомое. Он уже видел ее в квартире Поветты Бурдые, в новом многоэтажном доме парижского предместья, — хотя, конечно, Поветта нашла бы, что абажур устарел, вышел из моды, и повесила бы вместо него нормандскую лампу или что-нибудь из матового стекла в стиле модерн. Но ей понравились бы вазочки с конфетами в цветных бумажках, с изображением медведей, охотников и разных пейзажей, какие он видел на картинах, висевших в вестибюле и на лестнице гостиницы.

Они усаживаются за стол. Встают. Произносят тосты, чокаются. Саша наполняет рюмки водкой до краев. Пьют за счастье, за мир, за Париж, за Москву, за спутники, за промышленность пластмасс, за Наташу, за Лоранс. Над Гришиным диваном висит открытка, посланная Симоном перед его отъездом из Парижа. На ней изображен мост через Сену и лотки букинистов на набережных. Этот образ Парижа ему дороже всего. Наташа принесла из кухни жареную утку. Саша переводит:

— Она начинена неочищенными яблоками, которые нарезаны маленькими кусочками, но я не знаю, понравится ли это вам.

Разрезание утки сопряжено с теми же трудностями — пока еще не разрешенными, — что и повсюду. Симон рассказывает:

— Не знаю, можете ли вы это себе представить, но в Париже есть специалисты этого дела, так называемые «утятники». Их специальность — разрезание уток. Они только этим и занимаются, производят настоящую хирургическую операцию.

Наташа поражена. По ее мнению, такая специализация излишня.

— Во всяком случае,— говорит Саша,— в наше время ты понятия не имел о том, что существуют какие-то «утятники». А теперь ты посещаешь дорогие рестораны.— Он весело хохочет.— Признайся, ведь в душе ты обожаешь всякие тонкости. Признайся! Признайся! Знаешь, кто ты? Римлянин эпохи упадка. Рим горит, а он любит, как специалисты разрезают уток!

Симон защищается. Да, ему нравится, что во Франции есть и утятники. Кстати, они члены профсоюза. Он не отрицает, что в молодости — в «наше время», как выразился Саша,— он не имел никакого, ни малейшего понятия о том, что представляет собой та жизнь, тот мир, который сейчас в его воображении составляет неотъемлемую часть Парижа и даже Франции. Он говорит:

— Мы были святыми. Мы требовали от людей какой-то немыслимой чистоты, но теперь мне кажется, что то была романтика или, если хочешь, ребячество. В Сен-Реми мы жили исключительно книгами. Мы мало бывали на людях.

Саша вспоминает, что у него сохранилась фотография той поры.

Он идет в спальню и возвращается с пожелтевшим снимком, на котором бросаются в глаза вышедшие из моды прически, галстуки и кепки. На фотографии снят Саша вместе со своими товарищами из Союза коммунистической молодежи. По его словам, это было в Париже в 1934 году.

— Узнаешь? Это же Казо. Я его хорошо помню, он уже тогда был студенческим вожаком. Если не ошибаюсь, это он нас с тобой познакомил в тот вечер, когда мы впервые встретились? Помню, я страшно гордился, получив бумажку, в которой сообщалось, что мне выдают советский паспорт. Прямо не верится, как меняются люди. Сам себя не узнаешь... Скажи, ты встречал его после того раза? Серьезный был парень. Уже тогда прекрасно разбирался в политике. Мы были скорее романтиками, это ты верно сказал. Даже я был романтиком, особенно я...

Симон кладет фотографию на стол. Наташа берет ее и, улыбаясь, рассматривает. Гриша смотрит на нее рассеянным взглядом. Пока она ему ничего не говорит. Но пройдет немного времени, и она станет для него тем же, чем

стала для Симона фотография его отца, сделанная возле ресторана на авеню Мэн.

— Казо,— говорит Симон,— вот это действительно трудный случай... Я неоднократно говорил ему: «Ты скала, ты наш Сен-Жюст». Потом потерял его из виду, и встретились мы уже в подполье, совершенно случайно. После войны мы виделись чаще, а в последний раз — в прошлом году, как раз когда умер мой отец. Теперь Казо преподает в лицее в Сен-Реми. Когда-то мы там вместе учились...

Наташа приносит пирог, появляется шампанское, знаменитое шампанское. Но пирог стоит нетронутым, пока Симон рассказывает о памятном для него дне, когда он узнал, что Казо вышел из партии, что тот самый Казо, который снят на этой фотографии, человек с волевым лицом, впалыми щеками и твердым взглядом, заметным даже сквозь толстые стекла очков,— ушел от нас потихоньку.

— Меня особенно потрясла тогда смерть отца,— сбивчиво заканчивает Симон,— ведь он был почти полной противоположностью Казо, которым я всегда восхищался, и вдруг отец... Хотелось бы мне верить, что я тоже способен на такое... Как бы тебе объяснить... Словом, отец умер с уверенностью, что жизнь продолжается, что она интересна.

Саша выслушал его, не проронив ни слова. Отвечает он тоже не сразу. Переводит слова Симона Наташе и сыну. Наташа покачивает головой, вздыхает и со вздохом разрезает на четыре части пирог, на котором выведено глазурью «Да здравствует 1 Мая!»

— Мне нравится твой отец, нравится, что в последние дни он жил мечтами о будущем,— неожиданно говорит Саша.— По-моему, это совсем не глупо и не по-ребячески. Казо — вот кто оказался ребенком. Заметь, мне понятно это, понятны такие люди. Понятны потому, что я жил во Франции. Но здесь, у нас... То, что с ним произошло, по-настоящему интересует здесь лишь немногих. Может быть, стоит об этом пожалеть. Может быть, мы слишком мало уделяем внимания тому, как другие воспринимают то, что происходит у нас. Мы порой слишком легко отмахиваемся от таких вопросов. Не до того! Для Гриши, например, вся история с Казо...

Саша открыл шампанское по обычаю людей, для кото-

рых шампанское — символ праздника, пробка с шумом взлетела вверх, задев оранжевый абажур, пена полилась через край. Стоя выпили за дружбу. Гриша извинился и исчез. Пошел на вечеринку, где будут девочки и мальчики.

— Скажи, ты знаешь, что творится в голове у ваших парней его возраста? — спросил Симон. — Наверно, то же, что и у наших ребят во Франции. А разве узнаешь все, что хочешь? Они коммунисты?

— Да, в большинстве. Во всяком случае, будущее для них — это коммунизм.

— Но они такие же коммунисты, какими были мы? Пришли к этому таким же путем? Я хочу сказать... Мы в свое время взобрались на борт «Потемкина»... Собирались штурмовать Зимний дворец... Так ведь?

Глаза у Саши смеются. Он трет их, сдвинув очки на лоб.

— Но Зимний дворец взяли сорок лет назад! Гражданская война и даже вторая мировая война превратились в темы для пьес, кинофильмов, картин. Я вовсе не хочу сказать, что наша молодежь ничего об этом не знает: она знает, что это такое... Но комиссары в кожаных куртках... Чапаев... даже Казахстан и Азия... Пойми, все изменилось. Теперь самолетом туда можно добраться из Москвы за три часа... Героизм, видимо, будет проявляться отныне в чем-то другом. Я же тебе говорил: они будут коммунистами-математиками. Коммунистами-космонавтами...

«Мы выпили коньяк залпом, выпили, пожалуй, лишнее; под оранжевым абажуром начинал сгущаться табачный дым. Наташа сказала, что Саша может не переводить ей наш разговор. Он ей потом все расскажет. Она понимает, что после стольких лет разлуки нам есть о чем поговорить. Она села на диван и принялась вышивать крестиком на круглых пятаках какие-то цветочки. Мне вспомнилась полутемная провинциальная гостинная, лето, закрытые ставни, спинки кресел с вот такими же вышивками на них. «Это мамина работа, — скажет кто-нибудь. — Мама два года вышивала этих птиц». Время от времени Наташа взглядывала на нас, смущенно улыбалась, как бы извиняясь за свое вынужденное молчание. Потом рассказала о себе. Она, как и Саша, работала в химической промышленности, но простой работницей. Я невольно взглянул на ее руки. Саша перехватил мой взгляд.

— Я знаю, о чем ты сейчас думаешь,— сказал он.— Считаешь, что она могла бы найти себе другое «занятие»? Так ведь? — Он поднял брови.— При этом ты, конечно, подразумеваешь работу в учреждении. Чтобы она занималась чем-то более похожим на мою работу, да? Так вот, в этом тоже заключается разница между нами и миром, в котором ты живешь. Там нас, то есть ее и меня, разделяла бы пропасть, разделяла бы так глубоко, что мы, вероятнее всего, не поженились бы... Или ей пришлось бы отказаться от работы. От физического труда...

Он помолчал, потом совсем другим тоном добавил:

— Правда, мы познакомились при не совсем обычных обстоятельствах... Гриша потому и родился на Дальнем Востоке... Что это ты разглядываешь наш абажур? Дурацкий, а?

— Да нет, нисколько...

Саша рассмеялся.

— Брось, пожалуйста. Я же прекрасно знаю, что в душе ты с самого утра твердишь: почему они не выбросят к черту все эти бархатные портьеры, цветочки в горшках, вазочки, а теперь вот ты пялишь глаза на абажур... тем более что, выглянув в окно, ты увидишь добрый десяток точно таких же. Я знаю, о чем ты думаешь. Признайся, ты считаешь, что внешнее оформление нашей жизни не всегда согласовывается с тем, что мы делаем? Что оно не подходит для эпохи спутников? И ты прав. Все изменится. Кстати сказать, уже меняется. Но в общем большого значения это не имеет. Мне даже забавно при мысли, что мы таким образом мистифицируем Запад. Не нарочно, конечно, но получается здорово. Мы создаем двадцать первый век в декорациях девятнадцатого столетия. А вы... вы общество девятнадцатого века в обрамлении двадцатого столетия.

Постепенно я проникался ощущением окружавшей меня атмосферы душевного покоя, хотя еще и не совсем понимал, из чего она складывается: то ли это была убого-улучшенная жизнь человека, узнавшего личное счастье и относительное довольство — ведь в свое время кусок белого хлеба был здесь редкостью, — то ли, пожалуй, и даже наверняка, душевный покой этот был вызван чем-то другим, чем-то таким, что я сумею постичь лишь после многих месяцев или лет пребывания здесь и что, как подсказывает мне чутье, связано прежде всего с убежденностью Саши в «неограни-

ченных возможностях жизни», как я это называл про себя. Да, его жизнь ничто не ограничивало: ни материальные заботы — этот вопрос ни разу не всплывал во время нашего разговора, — ни разделение общества, оно здесь не знало плотных, непреодолимых перегородок, которые у нас вынуждают человека замыкаться в своем классе, в своей группе, в своем хрупком и призрачном мирке, где для него в конце концов остается лишь одно — ожидание смерти. А здесь наоборот, как мне казалось, участие в безгранично великом, бессмертном деле должно в значительной мере уничтожить страх перед жизнью у большинства людей, во всяком случае у тех, кто, подобно Саше, осмысливает происходящее, — должно снимать ощущение бессмысленности жизни, которое, кстати сказать, раньше было особенно распространено именно в России. Итак, проникшись этой атмосферой душевного покоя, я решил не касаться ряда вопросов, представлявшихся мне настоящими и жгучими всего несколько часов назад, когда я вновь увидел Красную площадь и когда слушал рассказ Саши о его дяде, который был арестован в 1935 году, освобожден, затем вновь арестован в 1937 году, после чего окончательно исчез. Саша недавно получил извещение о его реабилитации.

— Но я никогда не верил в его виновность... Помнишь, что я говорил тебе в тот день, когда мы гуляли вдвоем на берегу Москвы-реки?

Он налил в рюмки коньяк и некоторое время молча смотрел, как вьется под абажуром дым от наших сигарет. Затем каким-то удивительно бесстрастным тоном, словно речь шла о чем-то совсем для него постороннем, стал рассказывать:

— Мне тоже пришлось трудно... Но, конечно, ничего подобного я не пережил... Да, это произошло в пятьдесят втором году. А потом... потом был двадцатый съезд и все остальное, о чем ты уже знаешь... В пятьдесят седьмом году я вступил в партию. В то самое время, когда у вас люди, подобные Казо, уходили из партии... — Он снова помолчал. — И я не исключение... Конечно, некоторых это сломило. Они вернулись желчными... Опустили руки. Но я не сказал бы, что таких большинство. Нет. Большинство выдержало, их не сломило. — В его глазах промелькнула улыбка, какой я раньше у него не видел, и он покачал головой. — Но вот Казо — его сломило.

— Казо был по существу человеком верующим,— заметил я.

— Да,— порывисто подтвердил Саша,— да, ты прав. Среди нас тоже есть подобные люди. Они неустойчивы. Мы должны быть людьми разума... И математиками по мере возможности... Во всяком случае, людьми, крепкими духом, понимаешь...

Наташа принесла чай. Саша учил меня пить из блюдца. Шутил:

— Надо с шумом втягивать в себя воздух — так вкуснее!

Он спросил о причинах моего разрыва с Камиллой. Я сказал, что, очевидно, женился слишком рано.

— Этот брак ни при каких обстоятельствах не мог оказаться счастливым. Во мне произошла перемена: в этом ни она, ни я не виноваты. Так получилось.

— Но вторая любовь — это, наверно, дается нелегко.

— Никакой второй любви нет. Это совсем другое чувство. Такие вещи не повторяются. Одних и тех же слов не говорят.

Он принялся расспрашивать меня о том, что случилось с некоторыми его товарищами из Союза коммунистической молодежи, но я никого из них, кроме Гранжа, не знал и рассказал Саше, как он погиб.

Саша жил совсем в ином мире. Образы той поры его жизни — Бельвиль, кафе «Будущее», авеню Оперы и даже Парижа в целом, о котором он расспрашивал с такой жадностью, — мало-помалу стусеивались в его памяти. И здесь ничто не могло подкрепить, оживить эти воспоминания.

Зато он очень живо помнил все, что роднило Париж с Москвой, все, так или иначе связанное с революционной традицией. В его воспоминаниях жил Париж Стены коммунаров, площади Бастилии, предместья Сент-Антуан, он хорошо помнил даже авеню Орлеан. Этот проспект не сыграл в его собственной жизни никакой роли, но был связан с именем Ленина, с революционной русской эмиграцией, к которой в молодости принадлежал его отец. В этом Париже он впервые увидел «Потемкина», внушившего ему, как и мне, ощущение величия нашего дела, хоть он и не склонен был признаться в этом.

— Я не раз смотрел этот фильм,— сказал я.— Но первое впечатление оказалось самым сильным... В тот день мы

как будто поднялись на борт корабля. Водрузили на нем красное знамя и отправились в плавание... Из-за тарелки борща,— шутливым тоном добавил я.— Так, кажется, глазил плакат на теле погибшего матроса?

— Да, но только в фильме. В действительности же надпись, которую сделали матросы, была совсем другой.

Саша сказал, что знает в Москве старика, бывшего члена социал-демократической партии, который в 1905 году в Одессе осуществлял связь между городом и матросами восставшего броненосца. Старик подробно рассказывал ему о восстании — самом крупном событии его жизни, говорил, что написал о нем книгу, которая вышла в Лондоне на английском языке через несколько лет после событий.

— У меня она есть,— добавил Саша.— Можешь взять ее, но с возвратом, теперь это редкость.

Саша принес из спальни небольшой томик в красном переплете. Симон пообещал прочесть книгу в тот же вечер. И взял с Саши и его жены слово, что после демонстрации они придут к нему позавтракать в ресторане.

БРАТЯ



а пустынной улице, украшенной гирляндами электрических лампочек, слышался глухой рокот моторов, шум ползущих по асфальту гусениц, звонкое дребезжание металла.

— Это танки, они выстраиваются к параду,— говорит Саша.

Некоторое время они шли молча. В темной глубине улиц скорее угадывались, чем виделись огромные черные силуэты машин. Луч прожектора неожиданно выхватил из тьмы блестящий корпус гигантской ракеты. Они остановились. Симона потрясла кажущаяся простота снаряда. Он совсем не походил на страшные и сложные машины, придуманные художниками и поэтами для изображения ужасов войны.

Трудно было представить себе, как такая штуковина, взлетев словно копье среди стремительного потока пламени, сталкивается где-то высоко в небесах, там, где ярче

горят звезды, с вражескими чудищами, летящими над крошечной круглой землей... А в это время охваченные тревогой миллионы людей ждут смерти...

— Придет день, когда это кончится,— заметил Саша.

— Что кончится? — спросил Симон.

— Все. Военные парады ведь устраиваются для того, чтобы показать им все это. Так нужно. Военные атташе приходят на парад с биноклями и фотоаппаратами. Два дня в году, сегодня и седьмого ноября, у них создается впечатление, что и они на что-то годны. Но все равно этому придет конец...

— Парадам?

— И парадам, и войнам, и армиям... Ленин был прав. Я верю: мы приближаемся к концу эры насилия. А ты этого не считаешь?

— Конец эры,— говорит Симон,— понятие растяжимое.

— Ну...

Расставленные повсюду заграждения вынудили их сделать большой крюк. В темноте они различали силуэты целующихся парочек. С песнями шли мимо целые группы, навстречу попался ничего не соображавший пьяный. Звуки аккордеона настроили Симона на мечтательный лад.

— Обожаю аккордеон,— заметил он.— До смешного люблю праздники. Люблю Четырнадцатое июля, Первое мая и пасхальное воскресенье тоже... В праздники время словно замирает. Все становятся ровесниками. Все заодно. Все вместе.

Ему казалось, что благодаря Саше он становится обыкновенным московским прохожим, приобщается к жизни города, чье имя наполнило своим звучанием всю нашу эпоху,— города, вокруг которого кипит столько противоречивых страстей.

У входа в гостиницу они крепко обнялись, как это делали все вокруг них.

— Да здравствует Первое мая! — сказал Симон.

Он собирался тотчас же сесть за письмо к Лоранс и описать ей свой первый московский день. Он изорвал несколько листов бумаги. Слова не повиновались. Ни одно не звучало верно. Он правдиво описывал квартиру своих московских друзей и обстановку, в которой они живут. Но это была частичная и преходящая правда. Она могла создать неправильное представление о судьбе Саши Берн-

штейна, о пережитой им трагедии, о том, каким он стал; под старомодным абажуром жил человек поистине нового общества. Тогда как трогательная, поэтическая, наивно живописная «святая Русь» Василия Блаженного могла, чего доброго, как завесой, скрыть другую правду, гораздо более существенную и основную: правду о еще не отмеченных на картах новых городах, о плотинах на больших реках, о машинах, вычисляющих в эту минуту темпы роста производства стали и траектории космических кораблей.

«Писать о прошлом... но оно не связано с Лоранс. Хотя и у нее уже есть свое прошлое, хотя она уже не Жюстина, которую я встретил четырнадцать лет назад в лионском поезде, однако я должен смириться с тем, что для нее остаются непонятными многие события и мечтания, занимавшие меня и людей моего поколения, по крайней мере тех, кто читал те же книги и газеты, что и я, кто жил в одинаковых со мной условиях. Ее прошлое началось позже, в годы войны и подполья, и тем не менее она уже жалуется на безразличие своих юных учеников и даже собственной дочери, для которой фотография Пробюса, с раннего детства стоящая у нее на столике, всего лишь «фотография моего отца, которого я не знала и который был убит на войне»... Лучше напишу Лоранс завтра, после праздника, поговорю с ней о настоящем, скажу ей что-нибудь веселое. Напишу ей письмо о счастье.

Ложась спать, я взял красную книжку, которую дал мне Саша. Я листал ее при свете ночника. От нее исходил аромат старых книг из городских библиотек, аромат «Двадцати тысяч лье под водой» и «Отверженных».

Я нашел в книге текст воззвания, которое матросы положили на тело Григория Вакулинчука. Оно гласило:

«Господа одесситы! Перед вами лежит тело матроса Григория Вакулинчука, зверски убитого старшим офицером эскадренного броненосца «Князь Потемкин-Таврический» за то, что Вакулинчук заявил: «Борщ не годится». Осеним себя крестным знаменем и скажем: «Мир праху его!» Отомстим кровожадным вампирам! Смерть угнетателям! Смерть кровопийцам! Да здравствует свобода! Один за всех, все за одного! «Подписал»: Экипаж эскадренного броненосца «Князь Потемкин-Таврический».

Меня поразила слог воззвания, и я с опасением подумал: уж не изменит ли то, что я узнаю из этой книги, мои представления о восстании на «Потемкине», не замутнит ли

книга мои воспоминания о том, что бедняга Прево назвал «политической взрывчаткой»: кадр из фильма, когда составший броненосец проходит перед императорской эскадрой, выстроившейся на рейде в боевом порядке и когда на экране, над принявшими друг к другу Полем Гранжем и Полеттой, появилось слово, которое я поныне заставляет сильнее биться мое сердце: «Братья!»

Париж — Москва

1956—1961

Пьер Куртад
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Художник *Г. Н. Фишер*
Художественный редактор *В. Я. Быкова*
Технический редактор *Л. М. Харьковская*
Корректор *К. И. Иванова*

Сдано в производство 1/XII 1962 г.
Подписано к печати 19/III 1963 г.
Бумага $84 \times 108^{1/32} = 4,6$ бум. л.
15,2 печ. л. Уч.-изд. л. 15,9.
Изд. № 12/1536. Цена 95 коп.
Зак. № 4001.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Москва, 1-й Рижский пер. 2.

Типография «Красный пролетарий»
Госполитиздата Министерства
культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.

